

Юрий
КАЗАКОВ

Юрий
КАЗАКОВ



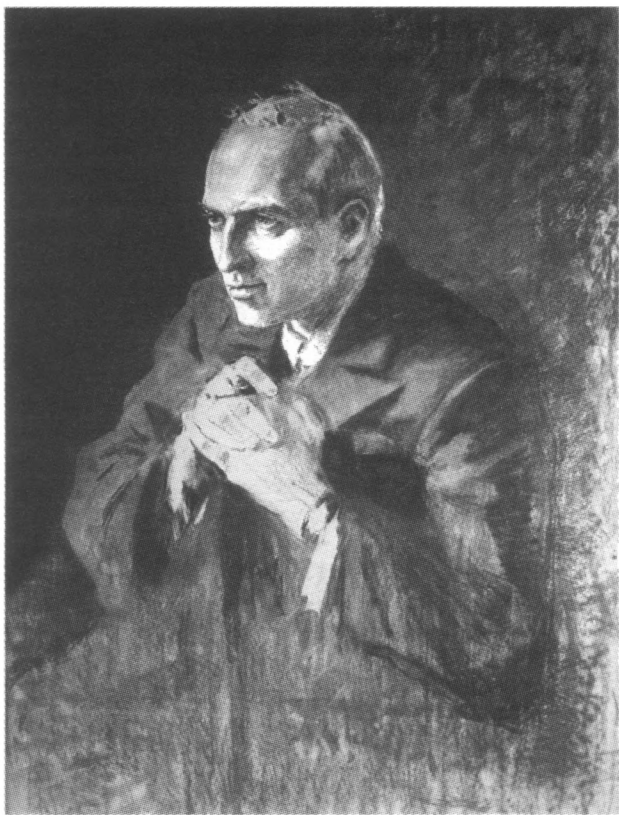
Странник



Странник



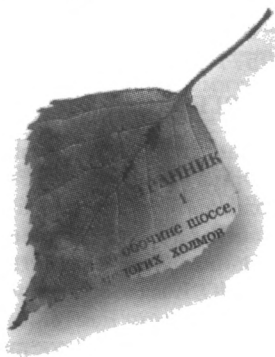




W. Katsang

Юрий
КАЗАКОВ

Странник



МОСКВА

РУССКИЙ МИРЪ

2008

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
К14

Серия основана в 2006 году

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»

Составители и авторы комментариев
И. С. Кузьмичев, Т. М. Судник

Казаков, Юрий Павлович (1927–1982).

К14 Странник. [Собрание сочинений в трёх томах. Том
первый] : [рассказы] / Юрий Казаков. —М. : Русский
мир, 2008. — 384 с. : ил. — (Русский мир классики). —
ISBN 978-5-89577-118-1.

Агентство СІР РГБ

Этой книгой открывается издаваемое впервые Собрание сочинений в трех томах Юрия Казакова (1927–1982), замечательного мастера рассказа, продолжателя традиций Тургенева, Чехова, Бунина, Пришвина в нашей литературе, одного из лучших русских писателей второй половины XX века, чье творчество получило мировое признание (книги Ю. Казакова переведены на многие языки; он был удостоен медали и премии Данте, Италия).

Первый том Собрания сочинений составили рассказы разных лет, запечатлевшие творческую биографию писателя, с чистой совестью, верой и правдой служившего русскому слову.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Оформление художника *С. Ю. Губина*

На фронтисписе портрет Ю. Казакова работы народного
художника России *С. А. Куприянова*. 1960. Картон, уголь.

© Казаков Ю. П., насл., 2008

© Кузьмичев И. С., Судник Т. М.,
сост., коммент., 2008

© Аннинский Л. А., предисл., 2008

© Издательство «Русский мир», 2008

ISBN 978-5-89577-118-1

Казаковский зов



После чтения Казакова ощущаешь гигантское стынувшее пространство, не заполненное, не обжитое, а лишь окинутое и оглянутое.

Не вписавшись ни в одно из влиятельных литературных направлений, в каждом из которых он мог бы претендовать на место лидера: ни в когорту «шестидесятников», клявшихся его именем, ни в дружину «деревенщиков», подхвативших его мотивы, — ни левым, ни правым не подойдя, ни «диссидентам», ни «патриотам», — Казаков сразу и навсегда врезался в память литературы — первыми же рассказами вошел, довольно легко (по собственной его оценке) дебютировав на самой заре «Оттепели», в середине 50-х годов.

Что он был абсолютно и безоговорочно оппозиционен тогдашнему литературному истеблишменту (грубо говоря, «социалистическому реализму»), это интуитивно почувствовали все. Но не всегда могли понять, как и в чем именно. В 1956–1957 годах чемпионами протеста были Дудинцев и авторы «Литературной Москвы»; степень их политического противостояния властям была (как теперь легко судить) далеко не безоглядна, но это был протест отчетливо политический. Казаков с державниками не воевал. Он их в упор не видел. Он описывал хмурого, заспанного, прячущего нос в воротник шинели железнодорожного «начальника» где-нибудь «на полустанке» — так, словно с времен Чехова ничего не переменялось не только на российских железных дорогах, но и вообще под российским небом. Для Казакова словно не было ни советской истории, ни даже недавней войны.

Повоевать он не успел по возрасту. Он был чуть моложе Трифонова и чуть старше Шукшина; но даже того «отраженного» фронта, что сквозил у Трифонова в буднях авиазавода, а у Шукшина — в деревенском голоде военных лет, — у Казакова не чувствовалось. Порохом потянуло у него не от окопов, а от охоты. Что-то тургеневское, пришвинское, паустовское. Скорее же всего — бунинское.

Записали Казакова в «классики». В этом тоже был вызов «социалистическому реализму», но вызов как бы непрограммный, неподсудный. Самые агрессивные противники время от времени цепляли ему «абстрактный гуманизм». Отголоски этих нападок чувствуются у Казакова в рассказах о художниках (например, в «Адаме и Еве»); и нападки эти, и возражения против них поражают теперь никчемностью и бессмысленностью, так что даже странно, что Казаков на них отвечал, настолько это несоизмеримо с глубиной его писательского дыхания. В сущности, он жил помимо этой борьбы. Его могли записывать во враги Советской власти, могли делать знаменем молодого либерального поколения, — и то, и другое болталось где-то около его имени, не задевая той потаенной думы, на которой он был сконцентрирован.

Так и прошел: «тенью», «облаком», не сыграв с эпохой ни в унисон, ни в контрапункт.

Так и ушел, как уходит дождь или ветер.

Критик Владимир Турбин приговорил вслед: *«Его очерки и рассказы останутся памятником времен, уже уходящих в историю. По тропам, проложенным писателем Юрием Казаковым, пойдет кто-то другой, другие... Тропы... выведут... к берегу. Тут, у берега, и надо будет остановиться».*

Странная тональность этого реквиема заставляет в него вслушаться повнимательнее. Турбин ведь и сам был музыкант и стилист, работавший больше обертонами, чем основной мелодией, обертонами улавливавший ту реальность, которая от основной мелодии прячется. Так, значит, не только Казаков НЕ ПОШЕЛ тем путем, который прокладывал, но вообще на этом пути скоро придется остановиться. Даже если КТО-ТО ДРУГОЙ и попробует. А что Казаков, видя путь, даже и не попробовал идти, — это у Турбина как бы само собой. «Памятник времен».

Каких?

Писатель умер осенью 1982 года, почти одновременно с престарелым Генсеком. Слово по линейке очертила Казакову судьба «эпоху Застоя». Этим что ли временам его рассказы составят памятник? Или «временам Оттепели», в которые Казаков тоже не вписался, вернее, вписался как-то боком? Можно ли себе представить его в августе 1991 года?

Можно. Помните, у Белого Дома был тогда ливень? Вот это и срифмовалось бы с его присутствием. Только это. Если бы Казаков вдруг оказался у Белого Дома. Скорее же всего он оказался бы у Белого моря.

Как всю жизнь мыслил «помимо времен», — так и продолжал бы. Угодно было судьбе замкнуть его на «застойных временах» — замкнула. Казаковский ландшафт — шире и мощнее «времен», меняющейся на политической карте страны. Причем это вовсе не «природное неведение», не экологическая эйфория, не бегство «Рольфа в леса» (хотя от некоторых природных рассказов Казакова веет аж Сетонам-Томпсоном). Нет, у него именно Россия, Русь, русская земля. У него русская история в тысячелетнем дыхании и русский характер, переходящий из одних «времен» в другие. Это состояние земли и людей, которые не вписываются ни в какие идеологические рамки, хотя парадоксально вписываются в жанр «охотничьего рассказа», сотворенного, можно сказать, по тургеневскому следу, или «поморского монолога», схваченного на карандаш где-нибудь под Соломбалой вослед Шергину.

Пятьдесят пять лет прожил Казаков; из них тридцать — писал и печатался; все эти годы он имел огромный и неоспоримый неофициальный авторитет, который невозможно вывести ни из его «охотничьих рассказов», ни из «поморских монологов» (а кроме этого, и нет ничего: ни программных повестей, ни эпических романов), — но возникла великая слава только из ощущения гигантского дыхания, ощущаемого за любым его текстом, за любым пейзажем, за любой строчкой, выточенной или не выточенной — все равно.

«Выточенности», кстати, у него не чувствуешь. Хотя ждешь. Музыкальность, организующая его текст из глубины и в сущности обеспечивающая этому тексту волшебное воздействие на читателя, нигде не продемонстрирована явно, нигде не звучит как специальный эффект. Эффектов вообще нет. Есть ощущение загадочной простоты: простоты слова, мысли, пейзажа, детали. Ощущение смелости, но не подчеркнутой, а отрешенной: именно в этой вот простоте хода. В след, так в след, в лоб, так в лоб, тропой ли, целиной — это даже не от «ландшафта», это — от внутреннего чувства направления. Так ходит великан по земле, созданной для великана.

Земля у Казакова — сырая. Буквально: ветер и туман.

Нет ни одного пейзажа, где бы не дул ветер. Если ветра нет, он обязательно заметит, что его нет. Ветер предзадан, он — исходное, ожидаемое состояние. И туман. Если тумана нет, тоже будет сказано, что его нет. Но чаще всего он есть. Туман извечен, изначален. Сырость пронизывает все, влага висит в воздухе. Отпотевают стекла, отсыревают стены.

Как правило, туман и холод скрещиваются в одном пейзаже, но и в этом нет никакой нарочитости, эмблемной «врезанности». Это — климат, его как бы не замечаешь. Но магнетическое действие его в художественном мире Казакова огромно.

Сырость — знак непрочности. Все волгнет, мокнет, подгнивает, расшатывается. Ничто не стоит крепко. Крепок камень, но камень в казаковской эмоциональной гамме — как раз гибелен, враждебен, его надо покорить. Спасительно — дерево. Дерево, которое лепится к камню. Дерево уязвимо: мокнущие и высыхающие, серые, сизые, белые от времени деревянные дома — вот казаковская Русь. Ждешь, что все рассыплется, расточится, разойдется в мареве.

Мареве — от тех же туманов. Дымок, парок, воздух дрожащий. Избы вдаль видятся пятнами, квадратами, бликами. То, что приближается и становится отчетливым, — теряет очарование. То, что зыблется вдаль, — интересно, значительно. Не само по себе, а именно — через дымку отдаленности. Казаков пишет не предметы — он пишет пространство. Гулкое, колеблющееся, зябкое пространство, в котором видны или теряются предметы.

И звуки. Мир полон звуков. Что-то цвиркает, тренькает, пошвистывает, похрустывает. Что-то непременно слышится. Но — издали и чаще всего — неотчетливо. Если кричат, то непонятно, что кричат. Казаков любит фиксировать эти едва доносящиеся крики именно так, как они долетают: «Оооо...», «Аааа...» Если песня, то не словами берет, а этими долгими, бесконечными, за душу хватающими: «Ооо...», «Ааа...» Русь бессловесная тоску свою исторгает стоном-мычанием.

Вернее, не тоску — скуку. Слово, ключевое для психологического состояния, на которое откликается Казаков, — «скука». Многозначное слово, куда более многозначное, чем была бы в этой ситуации «тоска». «Скука» — это и пустота зимнего деревенского неделания, и выматывающий беспросвет страдной работы, и бобылье одиночество, и озверелость от многолюдья. «Скука» связана не с той или иной ситуацией, а все с тем же общим строем бытия. С этим сырым воздухом. С солнцем, которое светит холодным, белым, плоским светом. С туманом. С пылью, которая поднимается от дорог, когда они высыхают. С пылью, которая подобна туману и, заполняя пространство, подчеркивает его непреодолимость.

Люди встречаются в этом гулком пространстве всегда как будто впервые. Незнакомцы. Иногда Казаков описывает знакомцев именно как знакомцев — со странными, как бы неожиданными подробностями. Иногда просто называет — мельком и бегло, зная,

что связь будет мимолетна, а расставание — навсегда. В этом есть даже какая-то чарующая загадочность: встать и пойти, не зная куда, встретиться неведомо с кем и расстаться, зная, что никогда более не увидишь.

Казаков никогда не пишет социальную структуру и людей, втянутых в социальную структуру: порожденных ею и ее порождающих. Он пишет — тени, осколки, отпадающие элементы. Пишет стариков, оттесненных на край жизни, старух, переживших свой век. Пишет отшельников, бирюков, шатунов, странников. И занятия у его героев — соответствующие. Бакенщик, смотритель маяка, одинокий письмоносец. Одинокий рыбак. Художник на этюдах. Никакой «бригады», «артели», «команды», или, тем более, «профорганизации». В редчайших случаях, когда Казакову приходится подключаться к коллективистским клеммам, — он делает это явно вынужденно, и его перечни звучат стандартом: *«Стать, как они, геологом, лесорубом, рабочим, охотником, трактористом. И писатель сидит в кубрике сейнера вместе с моряками, или идет с партией через тайгу, или летает с летчиками полярной авиации, или проводит суда Великим северным путем...»*

Вообще-то текстологам надо еще проверить, что тут написано самим Казаковым и что вписано его редакторами, а им просто принято «по ситуации», но интересно соотношение этих знаков ортодоксальности, необходимых в советскую эпоху, с глубинной мелодией казаковского мира.

Во-первых, даже и хомутаясь с кем-нибудь ВМЕСТЕ, Казаков избирает «бродяг»: охотников, моряков, летчиков... Во-вторых, от таких пассажей разит очерковым пробросом; в «чистых» рассказах вы такого не найдете, а только в полустатьях вроде «О мужестве писателя» или в публицистическом «Северном дневнике», и, как правило, — рядом с обещанием «приближать наше великое будущее». А в-третьих, и это главное, — ощущение «ложности» в таких точках контакта странным образом подтверждает закон обратной перспективы в казаковском ландшафте: истинно то, что видится издали и слышится неясно, все то, что доходит сквозь долгое пространство. Все, что приближено, — делается грубым и пошлым. Скучным.

Пока далеко — чем-то веет. Хотя и неясно, чем.

Приближаешься к человеку — и от него уже не веет, от него не сет, разит, шибает. Шибает водкой, бензином, тройным одеколоном. Как слепой пес Арктур, Казаков сходит с ума от этих ближних запахов. Ему хочется под звезды. В туман. Только бы не видеть, не осязать, не сталкиваться.

Тоска лирического героя, бредящего «дорогой», парадоксально смыкается со «скукой» встреченного им НА ПОЛУСТАНКЕ мордастого деревенского парня, который рвет когти из колхоза — бежит в городской общаг, сначала — толкать штангу на соревнованиях, а там — если пофартит, — то и насовсем.

Пофартит ему обязательно. Брошенная им девушка, которую уже сейчас «трясет» от предчувствий, сколько-то еще протянет здесь, в «неперспективной» деревне, а потом сгинет, иссохнет, сойдет на нет в гнилом углу, — а мордастый ее хахаль не пропадет! Он там, в городе, обязательно зацепится! Он и комсомольскую, и партийную карьеру сделает. Он быстро скинет сапоги гармошкой и наденет костюм, а там и джинсы. В конце концов, вся застойная, застолярная, застылая, самодовольная номенклатурная Россия 70-х годов, пахнувшая «водкой, бензином и одеколоном», сбежавшая с исковерканной земли, — навербовалась из этих вот рванувших «с полустанка» казаковских героев 50-х годов.

Я почти буквально цитирую здесь блестящий анализ рассказа «На полустанке», сделанный Виктором Конечким в его комментариях к переписке с Казаковым. Маленький казаковский этюд, с которого обычно начинаются теперь его однотомники, предвещает и даже моделирует всю русскую социальную драму второй половины XX века — настолько точно и пронзительно написал его Казаков, настолько все почувствовал.

А ведь рассказ, «из которого», образно говоря, «вышла» русская проза 60-70-х годов как в либеральном, так и в почвенном вариантах, — появился в литературной реальности так неожиданно, что стал объектом легенд. Вот апокриф Литературного института 1954 года: Казаков, принятый учиться «на драматурга», опаздывает на лекцию и забредает в семинар прозаиков; там как раз Виктор Шкловский задает студентам упражнение: «тема — полустанок, время — наши дни: импровизируйте!» Казаков свою «импровизацию» подает вместе с другими и уходит. Потом Шкловский, прочтя, начинает разыскивать «какого-то Казакова» по всему Литинституту.

Разумеется, этот апокриф несколько упрощает картину. Казаков действительно был принят в Литинститут заочником в качестве драматурга, но это не курьез: смолоду он писал пьесы и публиковал в репертуарных выпусках для театров (был такой «жанр» в министерстве культуры), но в институте он не «забрехал» куда попало, и искал свое, искал *свой* семинар, *свой* жанр, *своего* учителя, и взялся за «домашнее задание» Шкловского только потому, что оно звучало в унисон внутренней мелодии, и написал — мгновенно!

Иначе как объяснить: ученическая работа, этюд на заданную тему — и вдруг такое попадание в нерв общенационального литературного и жизненного процесса. Чудо, что ли? Фокус цирковой? Фантастическое совпадение?

А может, тут другое? Чувство ситуации, которое носишь в себе, которое переполняет тебя, так что нужно только стечение обстоятельств (чтобы Шкловский объявил: действие происходит на полустанке!), и чтобы — излилось?

Следы студенческой «лаборатории», кстати, видны в этом этюде — он «слишком точен», слишком старательно последователен в нагнетании настроения: «низкое, равнодушное небо... скука... дожди...» Но ощущение смертного расставания: и убивающее женскую душу одиночество, и ухарское прощанье лукавого мужика, уходящего из дому НАВСЕГДА, — это настроение неслучайно же возникает у Казакова и дальше, например, при развязке рассказа «В дороге», написанного шестью годами позже того студенческого этюда, а по тональности — прямо в продолжение его, — когда мать кричит вослед уходящему сыну: «Господи!.. Не нужен им дом родной!»

Оглядываясь на 70-е годы, неслышно надломившие Россию, можно вписать Казакова в самые ранние летописцы этого исхода с земли: он подал первые сигналы бедствия двадцатью годами раньше. Сигналы не были услышаны. Напомню: Казаков оказался сразу записан по «другому ведомству»; он был — не «деревенщик»; он был из сферы «чистой формы», из ведомства Паустовского и Бунина: чистая русская речь, пейзажи, простор... охота.

Потом, когда усилились эти сигналы до оглушительности — у Шукшина, у Белова, — их расслышали. Казаков оказался в «резонансном кольце».

Он действительно соприкасается с писателями, пошедшими дальше. Есть прямые переключки. Бакенщик Егор из рассказа «Трали-вали», томящийся в ожидании приезжих, чтобы «повыступать» перед ними, — это же Бронька Пупков из «Миль пардон, мадам!», тип, написанный Казаковым за семь лет до Шукшина. Поморка Марфа — это Матрена, написанная до Солженицына! А Вася, «перекати-поле» из казаковской «Легкой жизни» — это же маканинский «гражданин убегающий», написанный, когда Маканин еще и «Прямую линию» не начинал.

Можно многие казаковские мотивы связать с литературными направлениями его времени, а особенно — времени последующего. Можно найти переключки с Ю. Трифоновым (в спортивных эпизодах) и с В. Конецким (в эпизодах морских). Можно сопоставить казаковских «Стариков» со стариками В. Белова.

Но все это мало что прибавит к обаянию и объему казаковского присутствия в русской прозе. Он не работал ни на «направлениях», ни в «типологии». Он вмещал и очерчивал что-то неясное, неотчетливое, нечленораздельное, туманное, зыбкое и зябкое от отдаленности, — из чего ВПОСЛЕДСТВИИ проступили «направления» и от чего отслоилась «типология».

Он почувал и передал состояние земли, космоса, русского природного и психологического Целого. Вернее, уже не Целого — уже подраненного, подкошенного. Чем? Ничем извне. Изнутри подкошенного. Тоской, предчувствиями. Скукой бытия.

Русский человек у Казакова — это сила, которая мучается и куражится от неприкаянности. Чугунная сила, самоигральная, самодовольная. Сама собой любит, ищет, кому бы показаться, перед кем покрасоваться. Ты меня выслушай! Или — «ребра поломаю!» (Шукшинский герой подхватит: «Изувечу!»). Злость так же безадресна и непредсказуема, как и великодушие. Куражится человек — просто от избытка сил. «Вы думаете, сплавщик по делу кричал? А он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздается...» Иногда орет человек, иногда поет. Иногда фальшиво поет, а иногда так, что дух захватывает. Зов в человеке, и «голоса»: кто-то окликнет его неведомо откуда — он встанет и пойдет.

Красочный, гомонящий табор цыган, бредущих по непредсказуемому маршруту, незримо связан с потоком российских командировочных в серых плащах, спящих по общагам и гостиницам... Русь спует, переныривает, перебегает, переезжает; человек думает: еду туда-то и затем-то, а в сущности — лишь бы ему не знать, куда и зачем.

А кто сидит на месте — тот с ума сходит от этих «зовов». Судьба русского человека, лейтмотивом идущая через рассказы Казакова: заскучал — запил — забуянил. С кем-то подрался, с кем-то расцеловался, на чьей-то груди плакал, потом хотел топиться, а утром, проснувшись, изодраный, избитый, с больной головой, не может ничего припомнить. Из недавнего, ближнего, реального — ничего не помнит, не знает и НЕ ХОЧЕТ знать. Хочется ему — куда-нибудь подальше, и именно — не знать, куда.

Туда, откуда «зовы».

«Здесь» — ничего, все — «там». И чудится человеку, что «все это» уже с ним было, а где и когда — не ведает. У Казакова — совершенно уникальная (лермонтовская!) запредельная память: судьба его героев коренится в какой-то потусторонней, космической глу-

бине, куда их тянет безотчетно, властно: «здесь», на «этой» земле они гости. Потому и бегут. Простор — и «зовы».

Двоятся, зыблются, дрожат контуры предметов. Вспыхивают и гаснут страсти, «оборачиваются» характеры. Благодостный странник ведет себя как плотоядный жеребец-насильник; красавец-пейзанин оказывается костоломным дурнем. Но и угрюмый бирюк «из бывших», источающий ненависть к нынешним «лодарям», — может обнаружить голубиную душу, сокрытую под десятью слоями коросты. Может, это он сложил северные песни, былины, руны! Может, это он и выстроил когда-то церковь в Кижях и топор забросил, чтоб повторить было нельзя...

«Ах, Нестор, Нестор...»

Потаенная нежность казаковской интонации, скрытая за скуповатостью штрихового рисунка, за строгой, музыкально просчитанной экономностью слова, — вдруг вырывается на поверхность в поздних его рассказах, посвященных младенцу-сыну. *«Во сне ты горько плакал»*. Странная для Казакова сентиментальность и какая-то горячечная беззащитность появляются в его стиле, и кажется, что стиль сломан, подорван, разжижен, расслаблен экзальтацией... что любой приличный писатель точно так же вот описывал бы чувства отца, поздно дождавшегося своего первенца.

Но «чисто казаковское» вдруг всплывает со дна этой теплой купели — запредельной, «космической» тревогой. Ребенок плачет беспричинно и безутешно, потому что чувствует, как его душа отделяется, прощается с отцовской. ЗНАТЬ этого он не может: он ничего в жизни своей не видел, кроме внимательных нежных родительских глаз. Откуда же эти слезы во сне, этот ужас прощанья навсегда?

Где опять сольются души, чтобы уже никогда не разлучаться? *«...Где, когда это будет?»* И будет ли?

В смятении и грусти окидывает, оглядывает казаковская душа холодный волглый русский простор. Слышит звуки, которые «что-то значат», а что — неясно. Видит контуры, которые похожи на обжитой мир, похожи на «что-то», чего не вспомнишь. Распадается мир, расплывается.

А может, наоборот, собирается обновленный за гранью ближних потерь, за криком проводов, пахнущих «водкой и бензином»?

Зрение у Казакова дальше, дыхание глубокое, память запредельная.

То ли это память о старой Руси, новгородской, северной, давно пережитой и забытой, или о московской, у Оки притаившейся,

тоже полузабытой. То ли это предчувствие, сжимающее сердце. То ли залог неистребимости духа, здесь навсегда обретшего себя.

В переломный, переложный, сумеречный миг явился в русском пространстве Юрий Казаков, след его в русском сознании странен и загадочен.

Последователям пути — указаны, так что побежали в след Казакову другие человекознатцы, одни — дальше в деревню, другие — дальше от деревни. Но выразил Казаков то «предсостояние» нашего духовного космоса, от которого могут взять начало совершенно новые, неведомые пути; и там, где вновь встретятся люди, шатнувшиеся с этого места и побредшие «куда глаза глядят», — дай Бог им узнать друг друга, перекликнувшись именем Юрия Казакова.

Лев АННИНСКИЙ

Рассказы



Голубое и зелёное



— Лиля, — говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю. Я борюсь при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» — с восторгом думаю я.

Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать — танцевать я не умею, я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыка больше нет, и мне не за что спря-

таться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут еще медленней. Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны — оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно, сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное, очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

— Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго. Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь на свистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их нарисовали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе. Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она

улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь: стоят и сидят много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять посмотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло,

но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец я очень небрежно, как бы между прочим, говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Она согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощанье. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

2

На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они уже приехали? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улицу. Я заглядываю в окно и откашливаюсь.

— Лилия, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прямо замечательно, что у меня не прервался голос!

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

— Идите скорей! — зовет меня Лилия.

Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором...

— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю на окне: одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилию.

— Ну, лезьте же! — нетерпеливо говорит Лиля. Брови ее сходятся, и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Лучше я подожду вас на улице.

Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем! Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее. Она очень красивая и умная.

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару! Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. Примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, мы перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный, длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью.

Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У нее чудное платье, я таких ни у кого не видел — от ворота до по-

яса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, выжидаю паузу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает. А я смотрю на большую надпись, торчащую на крыше. Написано, что каждый может выиграть сто тысяч. Очень оптимистическая надпись. Вот бы нам выиграть когда-нибудь!

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, откуда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так.

На улицах совсем нет людей, только милиционеры. Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чувствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она! Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лиля. Это замечательная книга, я читаю ее и все время вижу почему-то лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадает длинный темный волос. Это ее волос — ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том энциклопедии. Потом я спрячу его получше.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдаль, там, откуда летом встает солнце, видна звезда Кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

3

А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке — с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье, — мне купили его, когда я окончил девять классов, — и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на низкое осеннее небо. Август. И на Севере очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду, и в солнце я выхожу рано утром из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перexoжу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу!

Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все, как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить о ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду полем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Очень темно. Только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый свет. Но на земле очень темно. Надо мной кругами беззвучно летают совы. Я вижу их, но, сколько бы я ни прислушивался, мне не удастся услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго потом шелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся — значит, она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса — ее дом ремонтируют, — и смотрю сквозь занавеску.

Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, облокачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих

охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на Севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая.

— Лиля! — зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

— Алеша! — говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки. — Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит короткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу. Она хватается мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.

— Пойдем гулять! — говорит наконец она. И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь — так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с дороги, на мне лыжный костюм, сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигашь куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

— Какая чепуха! — беспечно говорит она и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подруги еще не приехали, родители на даче, она страшно скучает и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом, почему я не писал? Мне, наверное, было приятно, что другие мучаются?

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. Потом дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь начинается с новой силой, и мы снова прячемся. На ее волосах блестят капли дождя. Но еще сильнее блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

— Ты вспоминал обо мне? — спрашивает она. — Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю почему. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг думала, понравилась бы она тебе. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него начинают уши краснеть. Я даже в Большой не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла. Ты любишь оперу?

— Еще бы! Я, может, скоро стану певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас.

— Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, и никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Я пою романсы и арии и не замечаю, что дождь уже кончился, по тротуару идут прохожие и оглядываются на нас. Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее блещут.

4

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уж семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру — бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб... И чтобы в ложе непременно сидела Лиля! Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день

был днем борьбы и побед! Я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли я на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на свершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня как на мальчишку, даже иной раз ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лиля, одна Лиля понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она в девятом, я — в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу в бассейн. Кроль — самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. Но по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию, и на Урал, и на Север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И я снова хожу в школу, готовлю уроки... Что ж, придется покориться обстоятельствам. Хорошо, я окончу десять классов и даже поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время я провожу с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может

быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается ехать в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом — греться в Третьяковку. В Третьяковке зимой очень тепло, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам, смотрим картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лилия краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет. Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что мне нужно было съездить за шалью. Я с испугом говорю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедem за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окурок на дорогу. Мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька — маленькое розовое пятнышко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится во тьме. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное, зимой не живут. Сильно пахнет березовыми почками и чистым снегом, в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тетки. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.

— Лиля, ты подождешь меня немного? — нерешительно прошу я. — Я очень скоро.

— Хорошо, — соглашается она. — Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой! Только ты недолго, правда?

Я ухожу, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Наверное, я останусь ночевать?

— Как здоровье мамы?

— Спасибо, очень хорошо.

— Папа работает?

— Да, папа работает.

— Все там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и выпить чаю. И потом я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год. Год — это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа в розовом абажуре, стучат старинные часы. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец я говорю:

— Простите, но я очень спешу... Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погода опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив! Я выпил уже пять стаканов чаю.

Потом мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велют Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лиля вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из рукавов.

— Какой у тебя был вид! — еле выговаривает она. — Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

— Алеша! — вдруг со сладким ужасом говорит она. — А ведь нас могут остановить!

— Кто?

— Ну, мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

— Ерунда! — говорю я громко.

Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали.

— Ерунда! — опять повторяю я. — Никого здесь нет!

— А вдруг есть? — быстро спрашивает Лиля и оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

— Ты боишься? — звонко спрашивает она.

— Нет! Хотя... А ты боишься?

— Ах, я страшно боюсь! Нас определенно разденут. У меня предчувствие.

— Ты веришь предчувствиям?

— Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я рада все равно, что поехала.

— Да?

— Да! Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты? Ты согласился бы умереть ради меня?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

— Алеша...

— Да?

— Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо! Да... о чем я хотела? Отвернись!

— Ну вот, я отвернулся. Только ты смотри на дорогу. А то мы споткнемся.

— Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

— Да?

— Алеша... Ты целовался когда-нибудь?

— Нет. Никогда не целовался. А что?

— Совсем никогда?

— Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

— Правда? Ты не помнишь ее имени?

— Нет, не помню.

— Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.

— Да, я был мальчик.

— Алеша... Ты хочешь меня поцеловать?

Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше, я внимательно смотрю на дорогу.

— Когда? Сейчас? — спрашиваю я.

— Нет, нет... Если мы дойдем до станции и нас не убьют, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

— Алеша...

— Да?

— Я совсем ни с кем не целовалась.

Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь!

— Это, наверное, стыдно — целоваться? Тебе было стыдно?

— Я не помню, это было так давно... По-моему, это не особенно стыдно.

— Да, это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы идем уже полем. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу горящих окурков. Только звонко скрипят наши шаги. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхивает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается, но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и наконец догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции. Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слышали никакого шума.

— Ну вот... — говорит Лиля и крепче прижимается ко мне. — Я так и знала. Сейчас нас убьют. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я вглядываюсь, считаю: шесть человек. Нашупываю в кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Как я буду драться с ними! Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

— Лучше бы я тебя поцеловала, — печально говорит Лиля. — Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользнув по снегу, падает на нас. Мы щуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

— А девочка ничего, — сожалеюще замечает кто-то сзади. — Эй, малый, не робей! А то отобьем!

— Ты испугался, да? — спрашивает Лиля немного погодя.

— Нет! Я только за тебя боялся...

— За меня? — Она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги. — А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, становясь на цыпочки и обсыпаясь снегом, срывает веточку сосны и сует в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топтать: очень холодно. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платформы, над рельсами, и вытягиваю шею, стараюсь увидеть огонек электрички.

— Алеша... — зовет меня Лиля. У нее странный голос.

Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшно.

— Прижмись ко мне, Алеша, — просит Лиля. — Я совсем замерзла.

Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Сзади раздаётся вдруг звонкий щелчок. Он сухо катится по доскам, как по льду на реке, и затихает где-то на краю платформы. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.

Лиля шевелит губами. Глаза ее делаются совсем черными.

— Что же ты не целуешь меня? — слабо шепчет она. Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю вверх ее плеча, в темный зимний лес за платфор-

мой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она шевелится и затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка. Через минуту мы входим в светлый и теплый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

5

Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я, одинокий, бродил по Северу? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лилия? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом все катится под гору, все быстрее, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и

пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым разом все дальше, все дальше...

Сколько в мире девушек, которым по семнадцать лет! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает себя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как и ты ее.

Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли — не для нее, и сам ты со всей сложностью и красотой своей души — не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном неповторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник — и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя! Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость — все, но того, что тебе надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно! Как тяжело жить!

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать Май. И я, как и все, тоже собираюсь. Мне подарили к Маю сто рублей — теперь я самый богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей, — не станет же

она и в эти дни готовиться к экзаменам! Нет, я не пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе...

Но она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить Май в кругу родных, и вот они едут — ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретит Май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая?

Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... Конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе. Итак, второго вечером, у Телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у Телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой глобус. Еще сумерки, но он уже светится — голубой, с желтыми материками — и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые искры. От света иллюминации лица у всех очень красивые. У меня в кармане сто рублей. Я их не истратил вчера, и они со мной — мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Кругом все нервничают, но я удивительно спокоен.

По улице, прямо по середине идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, много огней. Поют песни, и мне тоже хочется запеть, ведь у меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом. О многом я мечтал...

Вдруг я вижу Лилу. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются — так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня. Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в шляпе и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

— Здравствуй, Алеша, — говорит Лиля. Голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем маленькое. — Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хмурится. Потом она поворачивает голову и смотрит на парня. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на меня?

— Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Он крепко жмет мне руку. В его пожатии уверенность.

— Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

— Нет, я не обижаюсь.

— Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

— Провожу. Мне действительно нечего делать.

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком движемся вниз, к Охотному ряду. Зачем я иду? Что со мной делается? Крутом поют. Играют аккордеоны. На крышах домов гремят репродукторы. В кармане у меня сто рублей! Совсем новая хрустящая бумажка в сто рублей. Но зачем я иду, куда я иду!

— Ну, как дядя? — спрашиваю я.

— Дядя? Какой дядя?.. Ах, ты про вчерашнее? — Она закусывает губу и быстро взглядывает на парня. — Дядя поправляется... Мы очень здорово встретили Май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

— Я? Очень хорошо.

— Ну, я рада!

Мы заворачиваем к Большому театру. Мы идем все рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза? Заболел я, что ли? Доходим до Большого театра, останавливаемся. Молчим. Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

— Ну мы пойдем. До свидания! — говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее виноватая и в то же время отсутствующая улыбка!

Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах да, в черной дыре ворот, когда я приехал с Севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в Консерватории. Потом на школьном балу... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядывалась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Нет, ничего, — отвечал я со смехом, счастливый оттого, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

— Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

— Откуда им знать! — говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй. — Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое, и по трое, и целыми группами, — совсем нет одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю... Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней. И в кармане у меня сто рублей. Совсем новая бумажка, которую я не истратил вчера...

6

Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти позабыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я.

Хотя у меня произошло за это время много нового. Год — это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый стремительный стиль. Впрочем, это не важно.

Однажды я получаю от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май, у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдаю экзамены и перехожу на второй курс. И вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж. Еще она пишет, что уезжает с мужем на Север и очень просит прийти проводить ее. Она называет меня «милый», и она пишет в конце письма: «Твоя старая, старая знакомая».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой, она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что я давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад!

И я еду на вокзал в тот день и час, которые написала она мне в письме. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж — тот самый парень. Они все громко говорят и смеются, но я замечаю, как Лилия нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

— Я на одну минуту, — говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

— Ну вот я и дама, и уезжаю, и прощай, Москва, — говорит Лиля и грустно смотрит на башни вокзала. — Я рада, что ты приехал. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

— Хорошо, — отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо. Лилия внимательно смотрит на меня, лоб ее перерезает морщинка. Это у нее всегда, когда она думает.

— Что с тобой? — спрашивает она.

— Ничего. Я просто рад за тебя... Давно вы поженились?

— Всего неделю. Это такое счастье!

— Да, это счастье.

Лилия смеется.

— Откуда тебе знать! Но постой, у тебя очень странное лицо!

— Это кажется. Это от солнца. Потом я немного устал, у меня ведь экзамены. Немецкий...

— Проклятый немецкий? — смеется она. — Помнишь, я тебе помогала?

— Да, я помню. — Я раздвигаю губы и улыбаюсь.

— Слушай, Алеша, в чем дело? — тревожно спрашивает Лилия, придвигаясь ко мне. И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменялось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. — Ты скрываешь что-то, — с упреком говорит она. — Раньше ты был не такой!

— Нет, нет, ты ошибаешься, — убежденно говорю я. — Просто я не спал ночь.

Она смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

— Сейчас! — кричит она ему и снова берет меня за руку. — Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне о Севере? Вот... Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

— Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха... У тебя был тогда глупый вид.

Она смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

— Какие мы дураки были! — беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность.

— Да, мы были дураки, — соглашаюсь я.

— Нет, дураки — не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

— Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Ее ждут.

— Ну, прощай! — говорит она. — Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обязательно!

— Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

— Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

— Да, я не подарил тебе ничего...

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны! Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко поют.

Наверно, студенты. Лилия уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая счастливая у нее улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опу-

скаю глаза. Теперь можно признаться: весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело, девушка вышла замуж — это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в пятнадцать лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше — скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выходят замуж...

Я выхожу на площадь, в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр — я никогда не мог в них разобраться. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю наконец, всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом я спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом: я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоях. Если заглядеться на них, можно увидеть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лилиного лица нет на обоях...

Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

7

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро я поеду на Север. Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился когда-то и был счастлив. Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с Севера. Где она — я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом... Ну что ж, не всем быть поэтами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня...

Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и томна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать лет и я люблю впервые в жизни.

Я просыпаюсь утром, еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному, посидеть где-нибудь с закрытыми глазами.

Но это бывает редко: раза четыре в год. И потом, это все сны. Сны, сны... Непрошенные сны!

Я не хочу снов. Я люблю, когда мне снится музыка. Говорят, если спать на правом боку, сны перестанут сниться. Я стану спать теперь на правом боку. Я буду спать крепко и утром просыпаться веселым. Жизнь ведь так прекрасна!

Ах, Господи, как я не хочу снов!

На полустанке



Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сушья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост в сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невывыказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботинках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

— Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. — Теперь мое дело — порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай

матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

— А я как же? — тихо спросила девушка.

— Ты-то? — Парень покосился на нее, кашлянул. — Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется — дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сишло спросил:

— Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

— Девятый. А что?

— Ну-ну... — пробормотал начальник и снова зевнул. — Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода — сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

— А ну, хватит! — проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. — Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

— Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

— А ну, брось! — сказал парень. — Сказано — приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

— Вон девятый! — быстро сказала девушка. — Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

— Девушка, это какая станция?

— Лунданка, — сипло сказал проводник.

— Базар есть? — спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

— Нету базара, — опять отозвался проводник. — Две минуты стоим.

— Как же так? — изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

— Закройте окно! — попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

— Ну, прощай, что ли, — тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.

— Скучно мне будет, — шептала она. — Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

— Сказано уже, — неохотно и испуганно говорил парень. — Оботри слезы-то... Ну!

— Да я ничего, — шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьей отирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. — Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

— Я помню, мне что! — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

— А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

— Сказано... — буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

— Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... — сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

— Вася! — закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те сразу отвернулись. — Вася! Поцелуй же меня...

— Мне что... — пробормотал парень, затравленно покопился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

— Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

— Берегись! — раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завывала по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

— Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

— Уехал? — спросил он. — Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевков ногой.

— Скоро и я уеду... — забормотал он. — На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти — как их? — кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботинки, спросил негромко и равнодушно:

— Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то — сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестящих рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

Некрасивая



Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот и присядку — шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» — и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось, как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда — на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну, довольно! — говорила себе Соня, крепко закрывая глаза. — Ну, хватит же! Больше

не надо! Нужно идти!» И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

— Что такое? — громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

— А! — пьяно сказал он. — Это вы? А я... на огороде... был. — Он качнулся и прижался к ней. — На свадьбу, сволочь, пригласил! — с усилием выговорил он. — А! Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

— Вам плохо? — испуганно спросила Соня. — Хотите воды?

— Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

— Вам легче теперь? — тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

— Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

— Я редко хожу на гулянки.

— А! Вы при школе живете?

— При школе.

— Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

— Вы чего плакали-то? — спросил он, вернувшись. — Обидел кто?

У Сони благодарно забило сердце. Она опустила голову.

— Нет, никто не обидел...

— А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю! — Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

— Послушайте, вы совсем пьяный! — с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

— Ну да! — Николай тер себе рукою лицо. — Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, силно дышал, держал Соню за руку.

— Ну расскажите же что-нибудь, — попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

— Чего там рассказывать?.. — хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

— Пустите! — шептала она, вырываясь. — Пустите!

— Тихо! — говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. — Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене.

— Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

— Любишь меня? — бормотал Николай. — У, собака!

— Не надо, Коля, не надо! — сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее.

Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

— Ну ладно... — сказал он. — Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

— Когда? — спросила шепотом Соня, вся дрожа.

— Часов в семь. Ладно?

— Приду...

— Ага... — Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурочек, долго притаптывал его каблуком. — Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная! — подумала она и вздрогнула. — Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

— Это любовь? — спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вечернее темно-синее платье, завила немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся

в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исследованная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавшись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагретой за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадался! — со стыдом думала Соня. — Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки. «Придет, не придет...» Вышло — не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинутах на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек, что забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку.

— Привет...

— Здравствуйте, — ответила Соня, не смея поднять глаз.

— Давно ждете?

— Нет...

— Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

— Благополучно вчера дошли? — спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

— Нормально... — Николай зевнул и снял пиджак. — Не выспался только.

— Вы вчера были нехороший, — мягко сказала Соня.

— Чего еще! — Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

— Скоро стемнеет, — заметила Соня, покорно прикивая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

— Как попозднеет, пойдем в горох, а? — Николай мотнул головой куда-то вправо. — Там шалаш есть. Пойдешь?

— Не надо об этом, Коля, — тихо попросила Соня и вздохнула.

— Эх, — воскликнул вдруг Николай. — Спать охота! Нука, дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

— Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

— Конституция такая, — насильно улыбаясь, сказала она.

— Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела — как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

— Почему вы такой грубый! — вдруг низко сказала она. — Или вы думаете, что со мной все можно?

Она резко отвернулась и стала медленно краснеть:

— Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в поле, шевельнула коленями.

— И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите! Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

— Ну, ну... — забормотал он. — Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел — гад буду! Это по работе — привыкнешь.

— Нет, не по работе, — уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. — А потому что...

Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно.

— Потому, что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

— Что это вы ругались вчера? — спросила Соня после долгого молчания.

— Так... — Николай нахмурился. — У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту? Гулял я с ней...

— Вас, наверное, многие девушки любят, — сказала Соня.

— А! — Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. — Знаю я ихнюю любовь!

— Зачем вы так, Коля? — быстро сказала Соня. — Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

— Вы не верите? — упавшим голосом спросила Соня.

— В чего это?

— В чистоту человека.

Николай засмеялся.

— Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота... — Он поворожался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугуной силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдясь и краснея.

— Коля!.. Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, — сказала она еле слышно.

— Обожди! — Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

- Эй! — крикнул Николай.
- Зачем вы, Коля! — шепнула Соня, пряча лицо.
- Шедшие остановились.
- Куда это? — опять крикнул Николай.
- На гулянку. А кто это? Никак, Николай!
- Он самый. Где гулянка-то?
- В Сосновке.

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

— Погодите! — крикнул он вдруг. — И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накиннул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне.

— Ну, пока! Еще когда повидаемся... — Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцой стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: «топ-топ-топ»...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи.

— У-у! — сказала Соня все тем же низким, страшным звуком. — У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора. Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие ко-

стры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина, и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак — какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте — одинокая под полыхающими, падающими звездами.

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» — задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

Странник



1

Шел по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. Навстречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую, выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слезы, он вытирал их грязным, загрубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперед, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе.

Был он молод, высок, немного сутуловат, шагал широко и твердо. Резиновые сапоги, зимняя драная шапка, котомка за плечами, теплое вытертое пальто — все это сидело на нем ловко, не тяготило и не мешало.

Думал ли он о чем-нибудь, шагая мимо деревень, лесов, мимо рек, зеленых полей и бурых паров? Синие его глаза в красных веках не смотрели ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались, блуждали по далям, по белым облакам, заволакивались слезами, потом опять бездумно глядели. Звонко стучала по асфальту ореховая, позелененная травой палка. Подкрадывались к шоссе кусты, задумчиво подходили большие старые березы и вновь неслышно уходили, не в силах скрыть великого простора полей.

Солнце перевалило за полдень, стало жарче и суше, ветер нес запах теплого сена, разогретого асфальта, а странник все так же ходко шагал, постукивал палкой, и неизвестно было, куда он идет и сколько еще будет идти.

Наконец он заметил очень далеко справа белую черточку — колокольню. А заметив, скоро свернул на пыльный проселок и пошел уже медленней. Дойдя до чистой глубокой

речки, он сел в тени кустов, снял котомку, вынул яйца, хлеб и стал есть. Жевал он медленно, тщательно оглядывая кусок, прежде чем положить в рот. Наевшись, перекрестился, смахнул с бороды и усов крошки, тяжело поднялся, пошел к речке напиться. Напившись и вымыв лицо, он вернулся, забрался еще глубже в кусты, положил котомку под голову, поднял воротник, надвинул на лицо шапку и мгновенно уснул крепким сном сильно уставшего человека.

2

Спал он долго и проснулся, когда солнце село уже за холмы. Протер нагноившиеся глаза и долго зевал, чесался, оглядываясь и не понимая, где он и зачем сюда попал. Опухшее от сна лицо его не выражало ничего, кроме скуки и лени.

По дороге в сторону шоссе проехала машина с бидонами молока. Странник посмотрел вслед машине, лицо его оживилось, он быстро надел котомку, вышел на дорогу, перешел мосток над речкой и пошел к деревне, замеченной им еще днем.

Справа начались сочно-зеленые темнеющие овсы, потом потянулся двойной рядок елок. Солнце скрылось, оставив после себя узкую кровавую полосу заката. Эта полоса светила сквозь черный ельник, и смотреть на это свечение и одновременно черноту было жутко. Странник заспешил, поднимая сапогами пыль. Он боялся темноты и не любил ночи.

А запахи пошли теперь другие. Пахло похолодевшей травой, пылью на дороге, томительно благоухали донник и медовый тысячелистник, от елок шел крепкий смолистый дух. Небо было чисто и глубоко, потемнело, будто задумалось, и ясно был виден слева молочно-белый молодой месяц.

Дорога стала петлять лесом, оврагами. Странник шел все торопливее, шевелил ноздрями, втягивал воздух по-звериному, часто оглядывался. Раза два он попробовал затянуть песню, но скоро смолкал, подавленный сумеречной тишиной.

Наконец запахло жильем, попалась поскотина, он пошел спокойнее, зорко глядя вперед. Скоро разбежались, остались сзади кусты и деревья, и он увидел большую дерев-

ню с речкой внизу и церковью на горке. Весь низ у реки был занят скотными дворами и там, несмотря на подкравшуюся темноту, чувствовалась еще жизнь, как чувствуется она вечером в улье с пчелами.

Уже дойдя почти до гумна, странник заметил вдруг идущую снизу, от скотных дворов к деревне, женщину и остановился, ожидая. Когда женщина подошла, странник сдернул с головы шапку, поклонился низким поклоном и, кланяясь, пытливо поглядел ей в лицо.

— Здравствуй, мать! Храни тебя Господь, — сказал он глухо и важно.

— И вы здравствуйте, — помедлив, отозвалась она, поправила платок, облизала сухие губы.

— Здешняя?

— Я-то? Здешняя... А вы чей будете?

— Дальний я. Хожу по святым местам. Странник, значит.

Женщина с любопытством оглядела его, хотела спросить что-то, но застеснялась, тихо тронулась дальше. Странник пошел рядом с ней, сохраняя на лице твердость и важность.

— Церковь работает? — спросил он, вглядываясь в золотисто-розовый крест колокольни.

— Церква-то? Где ж работать! Не служат... МТС в ней теperича. Батюшка был, да дюже старый, помер годов уж двадцать.

— В безверии, значит?

Женщина смутилась, снова поправила платок, вздохнула, опустив глаза. Странник искоса глянул на нее. Была она не стара еще, но с темным, заветренным лицом и такими же темными руками. Сквозь выгоревшую старую кофту проступали худые плечи, и почти не выделялись плоские груди.

— Где уж! — сокрушенно сказала она. — Молодежь-то нонче, знаешь какая, не верит. Ну, а у нас тоже работа круглый год да свое хозяйство, ни до чего. Батюшка когда наезжает, молебен на кладбище отслужим, вот и вся наша вера...

— Так... — протянул печально странник. — Эх, люди, люди! Сердце мое болит, глаза бы не глядели на житье ваше! Сами себе яму роете...

Женщина грустно молчала. Улица была темна, только в пруду стекленела вода, плавали вдоль осоки две припозднившиеся утки, жадно глотали ряску, торопясь наесться на ночь.

— Есть тут хоть кто верующий, божьему человеку приют дать? — с тоской спросил странник.

— Это переночевать, значит? Да что ж, хоть у меня ночуйте, места не пролежите.

Больше до самого дома ни странник, ни женщина не сказали ни слова. Только отпирая дверь, она спросила:

— Звать-то вас как?

— Иоанн! — по-прежнему важно и твердо сказал странник.

Женщина вздохнула, думая, быть может, о грехах своих, открыла дверь, и они вошли в темные пахучие сени, а оттуда — в избу.

— Раздевайтесь, отдохните... — сказала хозяйка и вышла.

Иоанн снял котомку, пальто, стал разуваться. Долго с печальным лицом нюхал портянки, чесал большие набрякшие ступни, осматривался.

Когда снова вошла хозяйка, Иоанн сидел уже в одной рубашке, копался в котомке. Он вынул оттуда Евангелие, толстую тетрадь с надписью «Поминальница святого Иоанна» и большим крестом на обложке, пошарив, нашел огрызок карандаша, раскрыл тетрадь, подумав, спросил строго:

— Была в сем доме смерть?

Хозяйка вздрогнула, повернулась, пристально посмотрела на странного бородатого человека.

— Была, — негромко сказала она. — По весне сынок у меня помер. Шофером он работал в колхозе, через реку стал переезжать...

— Имя! — сурово остановил ее странник.

— Чего? — не поняла она.

— Имя, имя! Сына имя, — раздраженно прикрикнул он на нее.

— Сыночка-то? Федей звали... Говорили ему, погоди, не ездей, не погниют твои товары — части какие-то для МТС

вез — стороной объезжай, через мост, лед ведь сейчас тронется... Не послушал, горячий был... Утоп... Сыночек-то — утоп...

— Буду молиться! — перебил ее Иоанн, выписывая в тетради крупно: «Федор». — Тебя как звать?

— Настасья...

— Так... Нас-тасья. Одна живешь?

— Вдвоем. С дочкой. Не дочка она мне, женка Федина, да я уж с ней...

— Муж был?

— Был, как не быть... На фронте погиб, в сорок втором...

— Имя?

— Михаилом звали...

— Так... — Иоанн помолчал. — Невестку как звать?

— Люба... Любовь, значит.

— Знаю, — сказал странник, записывая. — Хорошая?

— Это как же? — не поняла Настасья.

— Поведения хорошего? В Бога верует?

— Нет... В Бога не верует, комсомолка, а так не согрешу — хорошая. Зоотехникум кончила, работает, значит, на ферме, да еще завклубом ее поставили. Клуб у нас, так она в нем еще вечерами. Устает — день там, вечер там, да я и не перечу, конечно, скука одной-то, молодая, годочек только и пожили... Сынок-то, Феденька... Из армии пришел, мамуня, говорит... Мамуня...

Настасья сморщилась, сухие губы ее затряслись, по темным худым щекам покатались слезы. Странник сурово молчал.

— Садитесь, повечеряйте... — сквозь слезы сказала Настасья. — Самовар сейчас вздую...

— Иконы есть?

— Есть... Жены-мироносицы, Троеручица Божья Матерь...

— Где? Проводи.

— Вон на той половине, пойдете...

Она отворила дверь в чистую горницу. Иоанн со скучным лицом, тяжело ступая по половикам, пошел за ней, захватив «Поминальницу».

— Выйди, — сказал он, увидев иконы. — Молиться буду.

Со стуком опустился на колени, задрал бородку. Настасья тихонько вышла.

— Господи! — глубоким голосом воскликнул Иоанн. — Господи!

И замолк, засмотрелся в окно на неподвижные яблоны. Настасья собирала на стол, звякала посудой. Эти тихие звуки, эти долгие летние сумерки были странно приятны ему, сладко трогали сердце. Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде: люди, обычаи, говор... И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки везде были одинаковые.

Смотрел Иоанн в окно, вытягивал шею: внизу, за огородами, — река, за рекой — поля, лес... Из лесу выполз уже туман, покрыл луга молочными прядями, скатывался потихоньку вниз, к реке.

— Господи! — вздыхал Иоанн и снова слушал тихое звяканье посуды, смотрел в окно, в дали.

Настасья осторожно заглянула в горницу, увидела лохматую, давно не стриженную голову, темную шею, широкие твердые лопатки, большие ступни подвернутых ног.

Но странник не шевельнулся, не ответил, думал о чем-то, упираясь длинными руками в пол. Настасья ушла, поставила на крыльце самовар, стала доить корову.

А странник услышал через минуту в сенях легкие шаги, подумал торопливо: «Девка!», настороженно повернул голову. Стукнула дверь, на пороге горницы шаги замерли. Иоанн задрал бородку, широко перекрестился, глядя в темные лики икон: знал, что пришедшая изумленно смотрит на него.

Молчание. Потом шаги быстро застучали обратно в сени. Иоанн вскочил, беззвучно подошел к двери, приложил бурый ухом.

— Мама!

— Чего ты? — Равномерное цвирканье молока по ведру прекратилось.

— Мама, что это за человек у нас?

— Так... Проходящий какой-то. Странник, веру ищет, ночевать попросился.

— Странник? Старый?
— С бородой, а так не дюже... Глаза у него молодые.
— Проходимец, может, какой-нибудь?
— Что ты, Христос с тобой! Человек божественный, молящийся...

Молчание. Только слабо похрюкивает поросенок. Опять послышались равномерно-быстрые тугие звуки молока по ведру.

— Поросятка кормили?
— Не, не поспела еще. Там я намешала ему, за печью...
— Я покормлю.

Иоанн тенью метнулся от дверей в горницу, припал на колени, задрал бородку. «Стерва! — злобно думал он. — Выгонит еще, поночевать не даст!»

А в избе слышались тихие хозяйственные звуки, тьма скоплась по углам, уже ничего нельзя было разобрать — ни лиц икон, ни фотокарточек, ни почетных грамот, — все пропадало в темноте, все становилось волнующе-таинственным, вошли в избу лесные тени. Когда стало совсем темно, а месяц над лесом побелел и стал осторожно заглядывать в окна, внесли горящую яркую лампу, зашумел самовар на столе, странник вышел из горницы, сунул в котомку Евангелие с «Поминальницей», сел на лавку, щурясь, стал следить за Любой.

3

Сели ужинать. Ел странник жадно и много, громко глотая, шевеля бородой и ушами.

— Кушайте, кушайте... — говорила Настасья, подвигая к нему еду.

А он, поднимая воспаленные синие глаза от тарелки, каждый раз взглядывал на Любу, и та, чувствуя его взгляд, розовея скулами, нервничала, подрагивала бровью. Была она красива неяркой смуглой красотой, осталось в ней что-то от девушки — угловатость движений, неуловимая бегучесть глаз, робкая грудь...

Поглядывал на нее странник, нравилась она чем-то ему, и начинал он уже думать, что хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на

сеновале, целовать ее до третьих петухов... От таких мыслей взбухало сердце, звенело в голове.

— Кушайте, не стесняйтесь... — просила его Настасья. — Вот грибочков попробуйте, нонче рано грибочки пошли.

Наевшись, Иоанн перекрестился, привычно поклонился хозяйке и Любе, отодвинулся от стола, хотел рыгнуть, но застеснялся, стерпел, стал свертывать папиросу, рассыпая на колени табак и подбирая его.

— Курю вот, — сожалеюще сказал он. — Курю... Бес искушает, сколько разов уже каялся, епитимью накладывал — не могу...

Люба вдруг засмеялась; отворачиваясь, отошла к печке. Настасья засуетилась, приподнялась, умоляюще глядя на странника.

— Чего ты, ну чего ты! Сбесилась ай нет?

Люба молчала; прикрывая глаза ресницами, сдерживала смех.

— Да, — повышая голос, сказал странник. — Умны многие стали, не верят, а бес-то тут как тут... Мельгешат все, жизнь суетливая стала, мыслей настоящих нету, машина все... Съела человека машина! В Апокалипсисе об этом прямо сказано.

Люба, усмехаясь, уже открыто смотрела на него.

— Что смотришь? — спросил грубо Иоанн, ощущая в груди веселую злость к ней. — Или не нравлюсь? Не видала таких-то? Может, жалеешь, что за стол сел?

— Чтой-то вы, Бог с вами! — испугалась Настасья.

— Стола мне не жалко, избы тоже... — звонко сказала Люба. — Мамино это дело. А если уж прямо говорить... Смешно, конечно. Что вы ходите? Не стыдно вам? Бороду вот отрастили... Думаете, от бороды святости прибавится? Честное слово, прямо как в самодеятельности у нас!

— А ты не пошла бы?

— Я? Нет, я работу люблю.

— Работу... — Странник засопел, стал смотреть в угол. — Глупая ты девка. В чем ваша работа? В Бога не верите, а он есть и пребудет вовек! Работа... Эх, вы-ы! Я вот хожу, смотрю...

— Смотреть легко, — небрежно вставила Люба.

— Я вот хожу, смотрю, — продолжал странник громче. — Что вы делаете? Как живете? Лучше ль стало на земле жить? Хуже! Истинно тебе говорю — хуже! Воров стало больше, разврату больше. Евангелие святое читаю... Вот она, книжго! — Он похлопал рукой по котомке. — Этого в техникумах да в институтах ваших нету... Нету!

— И не надо... — зевая, сказала вдруг Люба. — Без этого обходимся. Что-то устала я, пойду лягу... Спасибо, мама.

Она отошла от печки, взяла что-то в комод, прошла мимо, обдав странника запахом здорового, чистого женского тела, вышла в сени, стукнув дверь.

— Гордая девка, — перехваченным голосом сказал странник и усмехнулся. — Хара-актер!

— Что ж, молодые они, — примирительно отозвалась Настасья, убирая со стола. — Понятия другие. Смелые они теперь... Вы не обижайтесь. Жизнь-то у нее не легкая. Молодая, красивая, а... вдова.

— Н-да-а, — обронил задумчиво странник. — Господь, значит, рассудил так. Я вот тоже не думал странником стать. Конечно, интерес к жизни у меня, с другой стороны, был. Псковской я сам, из деревни Подсосонье, не слыхала? Родителей моих в войну побил, царство им небесное, остался я один, как быть? Туда-сюда мыкался, работал, поля разминировал, взорвалась одна мина, ранила меня в живот, под самый дых, еле жив остался, инвалидом стал... Ну а что инвалиду? Работенку, может, какую легкую? Да образования нету, долго учиться, ежели на инженера там или агронома. Плохо мне стало в колхозе, скучно, душа у меня ненасытимая, — и потянуло меня в дальние дали. Стал я к Богу припадать, раньше-то тоже не верил... Старичок у нас в колхозе был — молоковозом работал, — боже-естественный старичок. Он меня всему наставлял, стал по книгам читать, — так на так все выходит. «Иди, сын мой, — это он, значит, мне говорит. — Иди, говорит, во святые места, молись, спасай нас всех от гибели и сам спасайся». Я и пошел, да вот уж пятый год хожу. Мно-ого народу ходит, люди всё чистые, святые. Легко мне теперь, стою к Богу близко и с дороги своей уж теперь не сойду. Нет, не сойду!

— А теперь далеко ли идете? — сонным голосом спросила Настасья.

— Да вот завтра хочу до Борисова дойти, к животворящему кресту приложиться. Много я наслышан про него. А где я только не был! В Киеве при монастырях жил, подавнием кормился, во святой Киево-Печерской лавре был, место дивное. Молящихся много... И в Троице-Сергиевой бывал, в Эстонию даже заходил, на Ветлуге был, — ну, там народ хмурый, беспоповцы, сектанты, не люблю я их, не подают, паразиты...

«А ведь она в сенях легла!» — внезапно подумал он о Любе, и сердце его сладко заныло.

— Эх, мамаша! — весело и горячо заговорил он, возбуждаясь от того, что так все хорошо складывается: и хозяйка попалась верующая, и молодая вдова одна в сенях спит. — Ах, мамаша! Много я по свету исходил, а если сказать по душе, как перед Господом истинным — нету стороны лучше русской! Идешь ты по ней, жаворонок звенит, вот трепещется, вот трепещется, тут тебе донник цветет, ромашка на тебя смотрит, тут люди хорошие попадут, расспросят, ночевать позовут, накормят... А то лесами идешь, — духовитые леса у нас, шмели жундят, осинки чего-то лопочут, — вот хорошо-то, вот сладко! Нету над тобой начальства, нет законов никаких, встал — пошел. Что мне люди? Кто такие? Да и память у меня плохая, забываю всех, никого не помню... Нет, совсем не помню. Я вот переспал у кого, встану, Богу помолюсь, хозяину поклонюсь — и дальше. А есть которые и не пускают: жулик, говорят. Обидно мне это, Бог с ними, обидно! Только много еще добрых людей, верующих, адреса дают, зовут: живи-и! Да не хочу я на одном месте жить, тянет меня все, сосет чего-то... Особо по весне. Нет, не могу!

Странник задумался, замолчал, упершись руками в лавку. Хозяйка стала засыпать, кланялась, вздрагивала, моргала... Четко шли часы в горнице, тихо было.

— Спать чегой-то клонит, — сказала виновато Настасья и зевнула. — Завтра вставать чуть свет...

Она с усилием поднялась и, разбирая широкую деревянную кровать, проговорила немного смущенно, будто сама над собой посмеиваясь:

— Дояркой я теперь на скотном, первая я по району-то, обязательство еще взяла... Ложитесь-ка с Богом, тоже устали небось.

— Да нет, уж я на полу как-нибудь... Постелешь чего-нибудь, и ладно... — притворно забормотал странник, жадно глядя на кровать с периной.

— Ложитесь-ложитесь, и не думайте! Я не сплю на ней, не люблю, широко очень... Люба когда поспит, а я все на печке. Ложитесь!

— Ну ладно, спаси Христос, — с видимой неохотой и тайной радостью сказал Иоанн и стал раздеваться.

Настасья походила еще немного, что-то переставляла, убирала, мелькала на стенах большой сонной тенью. На потолке, потревоженные, начали гудеть мухи. Потом Настасья подошла к столу, щурясь, задула лампу, и в избе стало темно.

4

«В сенях ли легла?» — думал о Любе странник, томясь от сильного желания. Ему не лежалось, он ворочался, смотрел на лунные пятна света, наконец встал, белея в темноте нижней длинной рубахой.

— На двор забыл сходить... — пробормотал он, нашаривая ручку двери. Вышел в черные сени, постоял секунду, привыкая к темноте, прислушался, услышал сонное дыхание Любы. «Здесь!» — подумал радостно и, пройдя сенями, открыл засов, вышел на крыльцо.

В деревне было темно, тихо, кое-где в избах не спали, горел огонь. Далеко где-то разговаривали, смеялись; луна светила в полную силу, но стояла еще низко, резкая тень избы тянулась далеко за дорогу. Мерцали некрупные звезды, холодило, в поле стрекотал трактор, но в какой стороне — не понять было. Голоса и смех все приближались, стали видны слабые огоньки папирос. Странник продрог, опять тихо прошел сенями, вошел в избу, дверь за собой не прикрыл. «Подожду еще, пусть хозяйка крепче заснет, тогда уж...» — подумал он, ложась и закрывая глаза.

За окнами послышались тихие голоса, негромко вякнула гармошка. Потом несмело постучали в окно. Вытянув

шею, Иоанн увидел за окном две девичьи фигуры. Опять за-
барабанили в стекло — виновато и тихо. В избе крепко спа-
ли, — никто не шевелился.

— Ну что? — спросил за окном мужской голос. — Спит? А
ну, давай погромче...

Парень сильно загрохал в раму кулаком, потом прыснул,
отскочил от окна. «Черти их принесли!» — с досадой подум-
вал Иоанн.

В сенях затопали босые ноги, в избу нетвердо вошла Лю-
ба в одной сорочке, растворила окно.

— Чего вам? — сердито спросила она.

— Любушка, — просительно заговорил девичий голос. —
А мы думали, ты не спишь...

За углом засмеялись.

— Верно, думали... Дай ключ, в клубе потанцевать...

— Дай, Любушка, — подхватила весело и жалостливо дру-
гая. — А то совсем засохли, лето, а ни кино, ничего не ви-
дим...

— Не дам! — строго сказала Люба. — Спать ступайте!

Странник не шевелился. Затаив дыхание, смотрел
на ее фигуру, освещенную луной, на крепкие руки и плечи,
на грудь.

— Ни кино не видим, ни самостоятельности никакой... —
продолжал уже обиженно второй голос.

— Любушка, мы на часок, — просительно ввернула пер-
вая. — Время-то — рано!

— Какой рано! Светать скоро будет!

— Где светать, где светать! — жарко отозвались за
окном. — Коля, Коля, скажи, какой час?

— Без двадцати одиннадцать, — сиповато сказал кто-то
за углом и засмеялся.

— Не дам ключа! — твердо сказала Люба. — Председатель
не велел. Сегодня на правлении вопрос ставили. До утра тан-
цуете, а потом на работу не подынешь. Спать надо!

Люба закрыла окно, мелькая белыми икрами, ушла
опять в сени. Девушки пошептались о чем-то, отошли.

— Не дала? — вростяжку спросил кто-то за углом. — Тут-то
она ему и сказала: за мной, мальчик, не гонись...

Заиграла гармошка, и надтреснутый голос фальцетом вывел томительный куплет частушки. Потом голоса рассыпались, отдалились, стало очень тихо. Во дворе три раза прокричал петух. Странник сел на кровати, свернул папиросу, осторожно закурил в кулак, роняя искры на пол. Докурив и пригасив окурок в цветочном горшке, он подождал немного, встал, подошел неслышно к печке, потолкал Настасью, послушал: та тихонько посвистывала носом.

Тогда Иоанн решительно вышел в сени, крепко притворил за собой дверь и, чувствуя холод и дрожь в животе и ногах, вытянул руки, медленно двинулся к тому месту, где спала Люба.

Нашулав постель, он прилег с краю, сдернул тонкое одеяло, скользнул руками под сорочку и всосался в губы. Люба проснулась, вздрогнула, вывернула лицо из-под бороды, ударила странника в грудь и вскрикнула. Иоанн навалился на нее всем телом, зажал рот рукой и зашептал:

— Что ты, что ты, я это... Не бойся, я это...

— Пусти, бродяга! Богомолец чертов, пусти! — невнятно сказала Люба и, вырвавшись, села, зажав рубашку в коленях.

— Погоди... Женюсь на тебе, не шуми ты, послушай, что говорю... — зашептал он. — Женюсь, хоть завтра... Бороду сбрею, в колхозе буду работать... В баню схожу, — добавил он, вспомнив, что давно не мылся в бане. — Иди ко мне, приласкаю...

— Мама! — крикнула Люба, соскакивая с постели и прижимаясь к стене. — Отойдешь ты от меня, черт поганый? — старалась она за грубостью скрыть свой ужас перед ним.

— Я тебя любить буду! — тоскливо шептал странник, чувствуя уже, что ничего не выйдет. — Я здоровый, молодой, — сила во мне мужская кипит... Бороду хоть сейчас сбрею! Ты подумай, ребят-то нынче в колхозах совсем нет, пропадешь или за вдовца выйдешь, на детей... Иди сюда, ну! Хочешь, в землю поклонюсь?

— Мама! — опять крикнула Люба. — Да что же это!

В избе послышался шорох.

— Тихе ты! — шикнул на нее странник. — Ухожу, ухожу, будь ты проклята, ведьма, сатана...

Он поднялся, нашарил дверь, покачиваясь вошел в светлую от луны избу.

— Ктой-то? — окликнула его с печи хозяйка сонным голосом. — А? Ктой-то?

Странник молча лег на кровать, трясся весь, скрипел зубами, на глазах у него выступили слезы от обиды и разочарования.

Хозяйка пошевелилась на печи и затихла — тихонько захрапела.

— Сука! — шептал странник. — Сука! Сволочь, распалила, а?

В сенях что-то стукнуло, покатилося, загремело; послышались шаги на потолке; потом опять заскрипело что-то и стихло.

— На избу полезла, стерва, — злобно шептал странник. — И лестницу затащила... Ну и черт с тобой, будь ты, анафема, проклята!

Он опять закурил, на этот раз не скрываясь, матерясь шепотом. Время тянулось, лунный свет переместился, начало светать, а странник все никак не мог заснуть, ворочался на мягкой перине.

5

Разбудил его утром петух, — кричал залиvisto под окном. Умываться он не стал, позевал, поскреб голову, долго сидел неподвижно, пытаясь вспомнить, что ему снилось, но так и не вспомнил. Солнце напекло, в избе было душно, пахло кислым, летали мухи, — все стало обычным, надоевшим, вчерашняя таинственность исчезла. Иоанн оделся, сел у окна, закурил и задумался.

Громко стукнув дверью, в избу вошла Настасья, хмуро и странно глянула на Иоанна, подошла к печке, взяла ухват, загремела заслонкой, наклоняясь, проворно и зло двигая острыми локтями. «Рассказала про меня девка-то... — догадался Иоанн. — Эх!.. Теперь не покормит. Видать, уходить надо».

Он встал, медленно, с нарочито-печальным, покаянным лицом надел пальто, взял котомку. Опершись на ухват, Настасья молча смотрела на него, в нитку сжав губы. У порога странник, вдруг повеселев, сдерживая улыбку, низко, как и в первый раз, поклонился.

— Ну, спаси Христос, — сурово сказал он. — Спаси тебя Бог и помилуй... А я помолюсь за всех за вас!

— У, кобель красноглазый! — быстро сказала Настасья, заливаясь пятнистым румянцем и отворачиваясь.

Странник надел шапку и вышел на крыльцо.

Как всегда, когда он уходил откуда-нибудь, ему становилось все веселее, веселее — дорога звала его, и забывалось и меркло вчерашнее. «День да ночь — сутки прочь!» — радостно думал он, спускаясь огородами к реке. У реки он скоро отыскал и перешел брод, поднялся на большой пологий холм и вошел в лес, из которого вчера вечером сползали к реке молочные пряди тумана. В лесу, поплутав немного, странник вышел на дорогу и пошел по ней на запад.

Куда выведет его эта дорога, он не знал. Но было у него снова легко и радостно на душе, опять он шел спорой походкой человека, привыкшего много ходить, шуршал палкой по траве и кустам, постукивал ею по деревьям, тихонько напевал что-то веселое. И только воспоминание о ночной неудаче и слабая тоска по чему-то незнакомому, которую он почувствовал вчера, стоя на коленях в темной горнице, иногда слабо покалывали его сердце.

Так шел он весь день, а вечером попросился ночевать в далекой деревне.

Дом под кручей



1

Блохин приехал в районный город вечером. Вылез из машины у здания райкома, оглянулся: шел редкий снег, фонари не горели, темная улица была перечерчена длинными желтоватыми полосами света из окон.

Спросив у прохожего о гостинице, Блохин по узкому переулку спустился вниз, долго ходил среди приземистых строений, похожих на баржи, наконец нашел гостиницу и постучал. Кто-то спустился по лестнице, но дверь не открыл. На вопрос Блохина о койке, подумав, ответил:

— Ничего нету.

— А где же переночевать? — сердито спросил Блохин, глядя на слабо блестящую, старинную медную ручку. — Да вы откройте!

Ответа не последовало. Тот, за дверью, полез вверх, лестница под ним скрипела, и Блохин подумал со злобой, что это, должно быть, очень грузный человек.

Отойдя от гостиницы, Блохин смахнул снег с тумбы, присел, размышляя о своем положении. В этот городок приехал он из Москвы, ездил же он вообще редко и поэтому в дороге почти не спал, а все волновался, радуясь тому, что поехал так далеко, и думая о том, как устроится и как будет жить на месте. От областного города нужно было ехать еще семьдесят верст на машине. Блохин полдня бродил возле вокзала, отыскивая попутную машину, наконец нашел и приехал на место. Теперь он устал, отчаялся и не знал, что делать и куда пойти. У него начали уже зябнуть ноги, когда он решил окликнуть проходившую мимо девушку. Та молча и задумчиво выслушала Блохина и повела его темными переулками с засыпанными снегом домиками по сторонам опять вверх.

Скоро они очутились в теплом и светлом Доме культуры. Было шумно. В коридоре возились ребята, поглядывали в двери. Наверху громко и фальшиво играл духовой оркестр. Девушка скрылась в одной из комнат, и спустя минуту в коридор вышел купец с красивой бородкой и большой цепью через грудь. Ребята сразу затихли, с восторгом уставились на купца.

— Вам комнату? — спросил купец молодым голосом и, морщась, стал отдирать бородку. — Вы чуть подождите, сейчас я вас провожу.

Отодрав бородку, он погрозил ребятам кулаком, ушел, а через пять минут вышел уже в пальто, оказавшись молодым румяным парнем.

— Пойдемте! — весело сказал парень и с облегчением вздохнул, а Блохин вдруг решил, что городок этот странный и веселый и что жить здесь, должно быть, просто.

Парень вел его мимо деревянных заборов и каменных оград, мимо чайной, возле которой на рассыпанном сене стояли заиндевевшие лошади, мимо белых домов с черными окнами, скрипел валенками по снегу и рассказывал:

— Дом внизу стоит, у самой реки, и комнатка ничего, жить можно и все такое, хозяйка только не хороша...

— А что? — спросил Блохин.

— Да так... Вы ведь, наверно, ненадолго? Это у меня там с ней дело одно вышло... А вам что! Деньги платите да не трогайте ее, и все...

— А комната отдельная?

— Отдельная. Вы что, к нам в командировку?

— На практику.

— На практику? Случайно не в Дом культуры?

— Нет, в библиотеку...

— А-а... Жалко. А то бы можно такие дела развернуть... Чемодан-то тяжелый? Давайте я понесу.

— Ничего, спасибо. В этом доме-то кроме хозяйки есть еще кто-нибудь?

— Дочка.

— Да? Интересно... И молодая?

— Дочка-то? — Парень помолчал. — Молодая... Совсем молодая.

«Вон оно что! — подумал Блохин. — Молодая девушка. Наверное, пробовал ухаживать, да неудачно?» И ему стало очень любопытно и весело от мысли, что он идет в дом, где живет молодая девушка.

Спустились в овраг, прошли мимо редких черных деревьев, свернули налево и пошли под обрывом. Справа попадались баньки, дома с закрытыми ставнями, сквозь которые кое-где пробивался свет. За домами скорее угадывалось, чем виднелось близкое, большое и смутное пространство занесенной снегом реки.

— Это у нас улица Оползино, — объяснял парень. — Берега здесь оползают, а люди живут... Ставнями запираются. Как чуть стемнеет, так и запираются. Народ! У каждого свой колодец — кулугуры, черти! У стариков в сараях гробы да кресты стоят — это они после смерти опоганиться боятся, в своих хотят в могилу лечь и под своим крестом...

— Интересно! — изумился Блохин.

— Кому интересно, а кому... — буркнул парень. Он подвел Блохина к большому дому с высоким крыльцом. Одна половина дома была темной, на другой мягко сияли окна, освещающая низкий забор со снежными шапками на столбах.

— Ну вот, смотрите. А я пошел. Ежели что не так, заходите в Дом культуры, поможем. И вообще заходите, спросите Колья Балаева, меня там все знают.

Он негромко засвистел и пропал в темноте, только свист долго был слышен. Приглядевшись, Блохин увидел метлу на крыльце, обил снег и постучал.

Дверь ему открыла девушка в халате с подвернутыми полами и засученными рукавами. Она тяжело дышала, руки у нее были запачканы, прядь волос прилипла к щеке. Увидев Блохина, девушка задержала дыхание, торопливо одернула халат, поправила плечом волосы, пропустила его на кухню и почему-то очень долго запирала дверь.

— Поговорите с мамой, — задрожавшим голосом перебила она Блохина, когда тот стал объясняться, покраснела и быстро ушла в комнату.

Вышла мать ее, худая женщина с тонкими поджатыми губами и убитым выражением лица. Было похоже, будто минутой назад с ней случилось несчастье.

— Комнату? Комнату сдаем... Посмотрите, — она открыла застекленную дверь и зажгла свет. — Комната у нас хорошая, замечательная... Чистая комната. Вы один или семейный?

— Один.

— Прошлый год профессор жил. Два инженера жили. Комната хорошая, теплая...

Комната была холодная, пустая, с крепким застоявшимся запахом. Блохин поморщился.

— Вы как же... надолго приехали? — настороженно спросила хозяйка.

— На месяц, — сухо ответил Блохин, чувствуя растущую неприязнь к хозяйке и думая о девушке, открывшей ему дверь.

— А комната у меня замечательная, тихая. Как на даче будете жить.

— Сколько же вы берете?

— Да вот профессор жил, так двести рублей платил. Да и то дома почти не бывал.

— Двести? — переспросил Блохин и нахмурился: это было дорого.

— Да еще с его дровами, — заторопилась хозяйка. — Ведь вы топить не будете? Топить, значит, мне нужно. А дрова копейки стоят. Времена нынче плохие.

Блохину делалось все более неприятно. Но после дороги так хотелось согреться, обрести хоть какое-нибудь место, да и выбрать было не из чего, и Блохин согласился. «Что мне в конце концов до хозяйки! — подумалось ему. — Она сама по себе, я сам по себе... Да и не век мне здесь жить!»

— Ну хорошо! — сказал он. За стеной тотчас что-то свалилось.

— Вы, может, погуляете, пока я комнату приготовлю? — спросила хозяйка, прислушиваясь к тому, что делалось за стеной.

Блохин с легким сердцем вышел на улицу, закурил. Идти ему никуда не хотелось, он спустился вниз, встал на берегу реки и задумался.

Было Блохину двадцать шесть лет. Он кончал институт и все чаще подумывал о женитьбе, но без любви женитьбы

себе не представлял, а полюбить все как-то не приходилось, и это в последнее время всерьез беспокоило и даже угнетало его. Ему, как и многим вообще, почему-то казалось, что в своем городе, в своем институте, одним словом, дома, ничего необыкновенного произойти не может. Дома было все привычным и обыденным. А необыкновенное было где-то далеко, поэтому он любил дальние поездки и каждый раз, собираясь в дорогу, был почти уверен, что с ним произойдет что-то радостное, кто-нибудь полюбит его... Он ездил, и с ним не случалось ничего, но вера его в счастливый случай не пропадала.

Сейчас, глядя на снежный простор широкой реки, похожей на поле, он задумался о девушке, которая так смутилась, открыв ему дверь. И чем больше думал он о ней, тем больше волновался. Может быть, это вот и есть тот долгожданный случай, то необыкновенное счастье, о котором он мечтал? Кто она? Как жила и как будет жить? Он старался вспомнить, какие у нее губы и глаза, какое лицо, но вспомнить ничего не мог, только чувствовал, что она хороша и что ее смущение может многое означать...

— Хорошо! — громко сказал Блохин и оглянулся. Дом сиял мягким светом окон... После Москвы здесь казалось необыкновенно тихо и таинственно. У Блохина стало весело и горячо на душе. Он докурил папиросу, щелчком подбросил ее вверх. Папироса упала в снег, но не погасла, и то место, куда она упала, долго светилось в темноте нежно-розовым пятном.

«Пожалуй, пора!» — подумал Блохин и пошел назад к дому, улыбаясь в темноте и с удовольствием прислушиваясь к скрипу снега под ногами.

2

Пол в комнате был уже вымыт, у стены стояла узкая железная кровать с серой сальной подушкой. Вошла хозяйка. Она тревожно поглядывала на Блохина, часто поворачивала бледное лицо к стене, и тогда казалось, что она видит все, что делается за стеной.

— Вам и бельё давать? — спросила она.

— Конечно, — сердито ответил Блохин, поднимая брови и стараясь, чтобы хозяйка заметила его недовольное удивление; неприязнь его к ней росла с каждой минутой.

Белье было постелено, на столе появилась скатерть. Блохин успокоился, раскрыл чемодан, разложил вещи, вынул книгу и стал читать. Но ему внезапно стало скучно, не читалось, хотелось крепкого горячего чаю из тонкого стакана, хотелось с кем-нибудь поговорить.

Он отложил книгу, облокотился, стал смотреть в темное мокрое окно, слушая, как в печке потрескивают дрова, думая о том, что только вчера он ходил в Москве по Арбату, а теперь сидит в чужом доме, у незнакомых людей, которые равнодушны к нему, к его прошлому, его занятиям и которые, быть может, никогда не вспомнят о нем, когда он отсюда уедет.

От этих мыслей Блохину стало тяжело, грустно. Он подумал было лечь спать, но спать не хотелось. Тогда он встал, походил по комнате, потрогал печку, прислушался и вышел на кухню.

Девушка переоделась в темное платье, сидела за столом и вышивала. Увидев Блохина, она вспыхнула, шевельнулась, будто хотела встать и уйти, но не ушла, только еще ниже опустила голову. Блохин огляделся, присел к столу и спросил, понизив голос:

— А где ваша мама?

— Она поросенка кормит.

Голос ее был тих и нежен, ответила она помедлив, словно не сразу поняла вопрос. Золотистые волосы ее слегка вились возле висков, завитки их спускались на лоб, и всю эту слабо сиявшую глянцевику массу волос прорезал чистый и ровный пробор.

«Сколько ей лет? — размышлял Блохин. — Восемнадцать? Девятнадцать?» Он смотрел на завитки волос, на пробор, на тонкую шею, жалел, что ему не двадцать лет, что он не красив, и ощущал в груди томительную печаль. Ему хотелось сидеть и без конца смотреть на нее. «Еще влюбишься здесь!» — подумал он вдруг невесело.

— Вы что же, работаете, учитесь? — снова спросил он.

Девушка подняла голову. Блохин увидел мелкие бледные веснушки на носу и лбу, очень маленький алый рот и чистые прозрачные глаза, и в глазах этих был свой, далекий ему мир, своя жизнь, незнакомая ему и недоступная сейчас для него.

— Работаю, — нежно и доверчиво сказала она. — Учетчицей. На том берегу... Поступала в институт, не приняли. Готовилась как сумасшедшая, и вот все зря...

— Скучаете теперь?

— Днем на работе хорошо. Вечером очень скучно. Все одна, одна... Я на улицу редко хожу, в кино только иногда. Мама не любит одна оставаться. Вышиваю вот... А хорошо, что вы у нас комнату сняли, я не люблю пустых комнат! Я боялась, вам не понравится здесь. Глухо... Что у нас может понравиться? — Она неприязненно оглядела кухню потемневшими глазами.

«Вы, вы мне понравились!» — захотелось сказать Блохину. Но он ничего не сказал.

— Вы были в Москве? — спросил он немного погодя.

Девушка, не поднимая глаз, покачала головой. Блохин заговорил о Москве. Он говорил о театрах, институтах, о стадионах, и в тоне его невольно все сильнее звучала хвастливая нотка. А девушка слушала, как слушают сказку: на щеках ее выступил слабый румянец, глаза блестели. Она отложила вышиванье, облокотилась на стол, не моргая смотрела Блохину в лицо. Его смущал и беспокоил этот пристальный взгляд, но недавняя удрученность его и скука бесследно исчезли, он был теперь почти счастлив.

Темный, занесенный снегом город со старинными пузатыми купеческими домами, чайная, лошади, сани, запах сена, навоза и снега, Дом культуры с нестройными звуками оркестра и людьми в париках, дорожные разговоры и мечты, пустынная широкая река, наконец, этот дом с недоброй хозяйкой и нежной, доверчивой дочерью — все это теперь казалось ему значительным, интересным и странным.

— Какой вы счастливый! — с откровенной завистью сказала девушка. — А я родилась в этой глуши, ходила в школу, а

теперь мне кажется, что я никогда ничего не знала и не жила совсем.

Она вдруг улыбнулась насмешливо и жалобно.

— Вы не знаете, как я мучилась летом... Когда автобиографию писала. Какая у меня автобиография? Три строчки... Родилась, училась, огород копала, стирала, летом по ягоды ходила — и все? Ничего в моей жизни нет. Смотрю кино или радио слушаю: там сделали что-то, кто-то подвиг совершил, кто-то на целину уехал, спортом занимаются, учатся, вечером огни горят, интересная жизнь, а у меня ничего. Вам кто сказал о нашем доме?

— Да тут один паренек привел меня. Из Дома культуры...

— А, знаю! Коля Балаев, да? Он вам ничего не говорил?

— Нет, ничего, — сказал Блохин и почувствовал вдруг, как что-то кольнуло его в сердце. — Ничего не говорил. А что?

— Он жил у нас. Это такой человек! Знаете, я стала заниматься в театральном кружке, ходили вместе, говорили, мечтали... А мама, — девушка вдруг покраснела, — мама выгнала его. Прямо взяла и выгнала. И на меня... Теперь мы уже не встречаемся.

— Вы любили его, да? — с усилием спросил Блохин.

— Нет... — ответила девушка, подумав. — Нет. Я не знаю еще, как чувствуешь любовь, но это... у нас не было этого.

— Вам наш город понравился? — спросила она спустя минуту.

— Станный какой-то. Дома купеческие, лошади, снег, темно... У нас в Москве нет этого.

— В Москве! — девушка вздохнула; глаза ее снова потемнели. — Наш город старый, восемьсот лет ему, и жизнь какая-то старая. Только и гордимся тем, что у нас какой-то великий князь умер. Велика гордость! И кино есть, и школы, и техникум, летом все на велосипедах катаются, а жизнь все равно глухая. Тут что ни дом, то купцы. Только капиталы у них отобрали, а так... все бородатые, вечерами сидят в чайной, чай пьют. На нашей улице все староверы живут, и мама у меня староверка, людей не любит... Здесь близко в одном до-

ме молельня есть, собираются, молятся, бормочут. И я бывала, только я не верю ничему. Назло не верю! В комсомол мама не позволила вступить. Сижу вот, вышиваю... А зачем это нужно, кому? Не знаю. Зачем я живу?

У нее показались на глазах слезы, она быстро отвернулась к стене. За окном послышался вдруг мерный и частый звук, который постепенно приближался. Было похоже на громкое тиканье будильника.

— Что это? — спросил Блохин.

— Это? — Девушка прерывисто вздохнула и посмотрела в темное окно. — Сторож... В колотушку стучит.

— В колотушку? — переспросил Блохин, с изумлением прислушиваясь: до сих пор он никогда не слышал колотушки. — Зачем же в колотушку?

— Не знаю, — неохотно отозвалась девушка. — Стучит... Стучит, а мне иногда кажется, будто это в голове у меня стучит.

«Так-ток-так-ток-так-ток», — раздавался унылый, теперь удаляющийся звук, а Блохин с удивлением, даже с некоторым страхом смотрел на сидящую перед ним девушку и думал, как тоскливо действительно жить в таком доме.

— Но как же это... — громко начал он. — Так же нельзя! Это же черт знает что за жизнь! Почему вы... Я понимаю, конечно, ваша мама... Но мама ваша — пожилой человек! Ее-то жизнь прошла, и у нее потом была совершенно другая жизнь, она родилась до революции, она привыкла так жить... Но вы! Поговорите же с ней, объясните ей! Ну, хотите, я с ней поговорю?

— Не надо, — умоляюще сказала девушка. — Прошу вас, не надо! Это ни к чему не приведет. Вы думаете, я не говорила ей? Сколько раз! Но я одна здесь, поддержать меня некому, и вот привыкла. Да и не я одна такая — сколько у нас таких, если бы вы знали! Привыкаем... Ведь мы — невесты, нас нужно беречь, чтобы как можно выгодней потом выдать замуж. А уж как тяжело другой раз, если бы вы знали! Вам мама говорила, что у нас профессора жили — я слышала. Врет она! Никто у нас не жил. Поживут неделю и уйдут, поживут и уйдут. А я сколько уж лет живу. Иногда разозлюсь, так бы вот и разбила этот проклятый дом с овцами да с поросятами!

— Так уходите отсюда, уходите! — взволнованно сказал Блохин.

— Уйти... Вы думаете, я не хотела? Да что толку... Куда пойдешь? Кому я нужна? Ни знаний, ни специальности, ни родных, никого в целом свете нет...

В коридоре слышались шаги, девушка сразу замолчала, прикусила губу. Пришла хозяйка. Она поставила ведро у двери, хмуро глянула на Блохина, на дочь, разделась и прошла к себе.

— Чай будете пить? — спросила она через минуту из комнаты.

— Нет, спасибо... — с усилием ответил Блохин. У него как-то странно сжималось сердце, от разговора в груди остался какой-то горький осадок, было почему-то неприятно и стыдно. Девушка не смотрела больше на него, торопливо продергивала нитки в вышивке, маленькие ее руки, загрубевшие от работы на холоде, дрожали. Блохин не мог видеть больше этих дрожащих рук, встал и пошел в свою комнату.

— Постойте! — испуганно сказала девушка.

Блохин обернулся. Прижимая к груди руки, девушка выбралась из-за стола, подошла к нему. Скулы и уши ее жарко горели, по глазам было видно, что ей тоже стыдно чего-то.

— Почему вы уходите? — тихо спросила она, глядя на Блохина так, что он начал пугаться. — Я вам рассказала про себя, потому что...

— Таня! — крикнула вдруг из своей комнаты хозяйка.

— Потому что я давно ни с кем...

— Таня! Иди сюда! Ты что там шепчешься, бесстыдница!

— Сейчас! — злобно и страдальчески откликнулась девушка и топнула ногой.

— Что? Ты слышишь, что я сказала? — слышались решительные шаги хозяйки. Девушка с мучительным стыдом посмотрела на Блохина.

— Мы с вами поговорим еще, хорошо? — шепнула она быстро, обдав его теплым детским дыханием, и ушла.

Блохин вошел в свою комнату, бесшумно прикрыл за собой дверь, прислушался, затаив дыхание. «Вот черт! — поду-

мал он, переводя дух. — Ну и жизнь! Что же это такое! Не верится даже, будто во сне!» Он постарался развлечься, думая о том, что завтра нужно будет приниматься за работу, и вообще о делах, но голова его горела, перед ним все стояло лицо девушки. «Ее Таней звать, — с состраданием думал он. — А мы так и не познакомились...»

Немного погодя, осторожно постучавшись, вошла хозяйка. Она потрогала печку, поправила скатерть на столе, потом присела, стала жаловаться на жизнь, на вдовство, на то, что в магазинах почти не бывает сахара. Слова были мелкие, нудные, голос неприятный.

Блохин страдал, хмурился и молчал. Потом она стала спрашивать Блохина о семье, о занятиях...

— Так вы в Москве, значит, живете?

— В Москве.

— Квартира большая у вас?

— Маленькая. Одна комната.

— Так... Одна, значит. Тоже не сладко живете. Женатые?

— Нет еще.

— Зарабатывать-то много собираетесь?

— Не знаю.

— Как же это? Как же не знаете?

— Ну... рублей восемьсот-девятьсот.

— Восемьсот. Так... — В глазах хозяйки мелькнуло что-то, на лице показалось едва уловимое презрение, она моргнула, прекратила расспросы и неслышно ушла.

Блохин быстро разделся, потушил свет и лег. Ему не спалось, он ворочался на жесткой холодной кровати, вставал, садился у темного окна, курил.

За стеной слышался шепот, всхлипывания... Поскрипывали половицы, что-то стучалось об пол, кто-то выходил на кухню, звякал кружкой, пил воду. А на улице через равные промежутки возникал унылый звук колотушки, приближался и опять слабел.

Когда Блохин заснул, ему приснилось, что вокруг дома ходит кто-то страшный, постукивает палочкой по стенам и пытается залезть внутрь. Но на дверях и окнах — всюду огромные запоры, и проникнуть в дом невозможно.

На следующий день Блохин проснулся с головной болью. Комната за ночь выстыла, одеяло было тонкое, не грело, и у Блохина замерзли ноги. Матрац тоже был тонкий, сквозь него чувствовались доски, бока у Блохина болели. На окнах намерзла наледь. В доме было тихо.

Одевшись, Блохин вышел на кухню. Тошнотворно пахло вареной картофельной шелухой. Воды в умывальнике не было, самовар стоял холодный. Блохин пошел в коридор, потрогал одну дверь: заперто. Он подергал другую — тоже было заперто. Третья дверь открылась, Блохин заглянул в сарай и увидел хозяйку. Она почесывала за ушами поросенка, на лице ее тлела слабая улыбка. Поросенок по самые уши залез в ведро, двигал его, чавкал, вертел хвостиком.

Увидев Блохина, хозяйка нахмурилась, прошла за ним на кухню. Она была в грубых грязных сапогах, в телогрейке и темном старушечьем платке. От одежды и рук ее пахло навозом.

— А я воду-то не нанималась вам носить, — сказала она. — И потом подумала я тут, рассчитала... Надо с вас двести пятьдесят брать за комнату.

— Это почему же? — удивился Блохин.

— То есть как же почему? Белье постельное нужно стирать, воду носить вам, потом отапливать... Как же почему? Потом свет вы жгете, лампа большая, сто свечей, сколько мне это платить? У меня не кузница, денег я не кую. Потом я бы попросила вас на улицу выходить курить, вы курите много, голова у меня разбалывается.

— Чаю вы мне разогреете? — спросил Блохин и покраснел.

— С чего же это я угли жечь буду? Они-то небось деньги стоят. Вставать надо раньше, а то спите развалясь, а вам десять раз самовар грей. А я вдова, мне взять неоткуда, мне никто не поможет. Я уж жалею, что и комнату вам сдала, — уж больно вы жилец беспокойный, Бог с вами...

Блохин молча повернулся, пошел к себе в комнату, стал укладывать вещи в чемодан. Тихо вошла хозяйка, долго смотрела на него, потом спросила:

— Что же, съезжаете с квартиры, значит?

Блохин молчал, только крепче сжимал зубы.

— Да ведь я вас и не держу. Вы мне не сгрозите, я на свою площадь жильцов всегда найду, деньги только заплатите за ночлег, скатертью дорожка. У меня профессор жил, благодарен остался да еще сверх платы прибавил... Инженера тоже жили, покультурней иных-прочих.

— Ну вот что. — Блохин закрыл чемодан, надел пальто. — Вот что: разговаривать с вами я не хочу. Ночевал я у вас одну ночь. Сколько с меня? Рублей семь, наверно? Или восемь?

— Это почему же семь? — побледнела хозяйка. — Почему же семь? На квартиру стали-то вы вчера? Значит, за два дня. Да еще из-за вас мне простыни стирать надо... Семь рублей? Да наволочку... Двадцать пять рублей с вас!

Блохин вынул десять рублей.

— Берите, — сказал он, усмехаясь.

— Это что же? — Хозяйка поджала рот. — Да подавитесь вы моей добротой, не надо мне ваших денег, оставьте себе, разживетесь от меня, от вдовы...

— Как хотите, — сказал Блохин, засовывая деньги в бумажник и искоса поглядывая на хозяйку.

Мгновенно вытянулась сухая темная рука с грязными ногтями, схватила деньги, сжала их в кулаке.

— А вы и рады? Эх, а еще образованный! Что это вы вчера дочери моей говорили? Дурочку нашли? С матерью разлучить хотите?

— Дочь? — закричал вдруг Блохин. — Не дочь она вам!

— Культурного из себя представляет, институт кончает! — не слушая его, кричала хозяйка, все больше бледнея. — Не стыдно вам, глаза ваши не лопнут на свет белый глядеть! В чужом дому свои порядки заводите? Свой займите раньше! Голь беспортошная, прости, Царица Небесная! Опоганил ты мой дом, нехристь проклятый, иди отседа, иди, иди-и!..

Блохин быстро вышел в коридор и на крыльцо. Снег на крыльце гулко заскрипел под ногами, запахло морозом и свежестью, в глаза ударил необыкновенный свет солнечного февральского дня, а на душе стало гадко и тяжело, будто поймали его на чем-то нехорошем.

Дома на улице, крошечные, утонувшие в снегу баньки казались от солнца веселыми, блестели стеклами, бросали на дорогу резкие голубые тени. На блестящей, накатанной санями дороге видны были янтарные навозные пятна и ходили вороны, а выше, на крутом обрыве со снежными напльвами, каким-то чудом держались редкие ели с сизыми стволами...

Но Блохин не видел ничего этого, вся красота яркого зимнего дня была не для него. Задыхаясь, он карабкался вверх по крутой обледенелой тропе, падал, оставляя после себя вмятины на снегу от чемодана.

Сверху Блохин посмотрел вниз, на дом, в котором провел ночь, на широкую ослепительно-белую реку. «Где же теперь увидеть Таню? Как ее встретить? Расскажу Балаеву, — решил он наконец, — тот поможет. Надо же что-то делать!» Сердце его бурно билось от стыда, от ярости, от любви к нежной, робкой девушке. Внезапно он вспомнил о том, зачем приехал в этот город, о практике, — злость и горечь охватили его. «Что практика! — с раздражением подумал он. — Сидеть в библиотеке, составлять каталоги, рекомендательные списки, вести учет читателей... А тут рядом человек пропадает, рядом целая улица староверов! И они тоже, наверное, читатели! Практика! Вот где практика нужна, в этих домах!»

Он еще раз с ненавистью посмотрел вниз, отвернулся и пошел к гостинице. Больше он не оборачивался, но если бы и оглянулся, то не увидел бы ничего: дом скрылся под кручей.

Поморка



1

В сентябре на Белом море темнеет рано, сумерки короткие, а ночи аспидно-черны и холодны. Вырвется иногда перед закатом солнце из облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег, желто отразится в окошках высоких изб и тут же побагровеет, сплющится, уйдет в воду.

Тускло светится темно-красная полоска зари, слабо и зыбко сияет высокое холодное небо, а земля, избы в деревне, косогоры с поскотинами, словно щетиной поросшие по краям мелким низким лесом, — все погружается в темноту, только долго еще светятся в ответ заре свежоошкуренные бревна возле правления, и маслянисто блестит, хрустит под ногами щепы.

Вспыхнут на берегу моря, возле самой воды, несколько маленьких костров: сидят на корточках мальчишки, пекут себе картошку. Потом загорятся огни в окнах... Но скоро погаснет все — и костры, и окна, — и деревня погрузится в долгий осенний сон.

А в полночь вдруг станет светло, прынут в зенит длинные дрожавшие столбы, молча и страшно задвигаются, меня бледные краски, отражаясь в море. Потом погаснут так же внезапно, как и возникли, и опять темнота сомкнется над землей и будет держаться упорно, долго, до неохотного рассвета следующего слепого дня.

Днем в деревне пусто. Ребята в школе, рыбаков нет — кто сидит на тоне, кто далеко в море на лове трески, кто в поле... Оживает деревня только по праздникам да если какая-нибудь бригада привезет богатый улов сельди или семги. В этот вечер потрескивает, сипит радио на столбе возле

клуба, горят по улицам редкие фонари, однообразно вякает аккордеон, перебираемый непослушной рукой, слышен смех девок, запоет кто-нибудь песню...

Но пройдет день-два, и опять опустеет деревня. И так будет до самой глубокой осени, когда начнут возвращаться рыбаки с тоней, придут мотоботы с глубьевого лова, когда кончатся наконец все полевые работы.

Тогда избы вновь наполнятся запахами соленой трески и пикши, водки и браги по праздникам, махорочным дымом, крепким мужицким говором, стуком сапог. Станет весело! Жарко будут топиться печи по утрам, вкусно запахнет ржаным хлебом из пекарни, дым будет высоко подниматься в бледное небо над седыми от изморози крышами. Хватят по ночам крепкие заморозки, начнет замерзать и звонко ломаться у берегов море, а из скотных дворов хорошо, уютно будет тянуть теплым навозом.

В клубе начнут чуть не ежедневно крутить кино, допоздна станет бубнить на задах дизель электростанции, без конца будет заседать правление, и разговоров про рыбу, про план, про погоду, про заработки и трудовни хватит надолго, чуть ли не до февраля, когда снова опустеет деревня: кто уйдет на ледоколе на зверобойный промысел, кто – в Унскую губу на зимний лов наваги.

2

Пусто и в избе, где я живу.

Высокая, огромная, в две связи, со множеством комнат и чуланов, строенная на большую семью, наверное, еще в прошлом веке, – она тиха и гулка.

По ночам в ней тихо трещат стены. Днем она поражает чистотой. До блеска вымытые окна загораживают цветы тоже с блестящими протертыми листьями. Белые полы пахнут мылом и березовым веником. По полам от дверей раскинуты старые сети. От сетей в избе стоит слабый пряный запах моря, водорослей. На почетных грамотах, фотографиях, настенных зеркалах – всюду висят чистые, голубые от синьки, расшитые полотенца. Столы и сундуки покрыты суровыми хрустящими скатертями с мережкой.

И в тишине живет, всю эту чистоту и старинный порядок блюдет один человек — девяностолетняя старуха Марфа.

Как она стара! Странно и жутко порой глядеть мне на нее — такое древнее и темное у нее лицо, такие тусклые, выцветшие глаза, так неподвижно сидит она в редкие минуты отдыха. Уж никогда-никогда не выпрямить этот согнутый стан и ставшую круглой уже спину, не истончить громадные набрякшие ноги, не согреть холодные руки.

Неужели была она когда-то горяча и хороша, неужели в этом теле билось когда-то иное сердце? Нет, нет, нельзя поверить, нельзя вообразить ее иной, чем сейчас!

А все-таки была она молодой и, по словам стариков, помнящих ее, еще какой красавицей была! С каким самозабвением плясала она на праздниках, как пылали тогда ее щеки, как горели и сияли глаза, каким туго налитым, стройным и сильным было ее тело!

Как любила она своего Ванюшу — кряжистого, с выпуклой грудью, с мелкими белыми зубами, жесткими черными усами и жестким же черно-смоляным чубом парня, — как обмирала, пылала и дрожала, когда видела его, идущего по улице в розовой рубахе, в вонючих высоких сапогах, с каким радостным страхом кидалась опретью на зады, видя, что он сворачивает к ее дому.

У, как была она красива тогда и как любила петь, какие дивные старинные песни знала, какой заунывно-звонящий голос был у нее! И как талантлива, яростно-неумна была она на любую, даже самую тяжелую, грязную работу!

Так что же иссушило, состарило ее, сделало холодными руки и утишило сердце? Уж не белые ли призрачные, завораживающие ночи, не страшное ли ночное солнце выпило ее кровь? Или, наоборот, длинные зимние вечера, которые проводила она за прялкой при багровом дымном свете лучины?

О чем думала она, о чем мечтала в эти вечера, когда свистел и гудел ветер, гнал колючий сухой снег, задувал в окна, выл в печной трубе, когда гулко и грозно ломало прибрежный лед и страшно было выйти на двор, в черноту полярной ночи?

А как вопила она, как билась и причитала, провожая и обряжая в смертную дорогу отца и мать, братьев и сестер, а потом и мужа и детей, наглядываясь каждый раз на них и не в силах наглядеться. Как бежала она к морю, как кидалась в волны, как хотелось ей в те минуты тоже навеки остаться на песчаном кладбище, среди редких низкорослых сосен!

Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро я уеду и никогда, быть может, не увижу больше ни моря, ни этих высоких черных осенью изб, ни этой древней поморки. Отчего же так таинственно близка и важна мне ее жизнь, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю ее? А она не любит рассказывать, отвечает всегда кратко, общими словами:

— Как жила-то? Да всяко...

— А как же?

— Дак я и говорю — всяко...

Говорит она как-то бегло, не пристально, невнятно, рассеянно оглядываясь или думая о чем-то своем, далеко, сокрытом от меня. Но вдруг вспоминает о внуках-моряхах, оживляется, приносит открытки, которые месяцами шли в эту глухую деревню и которые кажутся почти сказочными в этой северной стороне. Она разворачивает чистый платок, и они рассыпаются по столу — лаковые, нежно-яркие, со штемпелями Бомбея, Рангуна, Сан-Франциско, Коломбо...

Я читаю их вслух, Марфа слушает, опутив темное лицо, на котором тлеет слабая улыбка. Долго потом перебирает она их, щупает корявыми пальцами гладкий картон, всматривается в картинки, наконец заворачивает, уносит, прячет в сундук и снова ходит по избе, все что-нибудь делает...

Встает она затемно. Простоволосая, наскоро молится, тяжело и трудно со сна кланяясь в темный угол, где между почетных грамот висит черная раскольничья икона в тусклом серебряном окладе. Потом повязывает платок, выходит в сени, начинает ходить по избе, по всем ее комнатам, чуланам и клетям, лазит на чердак, в поветь, выходит на огород.

Чего только не переделает она за день!

Доит и гонит на улицу корову, шумит сепаратором, кормит кур, лезет на поветь за яйцами, косит и рубит потом на крыльце кроваво-ржавым косарем траву и картофельную

ботву поросенку; копает картошку на огороде, сушит, когда светит солнце, и ссыпает в подпол; топит печь, варит обед, кипятит самовар, идет к морю с корзиной, собирает сиреневые пучки водорослей, которые покупает у нее агаровый завод; привозят ей сено, и она, надрываясь, таскает его наверх, в поветь по «съезду», а по субботам топит баню, натаскивая туда до двадцати ведер воды, стирает, штопает, гладит, метет и моет полы, сени, крыльцо и даже деревянные мостки возле избы; чуть не каждый день ходит она на скотный двор помогать телятницам и зарабатывать себе трудодни; на ближней тоне, в десяти километрах от деревни, живет ее младший сын, хмурый вдовец, уже седой и часто похварывающий, и Марфа раз в неделю, переделавши с утра множество работы, идет туда, несет папирос, масла, хлеба и сахару, приходит на тону часа через три и, не отдохнув, начинает и там мыть и стирать, штопать и даже чинить порванные сети — на тоне этой живут одни мужики, и Марфа не может не справиться своей бабской, как она говорит, работы.

3

Последнее время она стала плохо спать. Какая-то торжественная перемена происходит у нее глубоко в душе. И эту перемену она воспринимает как знак, как предзнаменование скорой смерти. Все чаще снятся ей муж, отец, мать, умершие дети... И я вижу, как лазит она в сундук, разглядывает свое смертное: чистую рубаху, уже пожелтевшую и пропахшую деревом сундука, просторный белый саван, платье, расшитое покрывало, ленты холстины, темные чулки и тапки. Она рассматривает, перекладывает, расправляет все это — чуждое и страшное человеку — с такой же споростью и пристальностью, как и всякую другую необходимую в хозяйстве вещь.

— Не тогда плясать, когда гроб станут тесать, — с удовольствием говорит она.

Умирать ей не страшно. Она непоколебимо убеждена в справедливости жизни, в справедливости и необходимости прихода смерти.

— Могилка-то давно меня ждет, — ласково, как о чем-то очень приятном, говорит она, глядя поверх меня тусклыми

глазами. — Там и батюшка, и матушка мои повалены лежат... И сыны там, все там. Небось по мне соскучились. А я, слава тебе, Царица Небесная, пожила.

Ночью, когда на море разыгрывается шторм, ревет внизу совсем близко прибой и рев этот отдается по всей избе, так что вздрагивают потолки и стены, Марфа молится, стоя на коленях в углу. Молится она не за себя — за тех, кто на рыбных промыслах в Баренце.

— Пошли, Господи, им поветерь, — шепчет она и кланяется, стучаясь лбом о пол. — Не погуби, Господи, сохрани их, Николушка!

Странно мне слушать это — будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь, с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то и хлеб, и другую, новую жизнь, будто это они молятся — не за себя, за мир, за Русь — неведомому Богу старозаветному, доброму Николе-угоднику.

— Пошли им погодушку, небушко чистое, водицу светлую, — шелестит во тьме девяностолетний голос.

Потом она ложится и лежит неподвижно, глядя в темноту. Тошно ей, тяжело, давят ее годы — детство, молодость, такие далекие, такие неясные уже и все-таки прекрасные, как белая ночь, вся в солнце незакатном, и старость — как один темный осенний вечер.

Лежит Марфа, вспоминает свою жизнь, и представляется ей, будто она, молодая девка, поет песню, слышит со стороны свой чистый печальный голос:

Ах ты, моя матушка,
Твой сынок да разнесчастный
Далеко на море побежа-ал...

Но эти радостные и грустные мысли скоро уходят, уступая место другим, привычным мыслям и заботам. И она уже думает, как бы дожить до Михайлова дня, когда все начнут собираться домой, что корова уже стара, плохо и мало доится, и не забыть сказать, чтобы купили новую, что надо гонять

овец за коргу — там много морской капусты давеча накидало, что надо жать ячмень на огороде да вешать сушить...

Засыпает она не скоро и не сразу, вздрагивая несколько раз. Во сне редко и слабо дышит, просыпается, переключивает млеющие руки, и опять спит и не спит, все слышит и понимает, но и сны видит — смутные, давно знакомые...

Все чаще бушует море, и все чаще выходит Марфа к вечеру на берег, стоит неподвижно возле наискось заделанных палок плетня, твердо чернея на бледно-желтом фоне зари. Смотрит на грязно-вздохмаченное море, на без конца бегущие и ревушие на отмели взводни с белыми гривами — знакомая картина!

Резко и горько пахнет холодной картофельной ботвой, водорослями, резко, несмотря на гул моря, слышны женские голоса, шаги по деревянным мосткам, какой-то особенный в этой деревне, басовитый и короткий крик коз.

По улице, по деревянным мосткам, крепко стуча сапогами, идет сосед-рыбак — крутоплечий, крепкий, счастливый своей крепостью. Подходит поздороваться, зовет вечером в кино, дымит сигаретой и густо кашляет, наливаясь кровью. Потом замечает Марфу, делает серьезное лицо и грубо-восхищенно говорит:

— Ах ты! Опять выползла... Своих ждет. Хорошая старуха-то, святая, одно слово — поморка! Хошь, выпьем за нее?

Он сильно затягивается, прищуривая правый глаз, обжигая губы, бросает окурок, втаптывает его каблуком в песок, жидко сплевывает и идет берегом на рыбоприемный пункт, потирая красную шею, ширкая друг о друга отвороченными голенищами высоких сапог. Проходя мимо Марфы, он сдергивает кепку и почтительно кланяется ей.

Ветер холодеет, небо темнеет, заря окрашивается в винный цвет, воздух делается прозрачней, смугло румянеют избы наверху, а на востоке загораются редкие бледные звезды. Скоро совсем смеркнется, а Марфа все будет стоять, положив старчески-сизые руки на плетень, и смотреть на море, пока не погаснет последний мглистый отблеск зари.

Манька



Посвящается К. Г. Паустовскому

1

От Вазинцев до Золотицы — тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, даже грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло — блуди потом по лесу!

Манька — сирота.

— Батюшка в шторм потонул, — говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком, — а матушка на другой год руки на себя наложила. Порато тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболочлась, одежду узелком на льду сложила и пала в воду...

И, покраснев, невнятно договаривает:

— У меня матушка дикая была...

Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дрему чать, затаенность чувствуются в ее молчании и неопределенной улыбке, в опущенных, зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели — пугались.

Года два уже работает Манька письмоноском. В свои семнадцать лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно

не чиненную крышу повети глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая — ходит Манька легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо и еще зеленей, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ей ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают на спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

— Ну как, девка? — кричит тенором начальник почты. — Дойдешь ли? Может, за лошадью послать?

— Ничего... — сипло отвечает Манька, розовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях! Какое оживление, веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции, и как любят рыбаки Маньку в такие дни!

— А ну, девка! — кричат ей. — Скидывай пестерь-то, поспеешь еще дак... Садись с нами уху хлебать! Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает Маньке.

— Семужки, семужки ей поболее! — покрикивают с разных сторон. И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут плеч лямки пестеря, чего только не насмотришься в дороге, о чем

не надумаешься! В три рыбачьих тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожидания: вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в Вазинцы.

2

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый — Перфилий Волокитин.

Черноволосый, стриженный, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, но вдруг загулял с Ленкой — самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, — решил остаться и попросился на Воронью рыбаком.

Принес он на тоню гармонь, часто играл, бездумно глядя в море, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски чуток, расторопен, охотно брался за самую тяжелую работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в деревню, в клуб, возвращаясь каждый раз на рассвете.

Был он еще силен и буен, ловок, неутомим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька, встречаясь с ним в клубе, отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать — подолгу думала о Перфилии, вспоминала его лицо и голос, его слова и смех, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе окнами на море и все у них есть, а заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице, в душевной, натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Ярок, необычен и стыден был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскину-

лась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме коло-
тящегося сердца.

Всхрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тле-
ла за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась,
всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Пер-
филия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, дет-
скому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли,
что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рас-
свете, сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез
лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, бо-
ялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздра-
гивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос,
сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, по-
немногу прибавляла шаг, чуть не бежала, забиралась
в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко пла-
кала от радости, от любви, от одиночества и непонятости.
Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улы-
балась, разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжима-
лась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-
зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаячки,
чаячки... Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась
ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно
ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее вопли, и
приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие ве-
щие слова: «Стану я, раба Божия Манька, благословясь, пой-
ду перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота, вы-
йду я в чисто поле... Так бы и он скрипел, и болел, и в огне
горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!»
Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладо-
ни, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым
был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным, шелковистым, едва замет-
но поднималось и опадало, будто дышало. Небо затягивало
легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, свети-
ло мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, па-

дали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

3

Однажды, уже в сентябре, Манька, еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настороженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупо, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попало в ловушки много семги, сегодня в Вазинцах был престольный праздник, — стосковавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас и все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий, вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить, потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип, он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок, выпевал похабные частушки...

И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что бы ни делал — делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он нашел ее в толпе, крепко схватил за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

— Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

— Дома я всегда насажусь, — бойко, равнодушно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

— Не хочешь, значит? — с угрозой и бессилием просил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки. — Другого нашла? Из морячков, да? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

— Пусти! — шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко-красивое лицо и как нагло, вызывающе покачивает она на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пуговицы, расстегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери, захватив с собой бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне.

Он вошел, разгоряченный злобной греблей, зажег лампы, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревне, закурил и долго остекленелыми глазами смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тускло-багровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычайной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнувшую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

— А! Пришла... — сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. — Письма есть?

— Нету... — Манька опустила на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

— Нету! А чего принесла?

— Газеты. — Манька кашлянула и облизала губы.

— Газеты! — Перфилий мрачно посмотрел в окно. — Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, суки, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съежившуюся фигуру Маньки.

— Чего это ты сегодня какая-то... — невнятно спросил он и, закинув голову, раздвывая горло, стал пить.

— Какая? Никакая... — прошептала Манька, краснея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на коленях.

— Все одна живешь?

— Одна...

— Скучно одной-то, — без выражения сказал Перфилий, глядя в окно.

— Живу... — Манька слабо двинула рукой, кашлянула, встала, подошла к ведру и тоже стала пить, наслаждаясь от мысли, что пьет из той же кружки, из которой только что пил Перфилий.

— Идти мне надо, — шипло сказала она, снова садясь и поднимая на Перфилия испуганный взгляд. Но Перфилий не слышал ее — смотрел в окно и молчал.

— Шторм идет! — сказал он глухо. — Метеористы чертovsky! Три балла сегодня по метеосводке...

Манька тоже взглянула в окно. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась черно-лиловая полоса.

— Шторм идет, а они гулять поехали! — горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленку, пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые штаны и куртку.

— Куда ты? — спросила Манька, обмирая. — Куда ты, ай утонуть хочешь?

— Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! — пробормотал Перфилий и вышел вон. Манька, приоткрыв рот, прислушалась к ветру, потом глянула в окно на полосу, которая значительно расширилась за эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перфилием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возился у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

— Ну? — Перфилий недовольно повернулся к ней и, не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по каткам к воде.

— Я с тобой, — сказала Манька и тоже уперлась плечом в карбас.

— Еще чего! Детский сад! — заорал Перфилий, когда карбас уже прыгал и бился по песку. — Пошла в избу!

— Не пойду! — Манька вцепилась белыми пальцами в борт. — Чего я, моря не видала?

— Ну так прыгай! — весело вдруг и с какой-то отчаянностью закричал Перфилий и оскалился. — Лезь!

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта на борт, пробралась на корму. Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, по пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгребала, слизывая с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! — думала она. — Ой, потонем мы, ой, ветер порато дует!» И влюбленно глядела в закинутое, решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подшли к первой ловушке и с ходу, спеша, боясь даже глядеть на приближающуюся черную полосу, стали вытаскивать колья и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. У нее скоро заломило руки и ноги, платье намокло, задралось, оголились пятнистые от холода крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но она уже не могла выбрать минуту оправить платье. А Перфилий и не смотрел на нее, колья были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились все выше, надо было спешить.

Минут через пятнадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел. Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом к берегу, подгребала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

— Стой! — дико заорал Перфилий. — На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдаль не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одни гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались руки...

И опять цеплялся Перфилий за кольца, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас и, когда поднимался, задира нос, заваливаясь набок — голова и руки Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видела тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выдранный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивая сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, металась брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доноситься сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти вертикально, падая в то же время набок, перевернулся, и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стучалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в ногах, тащила за собой. «Господи! — гудело у нее в голове. — Мамочка, ой, пропала я совсем, ой, пропала!»

Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейку, прислонила лицо ко дну, — тут еще оставалось немного пахнущего рыбой воздуха, — и завывла. И опять, скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз, Манька захлебнулась, давясь, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, — а ее все так же боль-

но, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплевываясь, заголя напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

— Чего под карбасом болтаешься, дура! — счастливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. — Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, задыхаясь от влажного соленого ветра, от водяной пыли, одной рукой вцепилась в киль, другой — обняла Перфилия за шею и замерла, заочеченела.

— Ничего! — весело, надсадно орал Перфилий, ерзая сапогами по днищу карбаса. — Живем! Кто у моря не жывал, тот и горя не видал!

А море ревели, будто громадный буйный зверь, и, будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревущем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипящей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег.

Внезапно все стихло, слышно стало шипенье скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий, как от поезда, гул. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них зловещая, закрученная, поплескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, гулко хряпнула о песок, и последнее, что помнила Манька, — это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, вывертывая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимал ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула его и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

— Никак жива! — обрадовался Перфилий. — Погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат, ухватил ловушку и, наклоняясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

— Ну что ты! — притворно-укоризненно и бодро сказал Перфилий. — Ничего, ничего... А ну, берись за шею — понесу! — крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь, как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом. Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, чувствовал ее худые лопатки, ширкал голенищами сапог, все больше оживляясь, посматривая на море, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, надсадно орал, напрягался и с ужасом глядел на волны.

4

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожащие, в ссадинах руки.

— Скоро ль, что ль! — закричал он через минуту.

— Ой! Сейчас! — испуганно отозвалась Манька и заторопилась, с усилием стаскивая прилипшее к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухшую грудь, тяжело вздохнула.

— Ну? — опять крикнул Перфилий из сеней.

— Иди! — смущенно разрешила Манька, торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила на ветру.

— Ну-ка! — встретил ее Перфилий. — Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

— Выпьем! — сказал он жарко, глядя ей в лицо. — Пей, пей! Подыдем стаканы, содвинем их сразу... Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задыхнулась, затрясла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она только одного: чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий.

И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем, он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, сиплого голоса. Грозно, гулко шумело за стеной море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

— Тебе лет-то сколько? — быстро спросил он изменившимся голосом.

— Идти мне надо... — слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

— Лет-то сколько тебе? — опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Девятнадцать... — соврала, прошептала Манька, отвернулась и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей — сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! — подумалось ей. — Ай, он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» — и дико взглянула в лицо Перфилию.

— Эх! — вскрикнул он в нарочитом отчаянии и, легко притворившись тоже диким, придвинулся по лавке к ней,

схватил, запрокинул ей лицо и, перекосив глаза, жадно и долго поцеловал ее, бесстыдно шаря свободной рукой по ее щуплому телу. Манька обомлела, помертвела...

— Чегой-то ты! — вырвалась она. — Проклятый! Да ты чегой-то!

— Сердце у меня слабое... — смущенно забормотал Перфилий, поднимаясь и двигаясь к ней.

— Дурак! — чуть не плача, хрипло закричала Манька. — Своих лахудров целуй... А меня не трожь! Я... я тебе не кто-нибудь!

— Маня! Манюша... — уже растерянно, покаянно просил Перфилий. — погоди ты, я ж к тебе по-хорошему!..

— Я тебе не какая-нибудь! Ленку свою целуй, ступай к ней. А я еще неце... нецелованная! — с усилием выговаривала Манька, вся трясясь, и вдруг отвернулась, прерывисто дыша, расстегнула куртку, бросила на пол. — Уйди, проклятый! — сказала она низко. — Мне почту... Почту надо...

Она переделалась, уже не боясь, что войдет Перфилий, дрожа от ярости и какого-то сладкого, мстительного чувства, взяла сумку и, низко наклонив голову, не простясь с топтавшимся в сених и курившим Перфилием, пошла.

Она отошла уже порядочно, когда, простоволосый, в опорках на босу ногу, догнал ее Перфилий.

— Вот тут у меня было... — забормотал он, суя в сумку ей шоколадные конфеты. — Это тебе на дорогу. Не обижайся, Маня... Простишь, а? А с Ленкой у меня все! — отчаянно и грустно сказал он. — Стерва она, гуляет...

— Уйди! — сказала Манька, глядя в сторону. — Отстань!

— В субботу в клуб придешь? — спросил Перфилий, быстро шагая рядом.

— Почта у меня, — по-прежнему глядя в сторону, сказала Манька.

— Ну в воскресенье! — не сдавался Перфилий. — Мне тебе что-то сказать надо... приходи, Маня, а?

— Не знаю, — помолчав, невнятно сказала Манька и ускорила шаг. Перфилий отстал.

«Как же! Так и приду, жди! — думала Манька, низко наклонив голову, слушая приглушенный расстоянием шум мо-

ря. — Дуру какую нашел... Чего я пойду! С конфетами... подлизывается!» Она запустила руку в сумку, нащупала конфеты, сжала, но не бросила почему-то, как сперва хотела, так и шла, сжимая конфеты в руке.

На повороте она оглянулась, будто кто-то толкнул ее в спину: Перфилий стоял на дорожке, на том месте, где отстал, и смотрел ей вслед. Увидев, что Манька обернулась, он поднял руку, и Манька сейчас же заторопилась, заспешила, еле удерживаясь, чтобы не побежать. А пройдя с полверсты, она присела, настороженно осмотрелась, свернула в кусты, в золотисто-желтые березки, в мох и легла там, лицом на сумку. «Ах, да что же это приключилось... Как же я теперь письма им буду носить!» — думалось ей.

Лицо ее горело, голова кружилась от свежего, чистого, рыбацкого запаха Перфилия. Видела она близко его темные, шальные, перекошенные глаза, замирала, вновь переживая весь ужас, всю радость, весь стыд сегодняшнего дня. И уже весело, мстительно, томительно-уверенно звучали в ней все те же дикие и вещиные слова: «Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни есть!»

На острове



1

Рейсовый пароход, на котором приехал ревизор Забавин, низко, вибрирующе загудел и, разворачиваясь, заваливаясь на правый бок, пошел дальше к глухим северным становищам. А Забавин даже не оглянулся на него: так надоели ему за трое суток этот грязно-белый пароход, грохот лебедок на стоянках, гул моторов, коротконогий капитан, старший помощник с наглым развратным лицом, грубые официантки.

Чем больше ездил Забавин по Северу, тем привычнее и скучнее ему становилось. Давно перестал он замечать красоту мрачных скал, красоту моря и северной природы, хотя когда-то очень все это любил.

И теперь, в карбасе, раздраженный, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания острова, похожего на сгорбившегося, уткнувшегося в воду зверя, ни на темно-зеленые камни под водой, ни на веселые разговоры вокруг, а хотел только скорее очутиться на берегу, в теплой комнате.

Когда карбас, пробравшись возле многочисленных катеров, моторок и ботов, пристал к деревянному пирсу, Забавин первый выбрался на берег и потопал ногами, с наслаждением чувствуя твердую землю.

На пирсе было тесно от громадных тюков высушенных сиреневых и бурых водорослей, от бочек с цементом, труб, рельсов, пачками ржавеющих возле стен низкого склада. Пахло очень сильно и дурманяще водорослями и послабее — рыбой, канатами, нефтью, досками, сеном, морем — вообще всем тем, чем пахнут обычно морские пристани.

Забавин вяло пошел по утрамбованному шлаку мимо цехов с глухо работающими машинами, мимо котельной, от которой в холодном утреннем воздухе тянуло теплом.

Кругом была унылая земля, покрытая белесым ягелем, с выпирающими там и сям буграми серого камня. Лошади и коровы одиноко бродили по ягелю, были худы, и на них, заброшенных на этот дикий остров и совершенно лишним, ненужных ему, жалко было смотреть.

Забавин поморщился, вздохнул, спросил у рабочих контору, ему показали, и он пошел прямо туда, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать — последнюю ночь на пароходе он почти не спал.

Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. А проснувшись, побрился, смочил голову одеколоном и тщательно, до блеска причесался. Потом напился из тонкого стакана горячего крепкого чая своей заварки и с удовольствием выкурил сигарету. Наконец, достав папку с документами, завязав галстук, радуясь тому, что он хорош, опрятен и чист, что он избавился на эти дни от противного запаха соленой трески, который осточертел ему на пароходе, бодрый и свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, он пошел в контору, чтобы уже по-настоящему заняться тем, из-за чего он приехал сюда.

Весь этот день и два следующих Забавин провел в сухой работе, проверяя документы, которые в толстых папках носили ему в кабинет, осматривая чаны с агаровым студнем, дробилки, склады и лаборатории.

Все это время он был холоден и деловит, тогда как директор, радуясь свежему человеку, суетился, болтал, жадно расспрашивал Забавина об Архангельске. В ермолке, с выпученными глазами в вывороченных веках, с глубокими складками на сизых склеротических щеках, он всюду сопровождал Забавина, колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами и мучаясь одышкой. Рядом с огромным директором Забавин — худощавый, черноволосый, в узких брюках — казался подростком и, чувствуя на себе взгляды молодых работников, делался все холоднее и деловитее.

2

Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошел на метеостанцию, на которой,

ему сказали, была рация. Он отыскал ее без труда по высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы.

Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил, тогда он отворил дверь и вошел в дом. В комнате, в которую он попал, было еще три или четыре двери. Одна из них вдруг распахнулась, и выглянул паренек-радист. Он был с тонкой шеей, большими розовыми ушами и с прической на лоб. Увидев Забавина, он сделал подозрительное лицо.

— Вы кто будете? — спросил он, стараясь говорить строже. И, не дослушав Забавина, выговорил, торопясь и хмурясь, что начальника метеостанции сейчас нет, что без нее он ничего не принимает для передач и что радиосвязь с Архангельском будет только вечером.

Забавин сказал, что зайдет вечером, и вышел на крыльцо, чувствуя за спиной недоверчиво-испуганный взгляд радиста. Погода была хороша, и Забавин решил побродить по острову.

Он поднялся к белой башне маяка и, оглядевшись, заметил впервые, как красиво море, как горит оно и туманится под солнцем. Возле маяка он набрел на деревянную заколоченную часовенку, а немного пониже заметил старое кладбище. Он пошел туда, вздыхая, стал бродить между осевшими могильными холмиками и вросшими в землю темными плитами.

На одной плите Забавин с трудом разобрал: «Под сим камнем покоится прах р. б. Смоленской губернии города Белой подпоручика и смотрителя маяка Василия Иванова Прудникова. Жизни его без перерыва было пятьдесят шесть лет. Преставился после путешествия на Соловец монастырь 1858 года Сентября 6-го дня. Господи, прими дух его с миром».

«Н-да... — подумал с некоторой грустью Забавин. — Сто лет прошло... Сто лет!»

Он попытался еще что-нибудь прочесть, но другие плиты были еще старее, вовсе поросли мохом, и ничего нельзя было разобрать. Тогда Забавин сел на одну из плит лицом к морю и долго сидел неподвижно, поддавшись грустному очарованию осени, забытого кладбища, думая о тех, кто жил

здесь, может быть, не одну сотню лет назад. Потом медленно, в глубокой, неприятной задумчивости спустился вниз и пошел к себе спать.

Но спалось ему плохо, он скоро проснулся и сел к окну. Пока он спал, к острову подошел туман. Туман был очень густ, и ничего не стало видно кругом. Скрылись радиомачта, маяк, скрылись цехи и трубы завода.

Козы собрались в кучу под окном и стояли неподвижно. Жизнь на острове, казалось, прекратилась. Туман поглотил все звуки, только на севере, не умолкая, гудел ревун, и звук его был печален и зловещ.

После того как побывал Забавин на кладбище, у него зародилось странное чувство к этому острову. Смотритель маяка, живший и умерший сто лет назад, когда здесь, наверное, было еще мрачнее, не выходил у него из головы.

И от тумана, от диких воплей ревуна, от вида неподвижных коз ему стало не по себе, захотелось разговора, людей, музыки... Он скоро собрался и пошел на метеостанцию, настороженно оглядываясь, с трудом находя дорогу в тумане и наступающих ранних осенних сумерках.

Начальником метеостанции оказалась девушка лет двадцати пяти с редким именем Августа. Она была маленькая, с тоненькими ножками, коротко пострижена, и от этого особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, мохнатыми от ресниц глазами.

Все на острове звали ее просто Густей. Когда она улыбалась, щеки ее вспыхивали слабым румянцем, тотчас розовели и маленькие уши. При взгляде на нее Забавину стало щежотко на душе, захотелось обнять ее, погладить короткие пушистые волосы, ощутить на шее у себя ее теплое дыхание...

Отдав радисту текст телеграммы, он попросил разрешения посидеть, послушать радио. Густя быстро, охотно и, как показалось Забавину, радостно повела его к себе, в свою маленькую комнату, зажгла настольную лампу и пошла ставить чай.

Пока она доставала чашки, пока тонкими руками расставляла их на столе, позвякивая ложками, сыпала сахар в сахарницу, Забавин сел, одергивая свои задирающиеся узкие

брюки, кладя по привычке ногу на ногу, включил приемник, засветившийся сумеречным гранатовым светом, поймал какую-то близкую норвежскую станцию, закурил и сморщил губы от наслаждения.

С необыкновенной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнату с одним окном на юг, с десятком книг на этажерке, ковриком и узкой, тщательно застеленной и, по-видимому, жесткой кроватью... Ему вспомнилась откровенная жадность, с которой смотрели на него работницы в цехах, и, чтобы не улыбнуться, он стал думать об острове, о кладбище, о том, что за окном темнота и туман.

Но странно, теперь эти мысли не тревожили, не угнетали его, наоборот, с тем большим наслаждением слушал он норвежскую музыку, треск печи в большой комнате, следил исподтишка за хозяйкой.

— Ах, черт! — сказал Забавин, глядя на варенье и на Густины руки. — Простите... Знаете, ездешь, ездешь — и всегда кипяток, черствые булки, одиночество... Ах, черт! В кои веки повезет, как сегодня!

— А! — произнесла Густя, опуская глаза.

— Серьезно! — сказал оживленно Забавин. — На дворе туман, ревун этот проклятый, даже страшно. Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, все думаешь: давно ли мечтал о любви, о каких-то подвигах, о счастье — и вот ничего, и мотаешься по свету, реви-зуешь, отвыкаешь от семьи...

Забавин вдруг перехватил странный взгляд Густы, спохватился и покраснел.

— Извините... — пробормотал он, проникаясь внезапным отвлечением к себе. — Вам неинтересно, а меня прорвало: молчал целую неделю, и такой вечер...

— Ничего, пожалуйста! — сказала Густя, наливая Забавину чай. — Пейте!

Забавин засмеялся, взял чашку. Они разговорились, и он скоро узнал, что она давно работает здесь, получает по договору уже двойную ставку, что она скучает, хочет уехать в Архангельск или в Ленинград.

Поговорив о скуке, перебрав общих знакомых, заговорили о любви и счастье, и оба еще больше оживились.

— Вот вы говорите о сознательной любви, — вдруг сказал Забавин, хотя Густя вовсе не говорила о сознательной любви. — Все рассуждают о любви, говорят, и решают, и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь! И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное — совсем другое, что-то такое, о чем не скажешь и чего никак не поймешь. Да что далеко ходить! Я знаю одного парня — дурака, пьяницу и наглеца, человека без чести и совести. И представьте, его страшно любят женщины, причем женщины умные, интеллигентные. И он знает, что его любят, занимает у них деньги, относится к ним поскотски, и они плачут от обиды, я сам видел! Почему?

— Наверно, вы не замечаете в нем того, что замечают эти женщины, — серьезно сказала Густя.

— А! Что они в нем замечают! Ум? Талант? Широту души? Так нет же — дурак, наглый, ленивый! И не лицо даже у него, а заплывшая морда.

В комнате радиста попискивало, стучал ключ, наконец все смолкло, послышались шаги.

— Ну, я все принял и передал... Сводка на столе! — крикнул радист и хлопнул наружной дверью. — На завтра — «ясно»! Я в клуб прошвырнусь! — крикнул он уже с улицы, зато пал по крыльцу, а в доме стало тихо.

Выражение лица Густы сразу изменилось, она как будто чего-то испугалась, оглянулась на темное окно, пристально серьезно посмотрела на Забавина и тотчас, покраснев, опустила глаза. А Забавин, будто не было ему тридцати пяти лет, не было позади ни армии, ни семьи, ни работы — почувствовал внезапно колющее волнение и сухость во рту, то есть то именно, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек-школьниц и целовался с ними в тихие белые ночи.

— И еще тоже счастье... — начал тихо Забавин, и по тому, как он это сказал, Густя поняла, что он скажет сейчас что-то серьезное, хорошее, успокоилась и улыбнулась ему, расширяя и останавливая на его лице прекрасные бархатистые глаза.

— Надеются обычно на будущее, — продолжал Забавин, прихлебывая чай, ощущая темноту за окном и холодное дыхание моря. — Надеются на будущее и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я. А между тем счастье у нас во всем, везде — счастье, что вот мы с вами сидим и пьем чай, что вы мне нравитесь, и вы знаете, что нравитесь.

Забавин запнулся, передохнул, усмехнулся как бы сам над собой, а Густя, вся пунцовая, не смела поднять глаз.

— Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастья меньше! Человечество всегда юно, но мы-то, мы стареем! Мне сейчас тридцать пять, вам...

— Двадцать пять, — прошептала Густя, решила поднять пылающее лицо и прямо взглянула в глаза Забавину.

— Ну вот! А через год мне будет тридцать шесть, вам двадцать шесть, — мы оба и все тоже постареем на год, что-то от нас уйдет, какая-то частичка бодрости, какое-то количество клеток отомрет навсегда, а там еще и еще из года в год... И главное, будет стареть не только тело, не только мы будем седеть, лысеть, у нас будут появляться разные болезни, которых теперь нет, но и души будут стареть, понемногу, незаметно, но будут — какое же тут счастье? Нет, счастья в этом никакого нет, и я не понимаю людей, которые все ждут, вот придет лето, и я буду счастлив, а когда приходит лето и он не счастлив, он думает: вот настанет зима, и я буду счастлив. Да что говорить!

— В чем же счастье? — тихо спросила Густя.

— В чем? Я тоже думаю: в чем? Вы вот хотите вырваться с этого острова, ждете чего-то, думаете, пройдет год, два, три — и я буду счастлива! Нет же! Вы сейчас именно счастливы, потому что ничего у вас не болит, вы молоды, у вас пре-

красные глаза, потому что теперь, когда вам двадцать пять, смотреть в ваши глаза — наслаждение, и у вас важная работа, и море, и этот остров... Подумайте!

— Легко говорить! — сказала Густя, недоверчиво улыбаясь.

— Да! Конечно, свет велик, прекрасных мест множество, и в конце концов, почему именно остров! Конечно, Архангельск — место куда более интересное, чем этот остров. Когда вы думаете, да и я когда сейчас думаю об Архангельске, или Москве, или Ленинграде, нам представляются театры, огни, музеи, выставки, шум, движение и все такое... Жизнь, одним словом! Правда! А между тем, когда я там, дома, я ничего этого не замечаю, я начинаю думать обо всем этом только издали, а когда я приезжаю в Архангельск, я вдруг узнаю, что у меня заболел сын, что на работе вечером совещание, что торопят с отчетом... И начинаешь крутиться как белка в колесе, вовсе не видишь никаких театров и прочего. Чем же я лучше вас живу? Так сказать, в высшем смысле? Нет, нет, вы гораздо счастливее меня: вам двадцать пять, а мне тридцать пять!

— В этом ли дело! — сказала Густя, поднимая кверху лицо и вздыхая.

— В этом! Рано или поздно вы уедете, конечно, будете жить в Ленинграде, видеть Неву, мосты, Исаакий... Но, поверьте мне, когда вы уедете отсюда, вам обязательно будет вспоминаться этот остров, жители его, море, этот запах водорослей, перистые облака, солнце, грозы, северное сияние, штормы, и через много лет вы поймете, что счастливы были именно здесь.

— Не знаю, — задумчиво произнесла Густя. — Я об этом как-то не думала...

— Да, почти всегда так. Мы жалеем об ушедшем: издали лучше видно.

Забавин волновался и, глядя на Густю, думал помимо воли, как было бы хорошо долго-долго жить с ней где-нибудь. Он расстраивался от этих мыслей, понимая свое бессилие что-нибудь изменить в жизни, но не думать об этом не мог и не мог никак уйти от Густы, хотя было уже поздно.

Он собрался уходить тогда только, когда вернулся из клуба радист, прошел к себе, стал ловить джаз и насвистывать.

Густя вышла с Забавиным на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте.

— Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты, — сказала Густя и взяла его за руку. Рука ее была шершава, горяча и дрожала. «Милая!» — мысленно поблагодарил ее Забавин и тут же с грустью подумал о себе.

Туман разошелся, ревун давно умолк, над головой горели маленькие пронзительные звезды и тек Млечный Путь, разорванный, раздвоенный, но ясный.

Быстро освоившись с темнотой, Густя пошла впереди, а Забавин шел сзади, еле различая ее светлый платок, неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошло несколько минут в молчании, потом Густя остановилась, и Забавин тотчас увидел внизу редкие желтые огоньки поселка.

— Ну вот... — сказала Густя. — Теперь вы сами дойдете, не заблудитесь. До свидания.

— Погодите еще немного, — попросил Забавин. — Я покурю.

— Хорошо, — подумав, ответила Густя, опять взяла его за руку, прошла несколько шагов и остановилась возле какой-то ограда, прислонясь к ней и повернувшись к Забавину лицом. Забавин закурил, стараясь разобрать выражение лица Густы при свете спички, но ничего не разобрал.

Внизу мерно и широко шумел прибой, шел прилив, холодило. Ветер нес особенно грустный запах осеннего моря. А само море было глубоко и таинственно черно.

Забавин внезапно заметил, что лицо Густы то бледно возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через три-четыре секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет.

Забавин опять повернулся к Густе.

— Маяк, — сказал он без выражения. — Нам светит маяк.

Потом, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал ее в неподвижные потрескавшиеся губы.

Ничего не сказав, Густя отвернулась от него. Забавин взял ее за худенькие плечи и повел в темноту, в какие-то шуршащие кусты и мелкорослые жесткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому мху, сквозь который чувствовался твердый холодный камень, — дальше от света маяка. Наконец они остановились: впереди была глухая тьма и гул моря.

— Зачем? — печально сказала она. — Вы меня совсем не знаете! А главное, зачем?

Забавин опять поцеловал ее. И когда он ее целовал, лицо его было скорбно и глаза закрыты, хотя он и думал, что, может быть, это и есть то счастье, о котором они говорили недавно.

— Не надо больше, пойдемте назад, — тихо сказала она.

— Не сердитесь! — так же тихо попросил Забавин и покорно пошел за ней.

У ограды, где они поцеловались в первый раз, Густя остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Забавина.

— До завтра, — сказала она наконец, вытирая слезы и вздыхая. — Я теперь не буду спать всю ночь... Зачем, зачем все это?

Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой и показалась вдруг очень жалкой, когда он смотрел ей вслед. Он долго потом стоял и смотрел то на вспышки маяка, то на далекий теплый свет в окне Густы. Лицо его горело, в горле першило, и он все кряхтел и морщился, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело.

3

Пароход, на котором Забавин собирался уезжать в Архангельск, должен был зайти на остров через неделю. Впереди было семь необыкновенных, счастливых дней! Но на другое утро в контору, где работал Забавин, пришел радист с метеостанции и молча подал ему телеграмму. На бланке было написано: «Срочно ждем Архангельске тчк Парохода не

ждите зпт сегодня или завтра остров зайдет шхуна Сувой тчк Максимов».

Забавин похолодел. Радист ушел. Забавин хотел продолжать работу, но уже ничего не понимал, что ему говорили, не помнил никаких цифр. Кое-как справившись с делами и подписав последние документы, он отметил командировку у директора и пошел домой.

А вечером, когда Забавин собрался последний раз к Густе, к острову подошла шхуна. Она появилась внезапно, как судьба, и о ней узнали по короткому вою сирены, по огням — зеленому и белому — на мачтах и по радиограмме, которую приняли сначала на маяке, потом на метеостанции. Забавин, волнуясь, послал ответную телеграмму, и шхуна осталась на якоре до утра.

До двух часов ночи Забавин и Густя ходили по острову, вспугивая куропаток, которые взлетали с глухим шорохом, сидели на холодных шершавых камнях, любя друг друга все сильнее и больше, и все время им светили огни на шхуне, напоминая о скорой разлуке.

Потом они пришли на метеостанцию, и опять сумрачно, гранатово светился радиоприемник, играла тихая веселая музыка, бормотали дикторы, опять они пили чай, говорили, но мало — больше глядели друг на друга и не могли наглядеться...

— Что это у нас? — спрашивала Густя. — Это счастье? Скажите! Я не знаю...

— Ну-ну, — небрежно отвечал Забавин. — Просто приятный вечер.

— Боже мой! — говорила она. — Как же это вы... Как же вы едете? Вдруг едете! Только появились и уже едете!

— Подари на прощанье мне билет... — протяжно сказал Забавин. — На поезд куда-нибудь...

— Что? — не поняла Густя. — Какой билет?

— Песня такая... И мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь! Веселая такая песня! Не знаете?

— Вы сказали... — Густя покрутила радио. — У вас сын есть?

— Двое... двое! Мальчик и девочка. Так-то, милая!

Занялся неохотный, скупой рассвет. Окно в комнате побелело. Забавин встал, мельком взглянул в зеркало, увидел свое бледное, несчастное лицо, подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло.

Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море — огромное, выпуклое и спокойное, а метрах в двухстах от берега, как наваждение, неподвижно стояла черная шхуна на якоре, и на мачтах еще горели бледные огни.

Куда хватало глаз, все застыло — на берегу и на воде, — было неподвижно, безлюдно и мертво. Внезапно из-за камней появилась крупная темная собака, деловито пробежала мимо, держа хвост на отлете, и вид ее был столь неожидан, что Забавин вздрогнул.

Он отвернулся от окна и взглянул на Густю. Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза ее были закрыты, маленькое бледное личико казалось спокойным, как у спящей. Забавин осторожно надел плащ.

— Густя... пора, — сказал он сипло и стал закуривать. Но почему-то он не чувствовал крепости сигареты.

— Что, уже? Подождите! Я сейчас... Я вас провожу! — заторопилась Густя.

Забавин опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате Густя.

Вместе вышли они на крыльцо. Забавин вдохнул холодный, резкий воздух, поежился, посмотрел на разгоравшуюся зарю, на седой от инея мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами. Опять появилась собака, хрупая, побежала за ними...

Был отлив, карбас на катках оказался далеко от воды. Они долго сталкивали его, покраснелись, запыхались, наконец влезли и оттолкнулись от берега.

Забавин взялся за весла, стал медленно выгребать. Собака на берегу сосредоточенно, вытянув морду, нюхала им вслед и вдруг тонко заскулила, переступая мокрыми лапами по песку. Густя сидела на корме, особенно смуглая в этот час, смотрела поверх головы Забавина, правила кормовым веслом.

Вода была необычайно прозрачна. Камни, песок, водоросли, похожие на конские хвосты, и листья морской капусты тихо проплывали под ними. Иногда Забавин переставал

грести, засматривался на неподвижно висящих смугло-розовых медуз и удивлялся, что может в такую минуту интересоваться чем-то.

Карбас глухо стукнул о борт шхуны. Тотчас на палубу поднялся капитан в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белесыми волосами и молодым, скуластым, опухшим от сна лицом.

— Товарищ Забавин? — сильно окая, спросил он, нагибаясь сверху. — Давайте конец!

Забавин подал ему чемодан и бросил веревку. Потом повернулся к Густе, покачиваясь, сделал три шага к корме. Густя поднялась и стояла, смотря сквозь застилавшие ей глаза слезы в лицо Забавина.

Они поцеловались долго и крепко, до боли, потом Забавин, задохнувшись, отвернулся и полез на борт шхуны. Капитан, смотревший на них с серьезным лицом, помог ему и быстро спустился в кубрик на носу.

Через минуту из кубрика, на ходу натягивая телогрейки, стали вылезать заспанные матросы, и шхуна ожила. Заиндевшая палуба покрылась темными следами от сапог, застучал дизель, зазвенела якорная цепь. Поднялся еле заметный ветерок, стал морщить гладкую воду. У Густы упала на лоб прядь волос, она не поправила ее, сидела неподвижно.

Капитан сам стал к штурвалу и, посмотрев на Забавина, дал малый ход. Шхуна тронулась, карбас с Густей стал отделяться. На носу стоял лохматый матрос, закидывал веревку с грузом, хрипло кричал:

— Восемь!.. Семь!.. Семь с половиной!

В глубине по-прежнему были видны зеленоватые камни, темные пятна водорослей и медуз.

Забавин стоял у борта и смотрел, как все дальше уходит берег и карбас. Густя как осталась, так и не шевельнулась больше, сидела на корме. Черный нос карбаса, высоко поднятый, под ветром тихонько поворачивался к берегу. Забавин слышал пустой звон в голове, смотрел на остров, на карбас, глаза его были сухи и саднили.

Выйдя из опасного места в открытое море, шхуна развила ход, капитан передал штурвал матросу, вышел из рубки и стал рядом с Забавиным.

— Завтра к вечеру будем в Архангельске, — негромко сказал он.

Остров стал уже тонкой голубоватой полоской, можно было различить еще только белую башенку маяка, больше ничего. Началась морская крупная зыбь, корпус шхуны дрожал от дизеля. Наконец и полоска скрылась, кругом была вода — покатые гладкие волны до самого горизонта. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело.

— Ветерок будет, — зевая, сказал капитан. — Эй! Эй! Приборочку, живо! — вдруг резко крикнул он. — А вы пожалуйста в кубрик, — пригласил он Забавина.

Спустившись в кубрик, они сели за узкий стол друг против друга и закурили.

— Выпить хотите? — спросил капитан и полез в шкафчик.

Забавин выпил и передернулся всем телом.

— Ну как? — спросил капитан. — Еще?

— Все в порядке, старик! — сказал Забавин. — Спасибо!

— Это что — супруга ваша была? — помолчав, спросил капитан.

— Нет, — ответил слабо Забавин, и у него задрожали губы.

— Лягте, отдохните, — предложил капитан. — Вот эта койка у нас свободная.

Забавин послушно разделся и лег на койку, узкую и жесткую, со спасательным поясом в головах. Кубрик едва заметно поднимало и опускало. За бортом звенела вода.

«Ну вот и счастье, — подумал Забавин и сейчас же увидел лицо Густы. — Вот и любовь! Как странно... Любовь! Подари на прощанье мне билет...»

И он лежал и, скорбно сжав губы, все думал о Густе и об острове, все виднелось ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли...

Звенела за бортом вода, и звон этот был похож на звук бегущего, веселого, никогда не умолкающего ручья.

На охоте



1

Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки на слежавшихся, потерявших запах листьях. Петр Николаевич проснулся, когда сквозь дырявую сухую крышу начал пробиваться слабый свет. Сын его, Алексей, посапывал, неловко подворотив руки, завернув голову телогрейкой, раскидав голенастые ноги с большими ступнями. Из-под бока у него торчал приклад ружья.

Петр Николаевич обулся, напряженно, боясь сорваться, слез по приставной лестнице, в которой не было многих перекладин. Слез, постоял, смотря на белеющий восток, неподвижные деревья, на мокрые отяжелевшие кусты, потом медленно обошел сторожку.

Раньше здесь был загон для скота, ночевали пастухи, пахло дымом, молоком и навозом. Земля была истоптана, скользка от коровьих лепех... Теперь уж лет пять все было заброшено, поскотина местами повалилась, подле сторожки буйно росла крапива с бледно-зелеными большими листьями. Во всем проглядывали заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья.

Дверь в сторожку была сорвана, и Петр Николаевич вошел внутрь. Стекол в окнах не было, только в одном торчал запотевший осколок, ставший от старости, дождя и солнца сизым. По углам лежали кучи листьев, из печки вынута дверца, сняты чугунные плитки, теперь она зияла черной холодной пустотой. Почему ушли отсюда люди? Где пасут теперь свой скот?

Петр Николаевич присел на листья в углу, медленно закурил, долго следил темными невеселыми глазами, как дым вытягивается в окно, запутывается в толстой, пыльной пау-

тине. Пахло в сторожке сухой глиной от печки, старым деревом; из окон тянуло свежестью травы, чистым и печальным воздухом, и Петр Николаевич задумался с погасшей папиросой о том времени, когда он, совсем молодой, охотился в этих местах.

Было тогда ему двадцать лет. Опалевший, как молодой жеребенок, почти большой от счастья, целый месяц бродил он один или с отцом по этим певучим просторам, спал в шалаше или в стогах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала перед ним — нетронутая, бесконечная, радостная. Потом бродил по озерам, лугам, по сумрачным борам, был несказанно счастлив своей молодостью, силой, готов был плыть за подстреленным чирком по ледяной воде, готов был выхаживать десятки километров в надежде подстрелить юркого бекаса. И еще — и это, пожалуй, самое главное — он был влюблен тогда, беспрестанно со сладкой тоской думал о ней, и казалось ему по молодости, что еще не то будет в жизни, что пока еще не настоящее счастье, а гораздо большее, невыразимое счастье будет впереди.

Сколько миновалось, сколько прожитого навсегда ушло из памяти, но этот тихий светлый край и то время, когда он здесь скитался, так и запомнились как лучшее в жизни, как самое чистое. И он помнил все-все дни и все места, где у него была счастливая охота, помнил приметные деревья, потаенные родники, помнил даже, о чем он думал в то время.

Теперь он снова приехал сюда, уже не один, а с сыном, и, когда ехал, было томительно-радостно, что он опять увидит все, а теперь стало тяжело — так все неузнаваемо изменилось, так все постарело, поблекло... Все не то, все не то, только рассвет и роса на траве, запахи — все те же, вечные, навсегда те же! И странно до восторга было думать, что еще тысячи людей, может быть и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими грустными запахами земли.

2

Сын скоро проснулся, завозился на чердаке. Потом за скрипела лестница, послышался прыжок на землю.

— Отец! — негромко позвал Алексей.

Петр Николаевич вздохнул, провел рукой по лицу, вышел. Алексей, расставив длинные в лыжных брюках ноги, смотрел вверх, лицо его было испуганно и восторженно.

— Тсс! — Он схватил отца за руку. — Слышишь?

— Нет... Что такое? — спросил Петр Николаевич, напрягая слух.

— Ну как ты не слышишь! — прерывающимся шепотом сказал Алексей и посмотрел на отца круглыми счастливыми глазами. — Осы! Их там три гнезда, вчера в темноте не видеть было... Я случайно зацепил, как загудели! Слышишь? — Алексей с восторженным ужасом опять посмотрел вверх.

— Да, да, гудят! — подтвердил Петр Николаевич, улыбаясь.

Но он не слышал никакого гудения, и на сердце у него стало нехорошо. «Вот уже и слышать хуже стал...» — подумал он и, чтобы совсем не расстроиться, заторопился.

— Пойдем, пойдем! — пробормотал он. — Поздно уже... Рюкзаки, ружья где?

— Сейчас! — сказал сын и беззвучно полез на чердак. Так же неслышно, с серьезным лицом он передал отцу один и второй рюкзак, ружья, тяжелые патронташи, натянул новые сапоги, спустился и тут только перевел дух.

— Пошли! — громко и бодро сказал Петр Николаевич и первый зашагал по траве за поскотину, туда, где, он знал, должна быть тропинка.

Тропинку долго не могли найти, промокли от росы, пошли наугад к темному высокому бору. Ноги вязли в траве, поляны были белыми от ромашек. «Сколько добра пропадает, не косят, какая глушь!» — горько думал Петр Николаевич. Алексей шел сзади, спотыкался на кочках, часто и громко зевал, в рюкзаке у него брякало, этот равномерный слабый звук все что-то напоминал Петру Николаевичу и никак не мог напомнить.

Когда вошли в бор, сразу стала видна старая тропа. В бору было сумрачно, глухо; только оттуда, где за плотным рядом сосен лежала старица, робко пробивался голубой неверный свет. Немного погода там, в таволговых кустах, запика-

ла птица, песня ее была в два колена, очень проста: «пи-пи, пи-пи...»

Алексей снова зевнул, споткнулся.

— Далеко еще? — сонно спросил он.

И будто ждал этого вопроса, — в той стороне, где было совсем еще темно, взорвался глухарь и с частым тугим лопотом потянул между стволов. Идущие вздрогнули, остановились, у Петра Николаевича зашло сердце: значит, и сейчас тут есть глухари!

— Фу, как напугал! — засмеялся он. — Идем, потом поохотимся, хватит еще!

Но Алексей, не слушая, свернул с тропы и хищно пошел по беззвучному мху, по хвое и бруснике, держа ружье в руках. Петр Николаевич напряженно смотрел сыну вслед, каждую секунду ожидая выстрела, потом поправил ружье и тихо пошел дальше по тропе.

Он вышел на опушку, сел на поваленное дерево и стал ждать. Впереди было небольшое поле в тумане, за ним опять лес, потом снова должно быть поле, потом маленький еловый колок, затем кочковатая сырая луговина с жесткой осокой и наконец — озеро, место всех давних охот.

Скоро показался Алексей и пошел к отцу, надевая ружье и смахивая что-то с лица.

— Ну что? Ничего не попалось? — спросил Петр Николаевич.

— Ничего! — точно радуясь, ответил Алексей. — Зато глухо как! Грибов сколько, ягод... Как хорошо! Неужели мы тут целый месяц проживем! Здорово!

— И прекрасно проживем! — Петр Николаевич любовно посмотрел на сына. — Тебе понравилось? Я боялся, не понравится... А ты у меня молодец!

Они пошли заросшей тропинкой через луг к новому лесу, но теперь впереди шел Алексей, а Петр Николаевич смотрел на него и думал, какой у него вырос большой сын и как хорошо, что он именно с сыном приехал сюда.

Уже солнце поднялось высоко и роса держалась только в тени под кустами, когда охотники подошли к озеру. Они не

торопились особенно, наслаждались глухой тишиной и по-таенностью, подолгу сидели на опушках, смотрели, как тихо встает солнце, слушали стеклянный скрип журавлей, стуки дятла, пронзительный крик кобчика...

Подойдя к озеру, Петр Николаевич снял кепку, пригладил поредевшие волосы, стал жадно оглядываться. Как все изменилось!

Озеро стало меньше и постарело как будто... Один узкий и мелкий конец его совсем зарос осокой и камышом; сильнее разрослись и наклонились к воде деревья, больше было на темной воде листьев кувшинок.

«Ну, здравствуйте! — думал, волнуясь, Петр Николаевич. — Здравствуйте, кусты, и деревья, и озеро! Здравствуйте, цветы и осока! Вот я опять с вами. Вы долго меня ждали, снились мне, и я пришел...»

Неуверенно, с трудом отыскал Петр Николаевич ту поляну, где у них с отцом горел когда-то, почти не переставая, костер, где они сушились после дождей, варили себе похлебку, кипятили чай, и набивали патроны, и тихонько пели песни на два голоса. И поляна стала маленькой, чужой, и нельзя было понять: то ли она заросла, то ли, как почти все давно ушедшее, представлялась в памяти более значительной, чем на самом деле. Петр Николаевич, моргая, чувствуя выступающие на глазах слезы, махнул сыну рукой.

— Пройди вдоль озера... Посмотри там... Иди, иди!

Алексей внимательно взглянул на отца, покраснел и ушел, торопливо шурша сапогами, горбятя худую спину. Петр Николаевич снял рюкзак, опустил на колени, стал перебирать траву руками. «Должно же что-нибудь остаться! — с наивной верой думал он. — Тут было так много золы, углей, головешек... Даже нижняя лапа сосны была подпалена!» Он мельком глянул вверх: серебрились в солнечном луче иглы, опутанные тонкой радужной паутинкой, неподвижно млели крепкие зелено-бурые шишки, толклись комары... Он разгреб траву, раздвинул ромашки на длинных крепких стеблях, но ничего не было, только сырая земля, старые прелые листья, маленькие липкие маслята; ползали муравьи, кровавыми каплями дрожала земляника. «Конечно... круго-

ворот вещей, — растерянно и огорченно думал Петр Николаевич. — Все проходит, все изменяется... Да полно, тут ли мы были тогда?» Он встал, огляделся: здесь где-то под елью был у них шалаш. Где его искать? Это был такой прекрасный, такой прохладный днем и теплый ночью шалаш! Так хорошо строили они его с отцом... Где же эта ель? Не приснилось ли ему все на самом деле?

Шумел вершинами плотный лес, в просветах виднелось бледно-голубое небо, вспыхивали светлой изнанкой листья осин, солнечный теплый свет дрожал на толстых сумрачных стволах, а внизу было царство валежника, мертвых, на вид совсем свежих берез, папоротника...

Петр Николаевич стал лазить под елями, царапал лицо и руки, оглядывался на поляну, стараясь не отходить далеко. Ружье мешало, и он снял его, прислонил к дереву. Попадалось много грибов, костяники, в лицо дышало влажным грибным духом, пряным запахом опавшей хвои. Петр Николаевич машинально срывал костянику и сосал, чувствуя кисловатый холодок на языке и в носу. Наконец он наткнулся на старую толстую ель, оглянулся на поляну, опять посмотрел на ель, и ему показалось, что здесь. Тут на стволе должна быть зарубка — на ней держалась с одной стороны хребтина шалаша, — он это помнил. Но по мощному в наплывах смолы стволу ничего нельзя было узнать. Тогда Петр Николаевич снова встал на колени, принялся задумчиво перебирать старый хлам, годами скопившийся под елью. И он нашел то, что искал: гнилые, почерневшие палки, на концах которых был виден срез от удара топором; еще и еще...

Да! Вот все, что осталось от прекрасного крепкого шалаша — одни гнилые палки.

Петр Николаевич встал, отряхнул колени, выдрался из густоты, посмотрел сквозь листья на верхушку ели. Какая же она старая! Сколько лишаев! Вон и вершина совсем засохла... Скоро то, что когда-то было маленькой пушистой зеленой елочкой, совсем высохнет, умрет. Проходит жизнь!

Отыскав ружье, он вышел на поляну и остановился, бездумно засмотревшись на ромашки. Потом вспомнил, как перекликался с отцом, переломил ружье, вынул патроны, при-

ставил стволы к губам, и над лесом полетел зовущий печальный певучий звук и замер где-то за озером.

— Ого-го-о! — откликнулся совсем рядом мальчишеский басок.

Послышался шорох, Алексей подошел с виноватым лицом, и Петр Николаевич понял, что он никуда не уходил, сидел поблизости, ждал, пока отец найдет, что ему нужно.

— Как это ты? — изумленно спросил Алексей.

Петр Николаевич показал, Алексей тотчас радостно переломил свое ружье, затрубил что есть мочи, и опять волнуемый, будто из тридцатилетней дали, полетел над лесом и озером зов.

— Ну вот, тут и будем жить, — негромко сказал Петр Николаевич.

— Ты тут жил с дедом тогда... Да? — краснея, спросил Алексей.

— Вынимай топор, надо шалаш делать, — глухо отозвался отец, роясь в своем рюкзаке и не глядя на сына.

4

Долго рубили жерди, устраивали, поправляли, заколачивали, покрывали шалаш двойным рядом еловых лап, старались, чтобы шалаш стоял под елью точно так же, как стоял раньше. Петр Николаевич все вспоминал, как делал его отец, точно так же делал сам, и точно так, как когда-то запоминал он, теперь смотрел во все глаза, помогал и запоминал его сын.

Часам к двум, — когда шалаш был совсем готов, когда все из рюкзаков было разложено и поверх еловой подстилки постелили еще куртки и телогрейки и разулись, чтобы отдохнуть, — стал натягивать дождь. Быстро надвигались темные облака, один за другим закрывая голубые просветы вверх. Лес смолк, потемнел, в шалаше от этого стало еще лучше. Ждали сильного дождя, но начало робко капать, трогая цветы и листья, и пошел обложной, реденький, теплый дождик.

Охотники сидели в шалаше и были счастливы от усталости, оттого, что успели устроиться и могут переждать не-

погоду, от тишины и от едва слышного шурстения дождя по листьям. Все скоро опять отсырело, но пахло уже не тем чистым и грустным запахом росы, как давеча утром, а грибами, мокрой землей, горькой осиновой корой, березовым листом, и было немного душно.

Алексей скоро откинулся лицом в угол шалаша к толстому стволу и уснул. Петр Николаевич подвинулся ближе к низкому входу, стал смотреть на повисшие мокрые пряди берез, на поникшие ромашки на поляне. Он сидел, как часто сиживал раньше, обхватив колени руками, тихонько пел. Пел он все печальные старые русские песни, в которых говорится о разлуке, о смерти, о несбывшейся любви, о раздольных полях, о тоске и сиротливых ночах... Пел и вспоминал многое из своей жизни, мечтал о чем-то, смотрел на хмурое небо и присмиривший тихий лес. Потом замолчал, стал думать о сыне и никак не мог понять, чего же больше в его мыслях: радости или ревности...

Потом он задремал, побежденный усталостью, склоняясь головой на колени, но и в дремоте его не покидало ощущение тоски, сожаления по чему-то навсегда утраченному. Свещенная рука его затекла, набухла и была похожа на мертвую. А дождь все крапал, все шелестел в листьях осин и в траве, сырело и сырело кругом, и только под елью, где стоял шалаш, было сухо.

5

Проснулись они к вечеру, когда дождь кончился, взяли ружья и пошли мокрым лесом. С ветвей капало: капли были крупные, далеко слышалось: тук! тук! тук! Солнце заходило, слабо и желто просвечивая сквозь лес. В лесу стоял золотистый прозрачный пар, отпевали последние минуты птицы. Такой же пар висел над озером, жемчужно сверкали осока и кусты, чуть заметно колыхалась вода: где-то плавали утки.

Долго и осторожно переходили с места на место, пока вдруг не увидели уток, плавающих близко от берега, но далеко от того места, где они вышли к воде. Маскируясь, долго рассматривали уток в бинокль, потом попятились, неслышно и быстро перебежали верхом и в замеченном месте стали

пробираться к берегу. Сквозь просветы ветвей показалась темная вода и на ней освещенные желтым солнцем утки.

– Обожди... дай я, дай я... – умоляюще зашептал Алексей.

Петр Николаевич подвинулся и сейчас же вспомнил, что и он так же просил отца, и отец часто уступал ему. Алексей положил стволы ружья на сучок, прицелился, лопатки его дернулись. «Тааах-тиииу-тууухх!» – широко рассыпалось эхо, дым выскочил клубком на воду.

Охотники, уже не боясь, треща сучьями, продрались к берегу и еще успели заметить трех уток, стремительно уходящих над озером. А две утки остались на воде. Одна лежала неподвижно, желтея брюшком, другая завалилась на бок, старалась нырнуть, но только опускала голову в воду, слабо подрагивала крылом. Дым от ружья, смешиваясь с туманом, расходился пеленой по воде.

– Подожди, тесину срубим! – возбужденно сказал Петр Николаевич, снимая ружье и доставая топор.

Но Алексей не слушал. Морщась, не спуская глаз с шевелившейся еще утки, переживая свой первый выстрел, он стянул сапоги, помотал ногами, сбрасывая портянки, стал раздеваться. Тогда Петр Николаевич покорно положил топор, присел на сгнившее бревно и закурил.

Сын разделся, вздрагивая длинным худым телом, быстро покрывшимся гусиной кожей, полез в воду. Он ступал осторожно, нащупывал дно, отводил руками стебли кувшинок, ухал, но потом не выдержал, бросился и поплыл. Доплыв до уток, он повернул сияющее лицо к берегу.

– Отец! – крикнул он, задыхаясь от холодной воды. – Лезь купаться! Как здорово дымом пахнет! Сероводородным и табачным... Ого-го-го!.. – И он с восторгом нырнул, замолотил ногами, потом вынырнул, захлебнувшись и отфыркиваясь, и поплыл назад, по очереди перебрасывая уток.

А Петр Николаевич вдруг вспомнил, похолодев, как в такой же вечер подстрелил утку на другом озере, километрах в двух от этого, и поплыл за ней, а отец сидел на берегу, отдыхал и курил, и дым от выстрела и табака стлался по

воде, и так прекрасно, волнующе пахло, что он крикнул об этом отцу и стал тоже барахтаться от восторга и шуметь.

Да, все то же... И жизнь по-прежнему прекрасна, и будет такой всегда, — всегда будут пылать, багроветь и зеленеть закаты и разгораться тихим светом восходы, всегда будут расцветать цветы и расти трава, и новые люди будут приходить на место стародавних охот...

Радостно и печально до сердцебиения стало ему. Он больше не мог сидеть и курить, бросил папиросу и пошел, не разбирая дороги, по мокрой траве в глубь темнеющего, при-молкшего леса.

А сын его долго гулко хлопал ладонями по воде, плескался, кричал на разные голоса, вызывая эхо, смотрел на таинственный противоположный берег, подернутый уже синей дымкой потухающего дня. Потом вылез — дрожащий, поси-невший, — быстро оделся, поскакал на одной ножке, погладил теплых уток с мокрыми лапами, прижмуренными бирюзовыми глазами и каплями крови на клювах, увидел недоку-ренную папиросу, оглянулся и воровато закурил, неумело затягиваясь, выкатывая глаза, кашляя и улыбаясь от не омра-ченного ничем счастья.

В тумане



В тумане часто звенели высокие, тугие удары. Далеко где-то били по металлу, и выходило кругло, с оттяжкой: тию-тию-тию!..

— Слышишь? — спросил Кудрявцев.

— Ага! — отозвался агроном. — Значит, все-таки правильно шли. Давай покурим.

И тотчас сел, отдуваясь, положил рядом ружье и повалился на бок, доставая папиросы из заднего кармана.

Механик Кудрявцев с местным агрономом охотились, но плохо: ничего не убили. Они долго стояли на вечернем пролете уток, все смотрели на запад, до боли в глазах, пока совсем не смерклось.

А в лугах их застиг густой туман, и они продирались сырыми кустами, чавкали по болотцам, шуршали осокой, пока не заблудились окончательно.

И вот совсем близко послышались круглые удары, и оба тотчас поняли, что это в мастерских на краю колхоза, оба сразу успокоились и уселись курить.

— Ты не видишь звезд? — спросил Кудрявцев, помолчав.

Он был близорук.

Агроном поднял голову и долго смотрел вверх.

— Нет, — сказал он, зевнул и лег на спину. — Туман здоровый. А должно быть ясно.

Он лежал, возвышаясь животом, перетянутым патрон-ташем, посапывал и редко курил, глубоко затягиваясь.

Кудрявцев тоже было прилег, но сейчас же сел, ударил себя по ляжке и часто задышал носом.

— Ты чего? — спросил агроном.

— Не знаю, радостно чего-то стало... — Кудрявцев засмеялся. — Выпьем сегодня?

— Это само собой! — оживился агроном. — Я все про эту утку думаю. Обязательно я ее срезал! Жалко, не нашли. Ты видал, как я ее стеганул?

— Нет! Я только гляжу, ты в камыши подрал, и брызги выше головы. — Кудрявцев счастливо захохотал.

— Ну, ты никогда не видишь! Их три было, вдоль берега шли, над лесом. Я по ним шагов за сто ахнул, две завернули, а задняя прямо колом в камыши. Эх, собаки не было!

А в тумане все звенели и звенели нежные от расстояния металлические удары, и Кудрявцев замолчал, подавленный неожиданной и непонятной радостью. «Может быть, это от тумана? — подумал он неясно. — Или от охоты? Или от этих ударов, потому что всегда радостно знать, что близко люди и не спят, не спят, работают...»

Он вспомнил жену, с которой поссорился навсегда, как ему казалось. Он поругался и совсем перестал замечать ее, молчал по целым дням, уходил вечерами, пил с агрономом или трактористами. Стоило ему увидеть ее покорное лицо, как злоба охватывала его, и он говорил ей грубости, страдая при этом сам.

И вот теперь все прошло, рассосалось, и ему захотелось быть хорошим и чтобы все вокруг тоже были веселы и милы.

— Ну, пойдём! — сказал агроном и поднялся. — Жалко, пустые мы сегодня с тобой. Хорошо бы утятинки на закуску...

— А я все равно рад, — сказал Кудрявцев, шагая вслед за агрономом и глядя тому в громадную спину.

Они шли теперь смело, громко переговариваясь о прошедшем лете, какое оно было жаркое, об урожае в других колхозах, и внезапно вышли на дорогу.

Дорога была масляниста после вчерашнего дождя, а это был первый дождь за долгое время. Все лето стояла жара. Хлеб, лен, клевер, горох — все горело. Во всем чувствовалась неподвижная истома засухи; пыль на дорогах лежала в два-три пальца.

Но был конец августа, и в солнце не стало уже силы, а жара была только видимостью жары. Присутствовало во

всей природе что-то лихорадочное, что-то горькое и тайное, торопливое, как в бабьем лете, хоть и далеко было до него.

Ночи стояли уже туманные, холодные, росистые. Луна над лесом и туманом всходила близкая и красная. Но лето держалось, держалось, пылило и пекло, пока наконец вчера не прошел обильный дождь с градом, после которого сразу придвинулась осень, объявились вдруг первые желтые листья, красно-коричнево загорелись глухие дороги, заросшие подорожником.

Три дня назад шел Кудрявцев днем этой же дорогой, и лен — рыжий, с шоколадным отливом поверху — звенел под ветром сухим, шелестящим звоном.

А теперь лен уже вытеребили, и на дороге, когда шли осиново-березовым леском, пахло баней и марганцовкой, а возле льна пахло мокрым бельем.

— Слушай, — сказал в спину агроному Кудрявцев, — я сейчас как пацан: прыгать охота! Вот как услышал удары, туман кругом, на тебя посмотрел, как ты закуливаешь, так и нашло.

— Что нашло? — не понял агроном и приостановился, чтобы идти рядом.

— Ну, счастье, что ли... — неуверенно сказал Кудрявцев и посмеялся немного, как бы осуждая себя. — Это как осенью: в самую мерзкую погоду вдруг голубое окно в тучах, и вот помотришь на это голубое и какие лужи на дорогах сделаются светлые — и вспомнишь все весны и счастье, что когда-то было!

— Н-да... — сказал агроном и задумался. — Жить — значит вспоминать. Надо бы мне еще поискать...

— Что ты сказал? — не расслышал Кудрявцев.

— Я говорю, было бы мне ту утку поискать!

Охотники подходили уже, и задолго стал им виден румяный неровный свет сквозь туман, пока они не догадались, что это костер.

Костер был разложен возле мастерских. Кругом сидели трактористы в замасленных спецовках, отбрасывая в разные стороны длинные тени. Тут же стоял гусеничный трактор со сломанным траком. Скаты трактора бархатно лосни-

лись от вязкой земли, гусеницы блестели. Трое возились возле него: один лежал на спине под трактором, только ноги были видны, двое, затеяв себе, натягивали гусеницу, колоутили молотком, но она снова и снова распадалась.

— Здорово, ребята. Не помочь? — громко спросил Кудрявцев, чувствуя в груди теплоту к этим людям, работающим в темноте.

— А ктой-то? — спросил тот, кто лежал под трактором, и выглянул на секунду. — А, привет! Не, на полчаса работы, сейчас поедут, — невнятно сказал он из-под трактора.

— Харитоновский участок не поднимали еще? — спросил агроном, прикуривая от костра.

— Аккурат начали, — после некоторого молчания отозвался кто-то.

— Смотрите! — предупредил агроном. — Завтра к вечеру уполномоченный из райкома приедет...

Охотники постояли немного, следя за огнем, с удовольствием вдыхая запах мазута и металла, и пошли дальше. Началась деревня, они перевернули ружья стволами вниз и прибавили шаг.

Чувство счастья и радости все не оставляло Кудрявцева, усталость прошла, и все с большей нежностью думал он почему-то о жене: как придет домой и помирится с ней.

— Знаешь что? — сказал он агроному. — Я сегодня дома побуду, как-то неохота мне пить.

— Гм... гляди сам, — сказал несколько удивленно агроном.

Все ближе был клуб и слышнее изнутри его сильная музыка радиолы. Над крыльцом клуба горела большая лампа.

— Перейдем на другую сторону? — предложил Кудрявцев.

— А! Все равно светло!.. — буркнул агроном, надвигая на глаза козырек и еще сильнее переваливаясь, кольхаясь на ходу.

Возле клуба сидели на лавках и стояли у забора пары. Они все молчали почему-то, может быть, слушая музыку, и все повернулись, разглядывая приближающихся охотников.

— Чего убили, товарищ агроном? — хрипловато крикнул один.

— Ноги! — тотчас отозвался другой, и все засмеялись.

— Хотя бы ты чирка какого срезал! — немного погодя сказал агроном, отдуваясь от стыда.

Возле дома Кудрявцева приятели расстались. Простились они небрежно.

— Так не зайдешь? — спросил агроном, приостанавливаясь и полуборачиваясь.

— Нет, — сказал Кудрявцев. — Дома побуду...

— Ну, пока тогда...

Кудрявцев постоял, покурил на крыльце, машинально поскребывая подошвами о ступеньку. Плечо под ружьем ломило, но тело было легким.

«Счастье!.. — подумал он. — Так почему же вдруг счастье?»

Ну, любовь — понятно, удача, успех, когда работа, когда все живет, бодро движется, — все так ясно и нечего копать. Но вот беспричинное, в самую глухую минуту, в самое беспросветье — и вдруг блеснет и забьется сердце, и долго потом вспоминаешь этот день... Ах, как хороша ночь и до чего здорово жить!

— Зоя! — громко позвал он жену. — Выйди сюда!

И пока жена искала что-то по дому, мягко тукая пятками, и потом отворяла дверь в сени, чтобы выйти к нему, он все покашливал, дыша прохладным туманом, крепким, оскоминным запахом картофельной ботвы, слушая далекую теперь музыку из клуба, и думал о трактористах, работающих при красном свете костра.

— Смотри, какой туман! — сказал он жене, кладя руку на ее теплое плечо. — Ты не видишь звезд?

Ему хотелось почему-то увидеть звезды.

Арктур – гончий пёс



Памяти М. М. Пришвина

1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить.

Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане.

Странные люди – цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие – на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам на телегах, неприязненно поглядывая на проносащиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, – смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда не увидать их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «Клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно только догадываться. Наверно, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело втайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей...

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплему животу, еще напряженному в родовых схватках. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли; раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир, еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него, слепого, настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел

великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длительно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда он дрался с другими собаками, — а дрался он множество раз на своем веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, но в судьбу его вмешался человек, и все переменялось.

2

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да командированные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким, пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный, влажный ветер, нагоняя тучи, со-

сны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стучались о землю.

Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, и доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшей фистулой он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину — доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаившись возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прорастающей меж досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук — это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: «Ду-ду-ду...»

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор уви-

дел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

– Ну, теперь ступай! – сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы.

Пес уперся и задрожал.

– Гм!.. – произнес доктор и сел в качалку.

Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

– Арктур... – пробормотал доктор. Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

– Арктур! – снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

– Арктур! Иди сюда, Арктур! – уже властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим испугом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном — запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распустились, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым, воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда.

3

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще, морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твер-

до ходили, не спотыкаясь и не натываясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком — многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело избегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверно, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, как музыка, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему: одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, и он сразу же ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. В его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи, за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него одна особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие, протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Артура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» — подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровавые белки.

— Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорее вперед, коровы ста-али!

Артур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Ис-

пугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

— Ах, собака! — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом.

Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепешки, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

4

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не несчастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного переждал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктур. Там, в городе, все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы: высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натываясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

— Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, желтых, голубых и красных — и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми, и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке — охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так, потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь он, увлеченный своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он оставался, взглядывал в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал... «Кого-то причуял!» – подумал я и остановился.

«Гам! – звонко и неуверенно раздалось в кустах. – Гам, гам!»

– Арктур! – в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в ложину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но тем не менее гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, свываясь на тонкий щенячий голос.

– Арктур! – крикнул я.

Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал ле-

вое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

5

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверно, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, что так необходимо каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Лес был ему молчаливым врагом, лес стегал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись, совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лапам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку; он тоже лазит по кустам, бегаёт, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин

бросает собаке пазанки, смотрит на нее хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» — и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и, если доктор, проснувшись, в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделял этот пёс! Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начал бегать возле террасы, делая все большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши и наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

6

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистой задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему ле-

су, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек; иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче.

Я сидел на пне, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лает несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговинной, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из

какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем.

7

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам – они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктур, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях; они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская борода сквозила, на голове был мятый треух, на ногах – сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

– Погоды-то ныне, погоды... – неопределенно начал он и, крякнув, умолк.

Я догадался и спросил:

– Не за собачкой ли пришли?

– Да и как же! – оживился он и надел шапку. – Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне вот как нужна собачка! Скоро охоты и все

такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что? Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой!

Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал, Потом нахмурился.

— Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ.

— И не говори! — огорченно воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник — во, вишь, глаз потерял, — и сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает... Пятьсот рублей сулил — цена-то какова, а? — и не подходи, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят — собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

— Она где же помещается у вас? — как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

— Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

— Прости Господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня:

— А голос-то, го-олос! Понимаешь ты — голос! Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома:

— погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее. Святой крест, продаст! До Покрова-то далеко, чего-нибудь удушаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

– Что он тут вам говорил? – волновался он. – Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услышав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам.

– Арктур! – сказал доктор. – Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день.

Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, – когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой, здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все гото-

вы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай...

Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне не верилось, чтобы он мог заблудиться, — для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как? Где? Этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Беспольный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что смолоду не стал охотником.

9

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась, куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим

вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов – осинового коры, гниющего дерева, сырого листа, – всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока наконец не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже, и не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслю все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой, обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут и Дианы, и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы... Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнувшей голубой звезды!

Старики



1

Сторожка стоит рядом со складом. Если подняться к ней, то окажется, что во всем городе нет места выше склада. Длинное каменное, осевшее от годов здание косо стоит на скате, поросшем мелкой пыльной травой, который в давние времена, говорят, был валом. От склада вниз к реке сбегают крутые спуски со старыми садами, овраги, кривые улицы. Сверху видны колокольни церквей, крыши старинных купеческих домов с галереями, резными фасадами, антресолями и мезонинами, базарная площадь, торговые ряды, зеленое поле стадиона, судоремонтные верфи, трубы двух маленьких белых фабрик, пристань, затоны, река и за рекой — уходящие в зыбкую даль поля, по которым все лето гуляет ветер и бродят смутные тени облаков.

Летом над городом висит белесая пыль, которую поднимают несущиеся по большаку машины, стоит жара, часто дуют суховеи, река сияет, слепит глаза, а вечерами в степи полыхают сквозь мгристо-знойное марево долгие смугло-красные закаты. Летом машины к складу подходят с перегретыми моторами, с жаркими покрывками, а склад пахнет мылом, сосновыми досками, рогожей, бензином и сухой пылью.

Зимой все заносит снегом, по ночам наваливает на улицах сугробы, и утром лошади на них «как на печку лезут». Город делается уютнее, чище, веселее. Скрипят, визжат на морозе сани, звенят цепями машины, на базарной площади по воскресеньям желто от конского навоза, черно от полушубков, красно от мясных туш. Зимой склад становится ниже, насулпленней, запахи его на морозе приглушаются, снег заваливает здание почти до решетчатых фигурных окошек, и

только к двум кованым низким и широким дверям расчищена и укатана машинами дорога.

Город древен и глух. Издавна селились тут раскольники, сектанты, беспоповцы, кулугуры, строили по лесам скиты один суровее, потаеннее другого, скрывались от мира, а в городе — запирались ставнями, замыкались в молельнях, навешивали на колодцы замки каленого железа. Издавна уезжали отсюда в Москву, в Петербург самые дремучие, самые дикие купцы, торговали там, ворочали делами, кутили, но у каждого был в городе дом, и умирать каждый возвращался в родное гнездо. И издавна ничего не строилось здесь, кроме церквей, и ничего не производилось, кроме чугунов, ложек да туесков. Город был азиатски дик, скучен, пылен и всеми забыт.

И до сих пор стучат здесь в колотушки по ночам, до сих пор хоронят стариков по старинному обряду, торчат на буграх громадные дикие колеса бездонных колодцев, вырытых чуть не при Юрии Долгоруком, до сих пор бегают бабы на базар, слушают, обмирая, пророчества Коли-дурачка — грязного, загорелого, гогочущего и плачущего...

Но двадцатью верстами ниже по реке началось в прошлом году строительство большой плотины, и день и ночь везут туда самосвалы камень из карьеров. А выше города за какие-нибудь десять лет вырос вдруг богатейший колхоз-гигант, и все едут туда на ЗИМах иностранцы и обязательно останавливаются в городе, обязательно вылезают, разминаясь, — в узких брюках, в больших ботах, в широких коротких пальто, в высоких шапках, — изумленно щелкают фотоаппаратами, иногда наскоро осматривают какую-нибудь ближнюю церковь, и на иностранцев уже не обращают внимания — привыкли.

2

В сторожке днем кладовщик в телогрейке и перчатках с отрезанными пальцами оформляет наряды, греются, курят шоферы районных автомашин. Стены вдоль лавок и самые лавки замаслены ими до блеска. В углу навалены горько пахнущие осиновые дрова, которые носит сюда сменщик

ночного сторожа Тихона сухорукий Федор из слободы. Над столом прибита полка, на ней стоят банки с солью и чаем, лежат маслянистые черные гайки, гири от амбарных весов, начатые пачки махорки и папирос, которые забывают шоферы.

Потолок в сторожке закопчен, на полу сор, щепки — оба сторожа ленятся мести. Маленькая, обмазанная бурой глиной и невыбеленная печь громко гудит, чугунная плита малиново румяна, крошечное поддувало пылает жарким золотистым светом. Дверь сторожки в сильные морозы покрывается курчавым инеем по щелям, на окнах нарастает лед в два пальца толщиной. В оттепели с подоконников течет, пахнет сыростью и еще чем-то, чем пахнет обычно в нежилых помещениях, а дверь так забухает, что в нее нужно биться всем телом, чтобы открыть. В углу, возле двери, висит берданка с залпанным прикладом, потерявшим воронение стволом, заткнутым тряпкой от сырости. Иногда, от нечего делать, Тихон чистит ружье, вынимает патроны из магазина. Патроны набиты крупной дробью, желто маслятятся, тяжелые, приятно холодят ладонь.

Тихон любит думать, сидя на чурбаке возле открытой топки, глядя в огонь. Крупное лицо его тогда неподвижно, зрачки сужаются, глаза светлеют. Мысли у него тяжелые, старческие, он много курит в эти минуты, курит до сердцебиения и тягуче сплевывает на яркие стреляющие угли.

В молодости был Тихон даже до странности силен и необычен. Работая грузчиком, редко, свободно шагая огромными ногами, таскал десятипудовые тюки. Необычен был, дик он и в поступках: так же, как и приземистые грузчики-татары с плоскими лицами и просвечивающими редкими усами, ел он сырое мясо. Покупал на бойне фунта два говядины, посыпав солью, рвал частыми белыми зубами, прижмуривая глаза, хрустел хрящами, пускал по бороде розовую слюну — жутко было тогда смотреть на него!

Всю молодость прожил он одиноко, замкнуто, не было у него друзей, никому не открывал он свою душу, был постоянно молчалив и мрачен. Однажды он исчез из города и пропадал года два. Вернулся смутный, с досиза выбритой голо-

вой, сваленной порыжевшей бородой в шелковой восточной рубаше и разбитых сафьяновых сапогах. О том, как жил и что делал эти два года, никому не рассказывал — сказал только, что был в Персии. Долго после этого вставлял он в разговор резкие гортанные слова и смотрел на всех еще угрюмее и загадочней.

Любят у нас все необычное, сильное, мощное, — Тихона же не любили, а боялись и удивлялись ему. Слава его была необычайна, но слава — дикая, мрачная. Трезвый он не был ни страшен, ни особенно интересен, зато пьяный — был зловец и неистощим на дикие, буйные поступки.

Пил он редко, но помногу и не пьянел, а дурил: ломались брови, тяжелел, бешеным, стеклянным становился взгляд. И пел, закидывая голову, прикрыв пушистыми ресницами воспаленные глаза, дрожа волосатым кадыком, никому не известные песни без слов и без мелодий. Вернее, не пел даже, а выл фальцетом, тогда как голос был у него низкий и гулкий.

Иногда, начав пить с утра, в полдень выходил он из кабака, сутулясь, поглядывая исподлобья на встречных, сунув руки в карманы грязных, плоско висевших сзади штанов, шел на базар. Поодаль за ним, нервно похохатывая, тянулись любопытные. На базаре Тихон молча, деловито, лиловея лицом, выдергивал коновязи, пугал всхрапывавших лошадей. Потом потный, с белыми дурными глазами, с зловещей шальной улыбкой подходил к какому-нибудь возу. «Ну што ты, што ты! — бормотал, бледнея, хозяин воза. — Слышь! Братцы, православные, да што же это!» Тихон нагибался, брался за колесо, напрягал широкою, сутулую от тюков и мешков спину и перевертывал телегу вместе с лошадыю. Вытирая о штаны запачканные дегтем ладони, задыхаясь, злобно оглядывал он сбежавшихся мужиков и шел обратно в кабак. «Дубина! Черт бешеной!» — бормотали вслед ему. Громко кричать боялись.

Женился Тихон пьяным. На свадьбе он долго крепился, потея, под надсадное «горько!» целовал жену, потом зарычал, выкатил налитые хмельной мутью глаза, двинул стол — и с грохотом, давя друг друга в сених, выскочили на улицу пьяные гости. А ночью, топча сапогами гряды на огороде,

подошли к дому, ударили колом, высадили раму в окне комнаты, где спал Тихон с молодой женой, засвистели и, треща плетнем, кинулись врассыпную. И всю ночь с ревом гонялся Тихон за кем-то по слободе.

Было у него потом двое детей, но оба умерли: один — мальчиком в холеру, другой — уже взрослым парнем: утонул, нырнув под баржу.

Старел Тихон тоже не так, как все: не сразу, не постепенно, а временами. В каких-нибудь полгода старел лет на пять, появлялись резкие морщины, ноги становились узловатее, кривее, бороду подбивало сединой. Потом лет десять ходил все такой же, а наступало время — опять седела борода, салился, лез волос.

Изредка вспоминалась ему Персия. Закрывал он тогда глаза — нестерпимо пекло белое солнце, шумел базар, горячо пахло пылью, нечистотами из узких темных переулков, синим дымом плыл, курился капающий на раскаленные угли бараний жир, в кофейнях сидели на вытертых коврах, жевали тугие лепешки, пили кофе, горько-зеленый чай, курили, скашивая желтоватые белки глаз, потом блестели копченые лица. А вечером жарко дышали нагретые за день старые стертые каменные плиты, мглился короткий нерусский закат, розовели на фиолетовом небе башни минаретов, тоскуя, горловым звуком рыдали, вопили муллы и падали, падали, прижимаясь лицами к пыльному камню, правоверные.

И, вспоминая все это, вспоминая еще темную маслянистую воду залива, запах корицы, ржавого железа, гулкую темноту паровозных трюмов, изумрудно-синюю громадность моря и пахнущую острым животным потом толпу грузчиков: персов, греков, армян, азербайджанцев, русских — крепко сжимал Тихон зубы, клал руку на сердце и думал с бессильной тоской: «Уехать бы!..»

Но бывали в жизни Тихона и милые и прекрасные минуты. Каждый год, недели за две до Петрова дня, доставал он из чулана давно уже отбитые, завернутые в мешковину косы, надевал новые, твердые, как черепок, лапти, брал котомку с хлебом и ехал наниматься косить.

Он забирался далеко, в места совершенно глухие, пойменно-черноземные и старообрядческие. И едва только устраивался на нижней железной гулке палубе рядом с дровами, пахнущими лесом, оврагами, грибами, рядом с мерно вздыхающей, снующей стальными поршнями в желтом масле машиной, едва только ощущал частый лопот, шум и плеск плит за бортом и дрожь быстроты, торопливости, как уходила на короткий срок, забывалась старая жизнь и больно, сладко манили, звали к себе бесконечные пыльные дороги, речные плесы, дремотные, знойно-пахучие опушки — все давным-давно знакомое, все родное с самого детства.

И становился Тихон разговорчивее, терпимее к людям, совсем не пил во все время покосов. Вставал затемно и сразу начинал косить по росе, по холодку, и косил жадно, широко, не уставая, разгораясь только, глубоко дыша томительно-свежими запахами сена, медовой каши, пряной, густой влажностью луговой земли.

Он любил раздолье, любил одинокую трель жаворонка в ало-зеленом утреннем небе, дрожал от одного вида жеребенка, бегущего с мокрыми от росы бабками, с глухим дробным топотом, с коротким пушистым хвостом на отлете; любил ребятишек с выгоревшими волосами, босоногих, молчаливо-пугливых, рысцой несущих от деревни косцам полдник; но больше всего, пожалуй, любил он долгие летние сумерки, волглую траву, с хрустом никнущую под равномерными взмахами косы, любил думать о чем-то неясно-прекрасном, слушать скорбно-медлительный дальний колокольный звон, ржание кобылиц в лугах, тонкие, певучие голоса баб из деревни; и еще любил спать коротким летним сном на теплых, душистых гумнах, любил видеть спросонок неисчислимое сияние звезд, от света которых смутно тлели в темноте наливающиеся ржи.

Но кончался покос, Тихон ехал обратно в пыль и пекло города, в вонь и грязь слободы, опять до хруста в позвоночнике напрягался, шагал по прогибающимся сходням, опять кричали приказчики, пахли смолой и рогожей баржи, затхлостью и тиной тянуло от реки и навозом, мочой — сверху, с базара, от кабаков и чайных, и опять Тихон пил, дурел,

дрался и рычал, опять все звали его Бешеным, опять тянуло его в Персию...

Тихон давно овдовел, живет бобылем, посмирнел и по-добрел, стал проще, откровеннее, отпустил желто-белую апостольскую бороду, но по-прежнему крепок, не потерял ни страшной силы своей, ни железного здоровья, и по-прежнему сопутствует ему слава сказочного силача.

Он стал достопримечательностью района, его полюбили, им гордятся, о нем рассказывают приезжим, в нем открыли вдруг и ум, и русскую сметку и уже лет двадцать без перерыва избирают в горсовет. Завидев громадную его фигуру, останавливает машину секретарь райкома, поспешно вылезает, здоровается, восхищенно спрашивает о здоровье, заранее жалуется на работу, на хлопоты и беспокойство, на планы, но и достижениями не забывает похвалиться. Тихону нравится этот интерес к нему, это почтительное внимание, и, наигранно хмурясь, смаргивая набегающую на глаза старческую слезу, он расправляет сизой громадной рукой бороду, глубоко, свободно дышит, с наслаждением смотрит по сторонам — на улицы, на народ, на небо, на реку внизу.

И, насладившись лицезрением Тихона, хозяйственной беседой с ним, повеселев и как бы поздоровев, секретарь райкома садится в свой «газик», а Тихон идет дальше, расстегнув на морозе полушубок, светло и прямо глядя всем в глаза. С ним здороваются, заговаривают, останавливают и приглашают в чайную. И всем Тихон отвечает охотно, гулко, громко, но в чайную идет только со старинными своими приятелями. Там он снимает шапку, еще шире распахивает полушубок, заводит под стул ноги в высоких негнущихся валенках, требует четвертинку и пару чаю и делает себе «пуншик». К нему подходят молодые ребята, монтажники, такелажники с верфи, просят выпить с ними, подносят ему, и он пьет охотно, не закусывая, немного рисуясь своей крепостью и твердостью.

Еще любит Тихон голосовать. Чуть не каждый день ходит он перед выборами на агитпункт, читает журналы и газеты, внимательно, наставив ухо, слушает доклады. Голосует

он всегда первым, а если дежурит в этот день, к нему первому привозят урну. Надев очки, он долго читает, рассматривает бюллетени, снова расспрашивает о депутате — кто, откуда, кто были отец и мать,— приказывает: «Выйдите!» — и, аккуратно сложив толстыми пальцами, опускает бюллетени в урну.

3

Короток зимний день. Быстро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега, блеснут в последний раз золотом окна домов, ало посветят крыши и колокольни, и ползут на город и реку сумерки.

На дежурство приходит Тихон к девяти часам. Вместе с кладовщиком он проверяет пломбы, зевает, готовится к длинной ночи. Растопив в сторожке печь, он берет ружье, выходит на улицу и привычно осматривается. Небо черно и чисто, зеленовато горят редкие мелкие звезды. Тихон топчется на освещенном фонарем кругу, смотрит на широкую темную реку. Снег под ногами Тихона сверкает, колет глаза, скрипит. Пахнет льдом с реки, холодным железом и тулупом. Когда Тихон проходит под фонарем, тень его коротка и плотна. Потом она с каждым шагом удлиняется, толстеет, становится огромной, зыбкой, пропадает где-то на крышах нижних домов.

Все кругом, скованное морозом, неподвижно, мертво. Только поднимается прямо к черному небу прозрачный дымок из трубы сторожки, бросая на заснеженную крышу склада слабую шевелящуюся тень. Далеко внизу, на набережной, возле пристаней и дебаркадеров горят фонари, но самих фонарей не видно — одни редкие светлые пятна на снегу. Проезжают изредка последние МАЗы, призрачный свет их фар скользит по крышам, по дороге, дрожит далеко по реке, и отчетливо слышен высокий звук моторов. Город спит, засыпан снегом, и даже в темноте все смутно-металлически светится: улицы, овраги, дворы, сараи, сады — только окна ближних домов и низкие двери склада аспидно-черны.

Внезапно из-за елового леска сверху с визгом вылетают маленькие санки, раскатившись, останавливаются воз-

ле фонаря. Тихон вглядывается, узнает, подходя, молодого участкового милиционера. Лошадь его, небольшая, крепкая, с курчавыми седыми боками, сразу опускает голову, задумывается. Милиционер хочет вылезть, даже выставляет ногу в валенке, но почему-то раздумывает, бросает вожжи, снимает варежку, лезет, отваясь, в карман за папиросами.

— Здорово, Тихон Егорыч! — бодро, звучно, нажимая на «ч», говорит он. — Происшествий не было?

— Какие у меня происшествия? — с усмешкой отвечает Тихон.

— Ну, не скажи! Этого у нас хватает! — значительно, с удовольствием говорит милиционер. — Вот хоть бы сейчас... — Он замолкает, прикуривая, потом выпускает вверх целое облако дыма и пара и сплевывает. — Как раз еду с одного дела.

— Но? Откуда это?

— С Бондарева. Парня зарезали одного, механика... Девять ран, ножиком перочинным пырлял, сука!

— Насмерть? — огорченно спрашивает Тихон.

— Живой пока. Бредит — смехота одна слушать!

— А этого поймали? — живо интересуется Тихон.

— Взяли. В сельсовете сидит, завтра с утра машину пошлем.

— Ловко! — помолчав, говорит Тихон. — Как же это у них?

— Из-за девки. — Милиционер морщится, надевает варежку. — Девка там у них есть. Красивая, говорят, так вот из-за нее...

— Что ж ему теперь, энтому-то?

— Да уж не помилуем! Жив останется, лет десять дадут, а помрет — к стенке! Согласно указа.

— Н-да... — Тихон переступает с ноги на ногу, поправляет ружье, снег под ним скрипит. — А все из-за бабы! Сколько из-за ней народищу гибнет — уму непостижимо!

— Ну нет, не скажи! — радостно возражает милиционер и садится поудобнее. — Не скажи! Дурость собственная, распущенность, и все! А баба для нашей жизни... Я вот женился...

— Но? — перебивает Тихон. — Я и то слышу, женился. Давно?

— Две недели, третья пойдет.

— С приданным?

— Какое! Сирота... Вот погоди, премию получу за то дело, — помнишь? — свадьбу сыграем. Я тебя, Тихон Егорыч, давно хотел спросить, нарочно крюку дал, заехал: не будешь ли посаженным отцом и все такое?

— А что, хороша? — оживляется Тихон и тоже торопливо закуривает, прикуривая у милиционера.

— А ты думал! — говорит быстро милиционер, глядя на крупное лицо прикуривающего Тихона, расстегивает крючки шинели, лезет в боковой карман. — Нет, дома оставил... Фото я хотел тебе показать. Я как один жил? А тут с дежурства ворочусь, в квартире натоплено, в печке щи горячие, на окнах — тюль! Я с мороза заколенею, аж в носу слипнется, да? Она мне сейчас шинель сымает. Сымает, говорю, шинель...

Голос его звенит восторгом, он растягивает, повторяет слова, стремясь продлить удовольствие от собственного рассказа. «Шинель» он выговаривает как «шинэль».

— Подает умыться, ласкается, щекотит..

Милиционер смеется, не в силах больше рассказывать. Тихон тоже ухмыляется, но слегка пренебрежительно, — хрустит валенками, тянет носом. В санях набито сено. Пряжами свешивается оно к полозьям, волочится по снегу — концы прядей белые. В морозном воздухе нежно пахнет летом.

— Вот так и живем, а ты говоришь — баба! — сипловато заканчивает милиционер и покашливает, глядя на далекое зарево огней над строящейся плотиной. — Строят все, — уже другим, будничным голосом замечает он. — Народу понаехало! Вот бы у нас такое подобное начали!

— Воров больше станет, — улыбаясь, замечает Тихон.

— Эх, Тихон Егорыч! Не в этом дело! — Милиционер погибает, подбирает вожжи. — Воров мы бы повыловили, а жизнь пошла бы веселее. Ну, поехал... А на свадьбу я, значит, на тебя надеюсь!

Он поправляет кобуру пистолета, сморкается по очереди на ту и другую сторону необыкновенно сильным и резким звуком, дергает вожжи. Застоявшаяся, замерзшая лошадь

с мохнатой заиндевелой мордой обрадованно трогает, стеклянно стреляют примерзшие полозья, слышится тонкий затихающий визг саней и хрусткое жик-жик-жик под копытами лошади. Милиционер едет, так и не убрав ноги. Нога торчит из саней, чертит пяткой снег на обочине дороги.

Тихон снова принимается расхаживать под фонарем, думая о молодой жене милиционера, усмехаясь, поглядывая вниз на город, останавливаясь и прислушиваясь. Скоро он зябнет и, похлопывая рукавицами, идет в сторожку пить чай.

4

А в слободе, внизу, возле самой реки живет другой старик — бывший миллионер, парходчик и мукомол Круглов. Зимой и лето ходит он в залоснившемся, потрескавшемся от старости романовском полушубке, зиму и лето не снимает шапки и валенок, не выпускает из рук старинной с серебряной накладкой палки.

Круглов — ровесник Тихона и в молодости тоже знаменит был на всю Россию. Только иная слава была у него: бешеные тройки, цыгане, разгул — такой дикий, такой изощренный, какой мог быть только в таких глухих, медвежьих углах. Цыгановатый, худой, с жаркими черными глазами, с необыкновенной черной густоволосостью, Круглов ненасытен был в кутежах, в мерзостях, в разврате, как ненасытен он был и в трудах своих после попок. Кутить ездил он в Москву, в Петербург, забирался даже в Париж, изумлял цивилизованных французов своей тройкой, громадностью сумм, ежедневно просаживаемых в ресторанах и публичных домах, поражал неумной тоской своей, слезами, пляской, совершенно невысказанным диким озорством.

Но, несмотря на такие разгулы, капиталист, хозяин Круглов был жестокий, умный и хладнокровный. Чуть не весь край держал он под своим контролем, жил нарочно в этом глухом городе, и ездили к нему, проклиная российские дороги, на поклон губернаторы, советники, купцы и даже жандармы.

Женившись, взял Тихон за женой небольшое приданое, задумал осесть в деревне, купил под городом мельницу, пе-

реехал туда жить, взялся было ворочать, но в тот же год задал, разорил начисто его Круглов, трынки не оставил, и, весь в долгах, еще более злобный и бешеный, вернулся Тихон в город. А Круглов, завидя на пристани Тихона, снимал каждый раз высокий картуз с белоснежной шелковой подкладкой, низко кланялся под радостный гогот приказчиков, спрашивал: «Как здоровьице, ваше степенство?» — и только скалился в ответ Тихон.

Революция была для Круглова громом среди ясного неба. А было тогда ему лет сорок, уже немного поостепенился он, еще более крутым, жестоким, неумолимо-хозяйственным стал, уж капитал его шел в народе за миллионы. И мгновенно мужицким своим чутьем понял он, что на старое не повернет, что слишком глубоко и широко все это, что надо уезжать, бежать. И чуть было не бежал, уже и паспорта достал (английские), уж набил сундучок великоустюжской работы золотом и бриллиантами, да проговорилась жена — женщина простая, недалекая, совсем не под стать ему, — пришли красногвардейцы, конфисковали золото, выселили семью Круглова из дому, а самого продержали три месяца в тюрьме. Вышел из тюрьмы Круглов другим человеком: похудевшим, темнолицым, смиренным, простым с виду, но еще более ожесточившимся в душе. И до смерти не мог простить жене своего несчастья, за пятнадцать лет слова путного не сказал ей, а когда умерла — простился в церкви, поцеловал покойницу по обряду в венчик, а провожать не пошел. И, приходя потом на кладбище в родительские субботы, ни разу не подошел к ее могиле, да и не знал, где она.

К старости Круглов стал евангелистом-сектантом, живет замкнуто, всеми забытый и одинокий. По субботам ходит в молельню, жадно читает Библию, с радостью, с торжеством находя там все больше примет близкого уже конца света. По-прежнему люто ненавидит он советскую власть, по-прежнему отказывается участвовать в выборах. «Предо мной губернаторы навтытяжку стояли! Я — аглицкий подданный!» — с гордостью, с усмешкой говорит он агитаторам, а когда те слишком донимают его, стучит палкой и белеет от гнева.

Его разбивал уже паралич, моргает он теперь неровно: сперва быстро, как у птицы, падает левое веко, потом мед-

ленно взмаргивает правый глаз. Борода его грязного цвета постоянно дрожит, костлявый лысый череп с запавшими веками блестящ и желт, как у покойника. Он старчески неопределен, нечист, и даже на морозе от него нехорошо пахнет. Но и до сих пор не потерял Круглов крутого своего нрава. До сих пор, униженный, робкий, одряхлевший, он вдруг широко раскрывает мутные склеротические глаза, вздергивает голову, немощное тело его сотрясается от мгновенного гнева — и трудно тогда выдержать его взгляд.

Поразительным бывает иногда человеческое постоянство! Есть человек в городе, которого Круглов ненавидит уже десятки лет, имени которого не может слышать без того, чтобы не почувствовать сотрясающе-бессильной ярости. Чего бы не отдал, не сделал Круглов ради того только, чтобы увидеть врага своего униженным, растоптанным, чтобы насладиться сознанием своего первенства, превосходства! Как часто мучает, казнит, жжет огнем его Круглов в бессонные свои ночи! И враг этот, как ни странно, — Тихон.

Ненавидит и презирает его Круглов так долго и сильно, что чувство это превратилось у него в своего рода страсть, в душевный запой: ни поговорить с Тихоном, ни поиздеваться над ним он уже не может. И вот зимой, когда вечера Круглова особенно длинны и тоскливы, раза три в месяц слышит Тихон короткий звон под палкой Круглова, а спустя минуту видит знакомую и тоже ненавистную ему фигуру. Круглов подходит и останавливается под фонарем.

— Ну? — тяжело спрашивает Тихон.

— У вну... внука был, — говорит Круглов, задыхаясь, шаря дрожащей рукой по полушубку. — Шел домой, сердце схватило... Думал, помру. Во рте таково сладко стало...

Тихон молчит, насупясь, поглядывает сбоку на Круглова: он не любит больных, боится разжалобиться.

— Ноги затряслися, — продолжает Круглов, немного отдышавшись. — Ноги мои, ноженьки... Второй раз это уже! Скоро, должно, помру... Кому привет передавать, Тихон?

— Чего тебе возля базы надо? — грубо обрывает его Тихон.

— А ничего. Так постоять... Добро свое вспомнить. Моя ведь это творения, — нарочито скромно и простонародно говорит Круглов. — Мой лабаз-то!

— Твой-ой? — Тихон насмешливо-сочувственно чмокает. — Ишь ты... Дела-а!

— Молчи, дура! — хрипит Круглов и яростно вонзает палку в снег.

И Тихон молчит.

— Помирать еще не думаешь? — немного успокоившись, спрашивает Круглов и оглядывает огромную фигуру Тихона. — Н-да... Лет на двадцать тебя еще хватит. А я вот боюсь, — таинственно говорит он и моргает. — Смерти-то боюсь! Я вот с тобой стою, хотя ты и босяк. Меня вся Расея знала, а я с тобой вот стою. А почему?

— Знала, да забыла, Расея-то, наверно, потому, — усмехается Тихон.

— Дура! Вот и врешь... Я домой боюсь идти. Придешь, ляжешь, в голове муторно и грудь давит. Давит грудь-то, как землей заваливает. Смерть, значит, дает себе знать! Тут, я в Бога верую, лампаду засвечу. «Господи!» — думаю. Днем то, се, ничего днем-то, а ночью... Лежу, слушаю: часы стучат, раз пробьют, еще... Птушки в клетке завозются — щеглы у меня, — оно и ничего.

— Живность, значит, любишь?

— Во-во! Люблю, чтобы возле меня живой был. Старуха жива была, так храпела... А сейчас один — дыху ничьего не слышать, сердце одно свое слышу. Таково оно хрипло бьется. Ох, намучилось сердечушко мое, уж оно наму-училось! Не люблю своего сердца слушать. Думал тоже: кого завести? Кошку разве... Да не люблю кошек, не уважаю. Чернота в них, звериность, ну их! Собака у меня была, Дамка, прибилась, черт! Здоровая сука, жрала много, так жрала — хоть баржами корми, все нипочем. Ну, убил я ее.

— Убил?

— Удавил! — Круглов чувствует скрытую ненависть в вопросе Тихона и смеется: «Вот оно, начинается!» — Гнал от себя, не идет, привыкла. А кормить чем? С вашей властью себе не прокормишь! Не в силах я такую псину кормить. Ну, зазвал в сарай. «Дамка!» — говорю. Пошли... Пошли, значит, взял я веревку, петлю ей на шею исделал, глянула она на меня, поняла, видно, визгнула, ну я ее...

— Не пожалел, значит, — говорит Тихон, тяжело глядя на неестественно веселого Круглова.

— Дура! — с удовольствием отвечает Круглов. — Подумай! Чего ее? Ты знай, ни одна псина своей смертью не сдыхает, то есть всегда что приключится: задавит, утопнет, сбесится, а не то в спутник засодют... Такой уж предел им от Бога положон!

— А и зол же ты! — равнодушно замечает Тихон. — Телом ты таракан, а злобы — на доброго коня. Гнилая у тебя душа...

— Ага-а! — Круглов добивается наконец того, зачем пришел, и сразу сотрясается от слепой ненависти. — Ага, о душе вспомнил! А когда раздевал-разувал меня, о душе моей думал ты? А? Кривишься, стерва, босяцкая морда? Круглов жил и другим давал жить! Мало я вас, сволочей, кормил-поил? Богадельня, где теперь техникум, чья была? А церкву, какую вы разорили, кто построил? А? А груз ты чей таскал? А любовницы... Любовницы то мои, здешние же бабы... Они что же, добра от меня мало схапали? Бросал я их... Бросал, а не оставлял, дома им строил. А ведь жили же мы раньше, жи-или! Не вам, антихристам, не вам, беспортошным сукам, дуракам, чета! Я, бывало, работаю до седьмого поту — искры в глазах...

— От пьянства искры у тебя были, — мрачно-радостно вставляет Тихон.

— От пьянства! Знаешь, когда дурак умным бывает? Когда молчит. Молчал бы — от пьянства! Я пил — опять же весь город с меня богател. Сколько я тыщ-то просадил, где они? Я вот ночами не сплю, так все думаю, за что же нас разорили, неужто, думаю, раньше жизнь хуже нынешней была? Начну вспоминать, зуд по телу идет, каждый божий день вспомнишь, слезами изойдешь!

— Ду-умаешь... — передразнивает его Тихон и мстительно смеется, хлопая рукавами тулупа себя по бокам. — Слезьми исходишь... Отлилися, значит, кошке мышкены слезки! А еще ничего не думаешь?

— Думаю и еще, — говорит Круглов и поднимает трясущуюся руку. — Скоро вам всем конец придет, ско-оро! Не долго вам осталось кровушку пить! Библия, она свое предсказание окажет, она ока-ажет! Ух, и загоритесь вы все, ух, и не сладко вам будет... Ты думаешь, атом-то — это тебе так? Так, да? Нет! Сказано: и восстанет брат на брата, и отец на сына,

и умножится горе, и разверзнутся небеса, загорится земля и небо... Ага-а! Сами себя жрать будете, как шакалы аравийские, настроили на свою голову, сами же и сгорите, проклятые. Вспомните тогда Круглова! Вспомнишь, иуда, кто тебя поил-кормил и кого ты предал псам смердящим! Ограбили Круглова — ладно! Мне место уготовано...

— В пекле тебе место уготовано! — рычит Тихон, тоже возбужденный, взбудораженный наконец Кругловым. — Капиталы свои жалеешь? А как ты наживал их, а? Папашу-то своего мышьяком кто затравил? А племянника кто утопил? Молчишь, змея подколодная? Сколько ты душ-то по миру пустил, сколько слез сиротских пролилось-то? А из-за кого я пил, из-за кого бешеным дураком был? «Жи-или!» Чтоб ты на том свете так жил! Про Парижи помнишь, а про голода, про холеры не помнишь — твои-то детишки не мерли! От сладкости я хрип гнул на тебя, надрывался, чирьи по теле шли? Жизнь-то мою, молодость-то мою кто загубил, не такие-то, как ты, все душегубы, мать вашу, а? Я и не помню ничего — вся жизнь как один день — это как же? Ты-то стенаешь по ночам, дуже прошлое жалеешь, а я вон в сторожке сяду ночью, подумаю, вспомнить ничего не могу. Мало вас таких-то расстреливали! Истязать вас надо за все, за всех голодных, за всех нас — под корень извести! Да ты... Слюнявый черт, ах ты... Убью я тебя! Не приходи ко мне — убью, доведешь ты меня, ты меня знаешь, ты меня помнишь, не трожь меня, сердца моего не бреди... Я и так жалею, локти себе кусаю, что не достал тебя, не извел в семнадцатом годе... Слышь, купец, слышь — вон тебе крест святой, убью!

Тихон со страшным лицом хватает Круглова за воротник, ведет от фонаря. Воротник трещит, Круглов обмякает, молчит, послушно перебирает ногами, дрожит бородой.

— Погоди, весной плотину... кончат... зальет тебя, стерву проклятую! — задыхаясь, гудит, хрипит Тихон и толкает Круглова так, что тот падает.

Круглов с трудом поднимается, поворачивается к Тихону, в горле у него булькает, свистит.

— Не за... не зальет! — заикаясь от ярости, захлебываясь слезами, кричит он.

— Зальет! — уже гулко и бодро повторяет Тихон. — Кончены твои дни, сдохнешь скоро, купец, ваше степенство! Как здоровьице, ваше степенство? А? — вдруг вспоминает он. — А? Хо-хо-хо!

— Не зальет! — плачет Круглов. — Я тебе переживу! Моя кровь неумирующая!

Тихон смеется особенно радостно, особенно мстительно, а Круглов поднимает бороду, закидывает мокрое от слез лицо к черному небу.

— Господи! — отчаянно просит он и невнятно бормочет: — Бу-бу-бу-бу...

И уходит во тьму, истерзавший себе сердце, в диком отчаянии вспоминая, воображая былую свою силу, власть, былую гордость и могущество, ничего не видя от слез. Уходит, чтобы молиться, чтобы утверждать еще и еще раз себя в близком конце света, чтобы глубоко ненавидеть все новое, молодое, непонятное ему, чтобы снова задрожать и задохнуться, увидев где-нибудь громадную фигуру Тихона. Уходит, чтобы, как алкоголик, как жаждущий, опять прийти недели через две к бывшему своему лабазу.

А придя, качаясь, приседая от слабости, прислоняясь к фонарному столбу, опять будет он терзать себя, проклинать, грозить страшными карами Тихону и всем, кто вместе с ним строит новую жизнь. И будет с тоской, с великой болью, мукой и радостью вспоминать старое — свою жизнь, свои успехи, богатство, даже прошлые свои неудачи. И все прожитое, решительно все будет казаться ему сладостным, прекрасным, истинным, а все новое — чуждым, враждебным, непонятным и несправедливым. И опять, выведенный из себя, будет рычать на него, будет жестоко насмехаться и толкать его в шею Тихон.

И люди, знающие об этой удивительной в своем постоянстве, ставшей уже сказкой города вражде, старики, помнящие молодого Тихона, его дикость, его бешеный нрав, уверены, что когда-нибудь не миновать беды: убьет Тихон Круглова. А уверенные в этом, заранее оправдывают убийство — сам напрашивается!

Трели-вали



1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются парходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зеваёт, зеваёт со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливаются бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоминный вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два — вни-

зу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» — думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки — рыбой, керосином и осокорью, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристаёт возле сторожки, моется, смотрит в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман, и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочках, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

— Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а... — слабо доносится издали.

Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеленя колени и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спрягалась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съезжившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — дико вопит он. — Стой, убью!

И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

2

Егор очень молод, но уже пьяница.

Пьяницей была и его жена, распушенная, потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный, в накинутом полушубке, в опорах на босу ногу, и видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубашке, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и, когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед, — упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

— Ну ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилося сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Неделаный я какой-то! — жалуется он, выпив. — Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на Первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестренка и тоненько вопит с того берега:

— Его-о-ор!..

Егор сумрачно выходит к воде.

— Его-орка, тебе велели иди-ить...

— Кто велел-то? — помолчав, кричит Егор.

— Дядя ...а-а-ся и дядя ...е-е-дя...

— А для чего они сами не пришли-и?

— Они не ...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

— Работа у меня, скажи, рабо-ота! — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, непрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

— О-о-ор... иди-и... — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении — и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, как служил во флоте на Севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курево... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие

яркие огоньки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубечком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погодя показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плицами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекатывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилы ему росистые луга и тихий плес, немила легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспомыслия; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба,

с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютom сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке: «Его-о-ор!»? И смутно, и знобко ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ложится к Аленке, будит ее и жалко и жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса — успокоенный, ленивый и насмешливый — через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотках. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

— Здорово, хозяин! — наигранно бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

— Здравствуйте! — уже слабее повторяет проезжий. — Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.

— Да трое только... Мы как-нибудь... — с робкой надеждой говорит проезжий. — Мы заплатим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И когда спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает:

— Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезают из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недольют. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменея лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

— Рыба, — говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, — у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... — он хкает, делает паузу и понижает голос, — но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая — полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидуху в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

— Где же щука-то? — спрашивают его.

— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, — не моргнув глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением, — он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе — ровно сто пятьдесят граммов, — быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

— «ЛМ-1», — отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, приклоненный к углу.

— Этот? Ну, это трали-вали! — пренебрежительно говорит он. — У Славки — болиндер, это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю болиндер против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил — ружье проспорил. Показать ружье? Заказная «тулка», бьет, как зверь, я на нее зимой, — он секунду думает, стеклянея глазами, — триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?

— Печка? — уже кричит Егор. — А кто может скласть? Ты можешь? Склады! Глина, кирпич есть, матерьял, словом. Склады, полтораста сразу даю, как пить дать! Ну? Склады! — настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. — Ну? Склады!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

— Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздра-

вить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запекает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет, — поет он на старинный русский манер, врасстяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто все — грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое, и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать и не сдерживать сладких слез.

— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра — как все видел он это в кино, — лениво потягивается и бормочет:

— Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятым и сильным кажется он теперь гостям.

Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затянет. Затягивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

Тогда хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну чего... Давай, что ли, это... А?

— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.

— Споем, что ли... дуэтом, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуэта», он встает, нечесаный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок.

— Далеко ль собрался? — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

— Пошли! — грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри разываются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту — к перевернутой дырявой плоско-

донке, у самой воды, в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и тепел, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передегиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

— Ну... — говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шепотом: — Только втору давай смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю...
Мо-о-орю си-и-инему...

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушко...

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петье:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охкется...

Трали-вали

Ах да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела вот так же и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизой орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

По дороге



1

Зима отстояла сиротская, как и все прошлые. Снег сошел быстро — дымом, паром на солнцепеке. Бились жеребцы в стойлах, грызли руки конюхам. Потом стали сипеть, захлебываться ревом, сотрясать дубовые брусья прикованные на ферме быки. Затрюкали на опушках дрозды, засвистели на вечерних зорях угольные скворцы, дурманом зацвела черемуха по оврагам. Бесстыдно оголенная с зимы деревня начала сокровенно прикрываться распутившейся рябиной, березами и сиренью по заборам.

И уж подернулись зеленым туманом поля, стала попыливать дорога, уж катило сухое лето, когда Илья Снегирев собрался опять в Сибирь.

Он решил уехать еще давно, в феврале.

Был вечер, когда Илья, замученный ездкими, вышел из конторы леспромхоза на заваленную обрубленными сучьями просеку, к своей машине. От машины — так же как от его телогрейки, ватных штанов, от рук и от шапки — пахло бензином. И Снегирев никогда не различал никаких запахов, кроме запаха пыли летом и мороза — зимой.

Но в тот февральский вечер стояла оттепель. Небо зеленело поверху, смугло рдело за лесом, деревья были черными и набухли. В воздухе так явственно тянуло весной, что Илья почувствовал ее, подышал, высморкался и, забираясь в настывшую кабину, тогда же решил ехать.

Не впервые весна срывала его с места. Побывал он и в Сибири — промучился там все лето в прошлом году, а вернулся осенью в злом разочаровании. Не понравилась ему барачная жизнь, и возненавидел он Сибирь с гнусом в тайге, с тонким, напряженным звуком МАЗов на дорогах.

Черно-белой, исполосованной снегом была земля, когда вернулся Снегирев домой. Лес стоял голый, мертвый, трава пожухла, дрожали на ветру былья, а по ночам мела крупной поземка. Потом повалил снег, морозило и оттаивало, и Снегирев радостно вошел в свою колею.

Он ездил днем и ночью — на станцию, в лес, даже в соседние районы, ночевал где придется, чтобы затемно нагреть воды, залить в радиатор, завести мотор и пить торопливо чай, переговариваясь о чем-нибудь незначительном с хозяином и с наслаждением слушая, как на улице мягко урчит машина.

Он любил ездить ночью по глухим дорогам, когда, кажется, один только ты не спишь на свете, когда машина валется и клюет носом, а ослепительное пятно света впереди прыгает от колес чуть не к самому горизонту.

По ночам, в одиноких рейсах, легко думалось о прошлом, забывалась обида на Сибирь, меркло все плохое, будто и не было его никогда, а оставалась одна красота и мощь горных кряжей, неистовых нерусских рек, бетонных тяжелых контуров плотин...

И, решив однажды в феврале снова поехать туда, в мае, за неделю до отъезда, Снегирев взял расчет.

2

Днем он отсыпается, чувствуя себя как в отпуску. Вечерами, нарядившись, ходит к соседям прощаться. Молчалив он и хорош, как именинник, но постепенно расходится и начинает говорить про Сибирь. Говорит он долго и складно, и у друзей его туманятся лица — им тоже хочется в Сибирь.

Домой Илья приходит поздно, снимает сапоги еще в сенях, ступает по избе в носках, думая, что мать спит. Напрощавшись и нагулявшись за неделю, последний вечер проводит он дома, собираясь в дорогу, и впервые замечает грустную нежность на лице матери и ее заплаканные глаза. Ложась спать, он думает о Сибири, о матери, которая остается одна, ему делается попеременно то грустно, то весело, — он курит украдкой и никак не может заснуть.

А утром, но не рано, Илья выходит из дому. Его никто не провожает, он не любит проводов. Идет с ним только мать. Все утро она проплакала и теперь, идя с сыном по деревне, задыхается, но говорит о вещах неважных.

На выезде, там, где дорога круто уходит вправо и, минуя перелески, тянется полем, попадаетесь навстречу им машина — везет кирпич со станции. Работает теперь на ней Мишка Фярсов, сосед и приятель Ильи.

Снегиревы сторонятся, их обдаёт весенней легкой пылью. Мишка кричит что-то на ходу, потом тормозит, выскакивает из кабины и возвращается к Илье.

— Едешь, значит? — спрашивает он, подавая Илье ладонь.

От Мишки теперь пахнет бензином.

— Еду, — говорит Илья.

— Гляди, может, опять не понравится?

— Не бойсь, понравится... — бормочет Илья и напряженно смотрит в поле. Он слышит, как мать сзади начинает неровно дышать.

— Эх!.. Отгуляли, значит, мы с тобой, — говорит Мишка и оглядывается на машину с работающим мотором. — Гляди, в общем... Закурим напоследок?

Они закуривают и некоторое время молчат.

— А как с Тamarкой? — вспоминает Мишка. — Улажено?

— Чего с Тamarкой! — отвечает Илья беспечно. — Захочет — приедет.

— Так... Ну, давай жми, в общем!

— Ладно, — говорит Илья.

Им хочется обняться, но чего-то стыдно, и они просто жмут друг другу руки.

— Прямо к поезду? — спрашивает Мишка.

— В самый обрез вышли, — говорит Илья, уже нетерпеливо переминаясь.

— А то я так часика через полтора опять на станцию, подвез бы... Ну, гуд бай!

Мишка бежит к машине, а Илья с матерью идут дальше. Через минуту они слышат, как Мишка дает газ и тяжело трогает.

Мать долго молчит, стянув платок на глаза, загоротив лицо от солнца. Наконец говорит рассеянно:

— Я тебе скажу, Тамара совершенство против твоих девок, — она старательно выговаривает «совершенство» и, видно, довольна, что так складно получилось. — Да и любит тебя Тамара по-настоящему, не как эти все льстят...

Илья молчит, но матери обязательно нужно говорить. И она говорит о Тамаре, о том, что будет перекрывать летом дом, о том, когда настанет ее очередь распахивать огород на усадьбе, и опять о Тамаре. Илья смотрит на часы и прибавляет шаг. Мать начинает торопиться, семенить. Мысли ее путаются.

— Ну, сынок... — говорит она и останавливается.

Илья тоже останавливается, ловит на себе выцветший, близорукий, любящий взгляд матери и начинает тереть переносицу. Рот его ведет на сторону, все в нем замирает, но он выпячивает подбородок и приподнимает брови, делая спокойное лицо.

— Дай я тебя... тебе... — говорит мать и мелко крестит его. — Иди, иди, тебе ходчее надо идти, а я еще... я тоже... пойду потихоньку.

— Я вам напишу, мамаша! — говорит Илья высоким голосом и неумело целует ее. — Не хворайте!

— Не дерись там, одевайся теплей... Может, там холодно еще, в Сибири этой, — говорит мать, стараясь не заплакать.

— Да бросьте вы, мамаша! — слишком бодро отвечает Илья. — В первый раз еду, что ли? Вы себя берегите, пишите мне, как и чего. А денег вам я пришлю с первой же полочки.

Он еще раз обнимает ее, потом поворачивается и быстро идет по дороге. Он сопит, глаза ему щиплет, в горле чешется. Шагов через двести он успокаивается, дышать начинает ровней, переносицу уже не трет, и лицо его принимает то сосредоточенно-мечтательное выражение, которое держалось на нем всю последнюю неделю.

Он смотрит на легкие слоистые облака, двигает скулами, сглатывает и видит почему-то уже северный Енисей между громадами скал, сопки, тайгу, бледные электрические огни рабочих поселков при свете белой ночи.

Еще шагов через двести он оборачивается. Мать потихоньку бредет следом, держа руку козырьком. Илья останавливается, вынимает платок и машет матери. Но мать не отвечает.

«Не видит!» — растроганно думает Илья, вздыхает и идет дальше.

В то время как он идет все быстрее, все шире и решительней, мать останавливается и с радостной улыбкой машет ему рукой. Ей кажется, что сын повернулся и смотрит на нее. Она даже различает его лицо. И ей удивительно, как это она сквозь слезы все хорошо видит.

Далеко в поле катится по меже точка — бежит какая-то девчонка в сторону леса. «А ведь так вот и мать моя бегала когда-то!» — думает Илья с любовью и печалью и оглядывается. Мать уже так далеко, что нельзя понять, остановилась она или еще бредет.

Но мать все идет, все не может повернуть назад. Слезы набегают ей на глаза, и она оттирает их концами косынки. Ей теперь не нужно сдерживаться, одна она в поле... «Господи! — думает она. — Не нужен им дом родной! Ездют, ездют, вся земля поднялась — время какое ноне настало! В рубашончке... бегал босый, беленький, Царица Небесная! А теперь эвон — полетел!..»

Она останавливается, всхлипывает, смотрит из-под руки вдаль. Давно скрылся Илья, растворился в струистой голубизне горизонта, а матери кажется, что видит она его: повернулся он тоже, машет ей, прощается.

Она глубоко, с перерывами, вздыхает и слабо помахивает ему в ответ.

Лёгкая жизнь



1

Пролетая разъезды и полустанки, не останавливаясь даже на многих больших станциях, поезд мчится на север. И во всем поезде нет на этот раз человека счастливее, чем Василий Панков.

Пять лет не был Василий дома и ничего не писал о себе. Да и о чем писать? Живет он легко, любит переезды, дальнюю дорогу, незнакомые города. Привык к вокзалам с неизменными специфическими запахами, к транзитным кассам, к районным гостиницам, общежитиям...

Бродяга по натуре, он редко вспоминает о тех местах, где пришлось ему побывать. Вновь его туда не тянет, даже не все эти места он и помнит хорошо. Так много городов он повидал, поселков, глухих мест — где же запомнить!

Два последних месяца он работал на монтаже турбинного котла, перевыполняя нормы, торопясь кончить работу до срока. На пологом голом берегу реки, рядом с лесозаводом, с огромными штабелями выкатанного леса, торчало недостроенное кирпичное здание электростанции. Крыши не было еще, были только лебедки, трубы котла — изогнутые, похожие на скелет огромного доисторического животного. Были связки тросов и канатов, бревна, балки наверху, на фоне бледно-синего неба, и целый день солнце, солнце... И пыль, и пот, крики рабочих, спешка, ругань, шипение автогенной сварки, частый гулкий стук пневматических молотов, запах карбида, опилок и шлака, липкого от нефти.

Настало время подъема смонтированного и спрессованного котла. Комиссия сомневалась в прочности тросов и лебедок, и Панков, взявший ответственность на себя, бледный, несмотря на смуглоту, стоял на мостике, слушал скрип

тросов, блоков, шелкающий треск лебедок, облизывая пересохшие губы, смотрел на еле двигавшийся вверх и застывавший скелет котла. А рядом с ним стояли и смотрели, стискивая зубы, и хрипло дышали все одиннадцать человек, вся его бригада.

2

На другой день бригаде вручали Почетные грамоты, а вечером он напился, с кем-то дрался, с кем-то целовался, плакал, хотел топиться и утром, проснувшись в общежитии, избитый, в изодранной рубашке, с больной головой, долго не мог прийти в себя и не мог ничего припомнить из вчерашнего.

Теперь он едет домой. Он в том легком расположении духа, когда все кажется простым и прекрасным, когда ни малейшая забота не омрачает жизни. Нет теперь у Панкова никаких желаний, кроме желания отдохнуть, пожить дома, отоспаться на сеновале, по пьянствовать, поиграть на гармошке — словом, у него отпуск!

Думает он только о деревне, перебирает в памяти всех деревенских, вспоминает их голоса, язык, походку, лица... Повидать их всех — вот что с радостью предвкушает он. О своей недавней работе, о монтаже котла Панков не вспоминает.

На другой день Василий Панков выпивает коньяку на какой-то станции и возвращается в вагон веселый, беспрестанно улыбаясь и играя глазами.

Василий русоголов и странно смугл лицом и телом — в деревне его все зовут Копченым. Глаза у него серые, веселые, нагловатые. Вообще же он весь подборист, суховат и щеголеват: любит шелковые рубашки, галстуки и нарочно шьет себе широкие внизу брюки. И знает, конечно, о себе, что нравится девушкам.

Сближается он с ними быстро, но так же быстро и расходится: они ему надоедают. Про себя он решил давно, что женится в двадцать восемь лет и непременно на своей деревенской. Он уверен, что мать уж присмотрела ему двух-трех невест, что все они хороши: здоровы, красивы, из хороших се-

мей, где нет ни пьяниц, ни придурков в роду. Так женились его отец и дед, его старшие братья и соседи, так женится и он.

После коньяка Василий быстро пьянеет, громко хохочет, громко говорит, обращаясь ко всем без разбору, к соседям, к проводникам, к старым и молодым.

— Мамаша! — говорит он. — Вы, конечно, меня извините... Извините! Я — как стеклышко! Ну, выпил, правда... А разве есть такой закон, чтобы не пить? Кто я? Строитель! Да? Мамаша! Меня в Москву звали — полторы сотни оклад, да? А я у себя в командировках больше заработаю, да? Не веришь, мамаша?

И он невнятно толкует о заработках, о каких-то инженерах, презируя их дипломы и образование, презируя вообще культуру, выше всего ставя опыт, хвастаясь своей необходимостью. В соседнем купе начинают играть в подкидного. Василий идет туда, тоже садится, но играет плохо, путает ходы, роняет карты и все говорит, с восторгом вспоминая какого-то однорукого, как он с ним играл и как однорукый ловко сдавал карты и помнил все ходы.

В вагон входит чернявый полненький человек в белом халате, с розовым гладким лицом, с золотыми зубами и маслянистым блеском глаз. Он останавливается в вагоне посередине прохода и говорит звучным, сытым баритоном, быстро всех оглядывая и быстро улыбаясь заученной золотой холодной улыбкой, портящей его сытое красивое лицо.

— Дорогие товарищи! Наш ресторан к вашим услугам! Что? Перебивать будете потом! Холодные и горячие закуски! Большой ассортимент вин...

Встрепенувшись, Василий Панков тотчас идет в вагон-ресторан, качаясь на переходных площадках, не закрывая за собой дверей, толкая пассажиров. В ресторане он опять пьет коньяк, еще больше пьянеет, знакомится с кем-то из другого вагона, идет с ним туда, приглашает его к себе в деревню, всех перебивает, пытается что-то рассказать, хочет казаться умнее, образованнее, чем на самом деле, но пьяная глупая серость так и прет из него.

Часа через два он возвращается в свой вагон, присаживается к шахматистам, подсказывает, мешает им, потом

играет сам. Утомив и выведя из себя партнера, он начинает ходить по вагону.

— Ну, с кем сыграем? — громко предлагает он. — На сто пятьдесят грамм! Даю форы: ладью... Ну? Кто желает?

Никто не хочет с ним играть.

— Никто не желает? Слабаки вы все против меня! Эй, курчавый! — обращается он к совершенно плешивому толстяку. — Сыграем, курчавый, тебе я две ладьи уступлю, а?

Тот отворачивается к окну, делает вид, что не слышит. Шея его наливаясь кровью.

— Седой, а? — не унимается Василий. — На двести пятьдесят, а? Не желаешь? Обиделся, седой, а? Извините... Извините!

Какая-то девушка, которой Василий нравится, не выдерживает и прыскает. Приободренный Василий, чувствуя, что все обращают на него внимание, начинает еще пуще ломаться, ему весело, ему кажется, что он ужасно остроумен. Он каламбурит, говорит присказками, поговорками — дорожными, стертыми и пошлыми.

Наконец он все-таки устает, замолкает и скоро засыпает на своей полке. Спит он, свесив руку, раскрыв рот, пуская слюну на подушку и громко всхрапывая.

А поезд между тем все мчится и мчится на север; день проходит быстро. Меркнет небо за окном, темнеют поля, леса становятся сумрачными, заря бледнеет и гаснет.

Скоро в вагоне зажигают свет, начинают разносить чай, и незаметно наступает вторая ночь в дороге.

3

Хорошо ехать ночью в поезде!

Вздрагивает, качается вагон на стыках рельсов, неярко горят матовые лампочки под потолком. Скажет кто-то невнятное слово во сне, слезет кто-нибудь с полки, сядет у окна, закурит, задумается. Все приглушено в этот час, все тихо, только внизу длинный гул и перестук колес.

А за окнами темная, безлунная ночь. Промелькнет изредка слабый огонек в путевой будке обходчика, проплывет мимо, как видение, глухой полустанок с непонятным назва-

нием, с единственным фонарем на перроне и березами в палисаднике, и снова подступает к окнам непроглядная мгла, и не понять, лес ли за окном, поле ли.

Промчится с пронзительным гудком встречный поезд, рванутся, затрепещут под напором ветра занавески, плотной струей пронесутся мимо освещенные окна, искрой мелькнет красный фонарь на заднем вагоне. И странно тогда думать, что в прогудевшем минуту назад встречном поезде тоже едут люди, едут туда, откуда ты, может быть, только вчера уехал, так же сидят в вагонах, негромко разговаривая, мечтают о чем-нибудь, или спят — и снятся им особенные сны, — или смотрят в окна, и у каждого своя судьба за плечами, у каждого своя жизнь впереди. Кто все эти люди? Куда едут они, что им снится, о чем так глубоко задумываются, о чем говорят и чему смеются?

Хорошо ехать ночью в поезде!..

Хорошо думать о том, что мимо проплывают темные деревни, озера, стога, глухие сторожки и реки, которые угадываешь только по гулу мостов.

Появится где-то в неизмеримой черной дали дрожащая красная точка костра, долго держится почти на одном месте, потом погаснет, заслоненная косогором или лесом. Или вынырнет откуда-то автомашина, бежит рядом с поездом, перед ней прыгает светлое пятно от фар, но и машина мало-помалу отстает, и вот уже снова темно...

Сколько же земли осталось за тобой, сколько деревень, станций промчалось мимо, пока ты спишь или думаешь! И в этих деревнях, на этих станциях живут люди, которых ты не видел и не увидишь никогда, о жизни и смерти которых ничего не узнаешь, так же как не узнают и они о тебе.

Как сожмется сердце от мысли, что великое, непостижимое множество судеб, горя и счастья, и любви, и всего того, что мы вообще зовем жизнью, тебе никогда не придется увидеть!

Стучат колеса, и ты едешь навстречу новому, неизвестному, и то, что было вчера, все позади, все прожито! Как много думается обо всем этом под равномерный стук колес, под гул быстрого движения!..

Василий Панков просыпается в час ночи. С минуту он тупо размышляет о том, куда и зачем едет, потом все вспоминает и немного оживляется. Голова у него болит, но уже поздно, все закрыто, и негде опохмелиться. Тем не менее с каждой минутой он все веселеет: скоро его станция! Закурив, он выходит на площадку, открывает наружную дверь и крепко хватается за поручни.

В лицо ему бьет ветер, дергает волосы, выдувает из глаз слезы. По траве, по кустам, по телеграфным столбам прыгают желтые пятна света из окон. Впереди при поворотах видны скрученные снопы искр от паровоза, быстро раскручивающиеся и тающие в темноте. Наверху, в глубоком пепельном небе, светятся бесконечные звезды, сияет, дымится Млечный Путь, а к северу — будто бездонный провал: нет звезд, и ничего нет, одна глухая черная пустота.

Панкову радостно. Сколько километров осталось до дому? Три? Пять? Он дышит глубоко и трудно, с усилием выталкивая из груди плотный воздух, но не хочет отвернуться, не хочет уйти в вагон.

А черная пустота все надвигается, теперь только над головой горят звезды, а Василий все не может понять, что это такое. Но вот в лицо ему бьют первые сильные капли дождя, ветер холодеет, и тут только Василий понимает: то, что раньше казалось пустотой, было на самом деле дождевой тучей. Он отступает в глубь площадки, вытирает мокрое лицо холодной рукой и идет в вагон.

В вагоне душно. Панков останавливается возле своей полки, смотрит вдоль длинного, слабо освещенного прохода с торчащими с полок ногами, пробует свои чемоданы и, подумав, надевает пыльник и шляпу.

Хлопнув дверью, выходит на площадку проводница. Поезд начинает притормаживать.

— Торбеево! — говорит проводница, возвращаясь. — Кто до Торбеева?

Василий встает, одергивает пыльник, поправляет шляпу, торопливо закуривает, снимает тяжелые чемоданы и, задевая за ноги спящих, тащит к выходу.

— Ну вот... приехали! — радостно бормочет он проводнице и спешит выходить.

На станции дует свежий ветер с мелкой пылью дождя. Панков спускается на землю, ставит чемоданы, смотрит вперед, потом оборачивается назад: никого не видно. На земле, на лужах лежат квадраты света из окон поезда. Проводница тоже спрыгивает на землю, быстро оглядывается, будто на- всегда хочет запомнить эти лужи, запах чистой мокрой травы, черные телеграфные столбы.

— Что, не встречают? — весело спросила она Панкова, ожидая услышать от него тоже веселый ответ.

Но Василий хмуро молчит. Он растерян и встревожен. В палисаднике торчит одинокий фонарь, светит, помаргивая, сквозь березы. Подальше виднеется здание станции с освещенными окнами, все остальное тонет в темноте.

Не дождавшись ответа, проводница, показывая крепкие икры, лезет на площадку. Впереди, возле багажного вагона, кто-то машет фонарем. Тонко свистит паровоз, со звоном дергаются вагоны. Проводница, вытянув наружу руку с фонарем, другой рукой поправляет берет.

— Гляньте на станции, может, от дождя прячутся! — кричит она напоследок.

Василий поправляет шляпу, вздыхает, берет чемоданы и медленно бредет на станцию мимо палисадников. Его все быстрее и быстрее обгоняют вагоны.

5

Он входит в темный коридор, задевает за что-то железное, сваленное у стены, нашаривает и открывает дверь.

На станции он был последний раз лет пять назад, но, войдя в большую комнату, видит, что здесь ничто не изменилось. На стенах все так же расклеены плакаты, призывающие к выборам, графики движения поездов, правила для пассажиров. Горит большая лампа в потемневшем абажуре из газеты, лежат на столе желтые крупные огурцы, хлеб...

На лавке, положив под голову сумку с инструментами, спит железнодорожник. Откиннутая рука его черна и блестит от мазута. У ног его на полу чадит фонарь. Топится почему-

то печь. Пахнет махоркой, березовым дымом от печки и раскаленным железом.

В углу кто-то сладко и долго зевает, из-за печи выглядывает красное лицо старика с рыжей бородой и заплывшими глазами. Увидев Василия Панкова, старик изумляется, виновато моргает, стаскивает с головы шапку, вылезает из угла и протягивает заскорузлую, шершавую ладонь.

— С приездом тебе... А я тебя дожидаюсь! — неуверенно говорит он и улыбается, показывая желтые, съеденные зубы.

— Дядя Степан! — Панков сразу узнает своего соседа и дальнего родственника. — А где мамаша?

— Кого?

— Чего с матерью-то моей? Не заболела?

— С мамашей-то? А чего с ей? Жива-здоровая, тебя ждет. За тобой приехал. Забегала, съездий, говорит, устреть...

— А я уж думать разное стал, — облегченно говорит Василий. — Ты на лошади, что ли?

— Гы-гы! — смеется Степан. — Ай ты не знаешь? Дрезина у нас теперь! На лошади... Чудак-человек!

Степан суетится, собирает в углу какие-то мешки, сумки, связывает и развязывает веревочки.

Собравшись, он восхищенно осматривает Василия, крикнув, берет чемоданы, косолапо перешагивает порог, топает по коридору, выходит на улицу и, отвалясь на левую сторону, шагает к дрезине.

Василий идет за ним. Дождь по-прежнему моросит, шумят березы, блестят под фонарем мокрыми листьями. Там, где недавно стоял поезд, тускло светятся рельсы, чуть подалее, на запасных путях, темнеют длинные груженные платформы.

— Чего-то не слышать было про тебя? Как живешь-то? — спрашивает Степан, останавливаясь и взваливая чемодан на плечо.

— Живу нормально! Инженером-практиком работаю, — привирает Василий. — Зарабатываю — дай бог всякому! Строим все... Секретное строительство! — опять не выдерживает он, чувствуя, как все дрожит в нем от удовольствия.

— Ну? — удивляется Степан и смачно сплевывает. — Строите, значит. Это — дело хорошее. А у нас, Василий Егорыч, тоже такое строительство пошло, всю деревню взбуровили. Теперь комбинат у нас на этом берегу, поселок, народищу тьма, москвичей понаехало. Девки ровно ошалели: как вечер — в комбинатский клуб, и уж отсюда никоим образом не вытащишь. А многие кто и работать туды поустроились, председатель наш аж за голову взялся.

— Ого! — в свою очередь удивляется Василий. — Ну, а ты как?

— Кого?

— Ты-то как, спрашиваю?

— Я-то? Хо! — Степан оживляется. — Один я... Один! Старуха-то, слышь, померла! Второй год с Покрова пойдет. На Покров и померла. Отволок я ее на погост, поминки исделал, все натурально, честь честью. Девки у меня, знаешь? Девок я еще раньше замуж повыдал, ну их, живут там у себя. Один я теперь — ах, хорошо! Хошь, у меня поживи — весело живу, изба здоровая, хоть катайся!

Подходят к большой дрезине-мотовозу.

— Все или еще кто плетется? — спрашивает московским говорком шофер, докуривая папиросу.

— Все! — уверенно откликается Степан, карабкаясь на подножку.

Шофер бросает окурок в лужу, сигналит и прислушивается.

— Тогда поехали! — говорит он и заводит мотор. — А кто опоздал, тот пускай Богу молится!

Дрезина трогается, вспыхивают фары, вырывая из темноты дорожные знаки, щиты, уложенные наперекрест шпалы, одинокие голые сосны. Проскакивают стрелки. Постукивая на стыках, дрезина набирает ход, со звонким гулом несется в темноту. Немногие пассажиры смолкают, смотрят в окна, туманя стекла своим дыханием. Мчатся уже с каким-то зловещим воем, сильно раскачиваясь. Мимо сплошной черной стеной летит лес. Редко попадаются фонари, освещающие длинные склады или просеки. На стеклах видны тогда косые извилистые капли.

Василий, совершенно счастливый оттого, что скоро увидит мать, что в дрезине тепло, пахнет бензином и чемоданами, оттого, что дождь перестает — на темном небе начинают показываться фиолетовые клочки со звездами, — сидит, отвалиясь, широко расставив ноги, сдвинув на затылок шляпу. Он любит старика Степана, любит шофера и пассажира, любит быстроту, с которой они мчатся, и прорывающийся в щель чистый родной воздух.

— Дядя Степан! — наклоняется он к старику. — Ты зайди к нам-то, посидим, выпьем... Да? Эх, и дадим мы с тобой сегодня жизни!

Борода старика приподнимается и расширяется. Он лезет в карман, нагибается к коленям, делает что-то в темноте, потом чиркает спичкой и закуривает: оказывается, делал папиросу.

Дрезина мчится, изредка гнусаво гудя. Впереди брезжит зарево огней лесоккомбината. Степан шевелится, вытягивает шею, поглядывает вперед через плечо шофера. У него тоже радостные мысли. Скоро они приедут, в доме Панковых поднимется переполох, придут соседи, начнутся разговоры, подарки...

6

Дома у Василия выходит все так, как он мечтал. Пьет. Каждый день гуляет, играет на гармошке, заново знакомится с девушками, а они заигрывают с ним. Ходит он с ними в комбинатский клуб, в соседнюю деревню, хвастает своей жизнью и ловит со Степаном рыбу на перекатах.

Все эти дни он неизменно счастлив. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, он чувствует обожание и нежность матери, соскучившейся по нем, чувствует, что он хорош, молод, нравится девушкам, и уверен, что все они мечтают выйти за него замуж. И большего ему не надо.

Но однажды он просыпается под утро в повети, где обычно спит. Будто чей-то голос внятно произнес его имя, позвал куда-то. Проснувшись, он слушает, как вздыхает внизу корова, как возятся мыши в сене, и жадно курит, подставляя ладонь под огонек папиросы, чтоб не заронить искры.

Внезапно он ощущает знакомую тоску по дороге, по вокзалам, по гостиницам... Ему надоело! Жизнь в деревне, на родине, кажется ему уже скучной, непривлекательной. И он мучительно думает, куда бы поехать на оставшееся время, идет в избу, пьет молоко, считает у побелевшего окошка деньги, прислушивается к сонному дыханию матери и опять думает.

Наконец он вспоминает, что есть у него кореш в далеком южном городе, что как-то зимой кореш писал ему и звал к себе. Вспомнив и тотчас решив, не откладывая, ехать к этому корешу, поживившись от радостного озноба, идет опять в поветь, ложится в сено и засыпает.

Днем он укладывается, говоря матери, что работа не ждет. Потом обходит соседей, родных, прощается, особенным образом жмет руки случившимся не на работе девкам, некоторых торопливо целует в темных сенях, всем обещает писать, зная, что не напишет, и идет домой.

Здесь уже топчется огорченный Степан, мать плачет украдкой, сморкается в фартук, и Василий тоже пригорюнивается на минуту. Но в груди у него поет радость, сердце бьется быстро: в дорогу, в дорогу!

На станции Василий томится, дядя Степан раскупоривает бутылку и сумрачно выпивает, а мать сидит подпершись, смаргивает слезы и не отрываясь глядит на сына. Когда Василий приехал — в тот счастливый поздний вечер, — бегала она по дому, ног под собой не чуя, вся пылала от радости и совсем молодой казалась. А теперь вот, на станции, сидит старуха старухой и все глядит на сына.

— Что это ты какой-то?.. — время от времени говорит она. — Пожил бы еще... В дому-то родном и пожить. И не напишешь никогда матери-то, как же это ты! Докуда же ты так будешь? И гнезда у тебя нет, всем ты чужой.

Дядя Степан тоже глядит на Василия, тоже хочет что-то сказать, но только крикает и еще выпивает.

— И теперь вот, куда едешь? — говорит мать и тоскует.

Василию становится вдруг жарко. Он свешивает голову и думает о своей жизни. А и надоело же в самом деле! Все какое-то случайное, и друзей настоящих нет, и ничего нет — одна дорога, одни вокзальные буфеты в памяти.

И жалко становится ему себя, какая-то горечь, неудовлетворенность наполняют сердце, скучно и стыдно как-то делается, и сказать нечего.

А еще через два часа, простившись с матерью, обняв и расцеловав ее напоследок, пожалевши ее и себя заодно, вытерев глаза, через два часа он сидит в вагоне-ресторане.

Поезд мчится на этот раз на юг, за окном опять мелькают деревни, станции, дороги, поля, леса... Напротив Панкова сидят два молоденьких лейтенанта в парадной форме. Оба темноволосы, оба с пробивающимися усиками, оба со значками училища, оба довольны и веселы, оба не отрывают глаз от сидящих за спиной Панкова девушек, смеются, шепчутся, пьют пиво, курят, пуская дым тонкими струйками вверх, и краснеют, когда девушки взглядывают на них.

Василий Панков быстро пьянеет, ему хочется говорить, шуметь, обращать на себя внимание. Он встает, покачиваясь, со стаканом в руке подходит к компании за соседним столиком, чокается со всеми, что-то говорит, хлопает всех по плечу.

— Вы меня извините... — говорит он. — Извините!

Потом возвращается к своему столику, с чувством превосходства и одновременно зависти смотрит на лейтенантов, провожает взглядом официанток, слушает радио, впитывает весь этот ресторанный воздух, с волнением думает о городе, куда он едет, забыв уже о своей матери, о родном доме, о Степане, о девчатах, и опять, пожалуй, во всем поезде не найдется человека счастливее, чем он.

Легкая жизнь! Мчится по земле, спешит, не оглядывается, всегда весел, шумен, всегда самодоволен. Но пуста его веселость и жалко самодовольство, потому что не человек он еще, а так — перекаати-поле.

Ни стужу, ни грюку

1

Старик, хозяин сарая, в первый же вечер пришел к ним заспанный, босой и забормотал, поддергивая спадавшие штаны:

– Поскольку, конечно, я разрешил... Только по летнему времени то есть... Оно ничего, живите, вам чего ж – развлечение! Только поскольку сушь, извините, это я насчет курева, значит, чтобы упаси бог...

А через минуту уже сидел с охотниками на пороге сарая, курил, вздыхал, сморкался и говорил, что пастухи каждый день видят волков, что в Заказном лесу спасу никакого нету от тетеревов и что в полях, за ригами, жуткое дело перепелов.

Охотников было двое. Младшему – Саше Старобельскому, студенту, почти еще мальчику, худому, застенчивому – все казалось счастливым гулом в тот первый вечер.

Вчера только выехал он из Москвы, всю дорогу не отрывался от окна, жадно глядел на входящих и выходящих на станциях. Ехал он на Смоленщину к приятелю, был напряжен и общителен от первой самостоятельности, от мысли о будущих охотах и о деревенской жизни.

Но в Вязьме в вагон сел Серега Вараксин из Мятлева, бросил на верхнюю полку свернутые пустые мешки, сильно и неприятно пахнувшие, положил на лавку арбуз, разрезал его с хрустом и стал есть, сербая, захлебываясь, быстро по очереди оглядывая всех в вагоне.

Был он губаст и красноглаз, с набрякшими лиловыми руками, был в меру выпивши и весел – в Вязьме удачно продал он свинину. Сашу Старобельского он сразу стал звать студентом, а узнав, что тот едет на охоту, загорелся, стал рассказывать, какая пропасть дичи у них в Мятлеве.

— Студент! — говорил Вараксин. — Ты меня слушай, я дело говорю. Я электриком работаю. Совхоз наш — на всю область! Ты куда едешь-то?

— На Вазузку, — счастливо отвечал Саша.

— Э! Я там был. Я везде был, всю область знаю. Ты у меня спроси про охоту! Вазузка твоя ни хрена не стоит, верно тебе говорю! Хотишь поохотиться — валий к нам в Мятлево. У меня лесничий друг, у нас кого хотишь хватает: перепелки есть, уток на озерах темно, гуси — верно тебе говорю!

И заговорил доверчивого Сашу до того, что тот даже сомлел как-то и ничего уже не чувствовал, кроме того, что счастлив необыкновенно и что жизнь прекрасна.

Дальше все происходило как бы само собой. В Мятлеве сошли ночью, сразу пошли полевой дорогой, и сразу же, едва ушел поезд, Саша почувствовал, как кончилась, ушла одна жизнь и наступила для него другая, резко отличная от прежней — глухая, таинственная.

Полыхали по горизонту зарницы, будто мигал и мигал им дух лесов и полей. Не было луны, но звезды были так ярки, так обильны, что все было ими освещено: тонкие прозрачные облака наверху и — внизу, на земле — кусты, поля с редкими, узкими межами, стога сена, еловые лески близ дороги.

Пахло на дороге землей, сухим подорожником. По сторонам все что-то похрустывало, цвиркало, попискивало. Подходили черные телефонные столбы, и тогда слышен был слабый, но внятный многоголосый звон, хотя и не было ветра совсем, и непонятно было, почему же звенят столбы.

Попадались бревенчатые, расшатанные, расщепленные тракторами мосты через противотанковые рвы, давно превратившиеся в заросшие кустами и камышом канавы. Кое-где в канавах черно, маслянисто поблескивала стоячая вода.

До деревни Сереге было, как он говорил, пятнадцать километров. И раньше, в поезде, расстояние это Саше представлялось пустяковым. Но вот они все шли и шли, и по-прежнему тянулись по сторонам поля и лески, попадались братские могилы с немо чернеющими обелисками, а дорога по-прежнему уходила во тьму. И уж Саша устал, уж ему ка-

залось, что они давно прошли не только пятнадцать километров, но и все тридцать, и что дороге этой, и ночи, и таинственным звукам, и легкому страху, который он начал испытывать, не будет конца.

— Стой! — сказал вдруг шепотом Серега и, затаив дыхание, прислушался. — Ну-ка, студент, вынь ружье!

— Зачем? — тонко спросил Саша, вынимая ружье.

Серега промолчал, а Саша стал торопливо распаковывать рюкзак, доставать глянцевитые картонные патроны с блестящими медными доньшками.

— Затем, что пришить могут! Деньги у меня, пятьсот рублей. Понял? — грубо, с удовольствием от мысли, что пугает студента, и сам еще больше пугаясь, сказал Серега. — Пошли ходчее!

Часто оглядываясь, они потом почти бежали дорогой, переходя иногда на сокращающие путь тропки. Саша задыхался, с тяжелым рюкзаком и ружьем, а Серега все нажимал, часто, твердо стучая сапогами по убитой земле.

Наконец попалась возле риги на дороге большая куча светлой соломы, оставленной комбайном. Солому не стали обходить, полезли прямо по ней. Она пружинила и трещала под ногами.

Тотчас стала видна река, а за рекой совхоз, далеко и неясно белеющий своими постройками. Они перешли реку по плавням, пришли к Вараксину и, не ужиная, легли спать. А утром, по холодку, поехали в далекую деревню Кунино.

2

Первым просыпался Саша, вылезал из-под тулупа и будил Серегу. Солнце поднималось медленно, было ярко-бело, но холодно. Охотники шли гуськом, по заливному лугу, оставляя за собой сочно-зеленый след. И чем ближе подходили к мелочам, которыми начинался Заказной лес, тем быстрее шагал Саша, бледнел, сутулился и задолго до мелочей не выдерживал, снимал ружье и взводил курки.

А Серега при каждом шаге подрагивал мясистыми щеками, щурился, зевал, поглядывал на чистое, иссиня-бирюзовое небо и оступался на кочках.

— Студент! — начинал он с хрипотцой. — А ведь мы с тобой папуасы!

— Почему это? — не сразу откликнулся Саша.

— А как же! — Серега оживлялся и догонял Сашу. — Сапоги бьем попусту. Нам бы с тобой сейчас по бабе какой-нибудь, по мордатой! А? Студент!

— Отстань! — Саша краснел и прибавлял шаг.

— Эх! А какие бабы бывают! — Серега покашливал и раздувал ноздри. — Схватишь ее...

— Тише ты! — страдальчески шептал Саша, пригибаясь.

И, как всегда не вовремя, со страшным шумом, от которого тело Саши становилось гофрированным, вырывался из пустоты тетерев и ошалело лопотал между берез. Саша посылал ему вдогонку выстрел, конечно, промазывал и бешено смотрел на Серегу, переменяя патрон. Серега виновато помаргивал, и охотники уже молча, деловито и осторожно шагали дальше.

К полудню солнце напекало, Серега валился в тень, под кусты, отбирал у Саши рюкзак и начинал с жадностью, с наслаждением пожирать яйца, хлеб, холодную с застывшим жиром баранину, запивая все это сболтавшимся молоком из бутылки.

Саша, покружив в лесу, сморенный жарой, тоже подходил, ложился, смотрел в небо до головокружения. Немного погодя он неохотно принимался за еду, неохотно и хмуро слушал наевшегося, распустившего ремень на брюках Серегу. А тот, позевывая, порыгивая, ковырял спичкой в зубах, пристально и сонно смотрел на какую-нибудь березу и говорил:

— Девки — это не вещь. Ты с девками не связывайся: кино там, клуб, да танцы, да всякие слова ей надо произносить, идейное чего-нибудь, да этих самых слез, попреков не оберешься. Я с ними намучился! Нет, ты возьми бабу... кха! — ба-бу!

— Брось! — с тоской просил Саша. — Как не стыдно!

— Слушай сюда, дура, дело говорю! — насмешливо отвечал Серега и еще больше оживлялся, ворочался, закидывал ногу на ногу. — Даже не бабу, нет, ты на вдову погляди, не на молодую, а этак лет под тридцать пять — самый цимис! — погляди ты на вдову или на разведенную, да чтобы на морду

была не прекрасная. Претензий у ней к тебе никаких насчет там женитьбы и прочего, зато уж душеньку с тобой она натешит, уже она натешится... «И всю-то ночку ласкала меня!» — заорал вдруг он и сел, поглаживая ляжки.

— Студент! — скашивая на Сашу налившиеся кровью глаза, начинал он снова. — А ведь и гады мы с тобой! А? Папуасы! Сколько баб по деревням... Пошли домой!

— Иди ты к черту! — говорил Саша, брал ружье, брел в лес, а подумав, плелся за ним и Серега.

3

На пятый день Серега на охоту вечером не пошел, начистил сапоги, накинул пиджак и отправился в клуб.

Саша один бродил по золотившемуся и розовевшему под низким смуглым солнцем жнивью, вспугивая перепелов, с наслаждением стрелял, бегал поднимать их — тугих, теплых, — клал в сумку и устало улыбался, вытирая рукавом пот.

Скоро стемнело и похолодало. Выйдя к реке, Саша разделся под кустами, забелел нежным худым телом, разбежался, взвизгнул, бухнулся и долго плавал, беспокоя гладкую, темную под берегом воду.

Освеженный, легкий, пришел он в деревню, отдал перепелов хозяйке, ужинать отказался, выпил только парного молока, пошел в сарай, немного помечтал по своему обыкновению и скоро уснул.

А Серега пришел поздно ночью, сопя, залез на сеновал, снял сапоги, разделся, потянулся, зевнул и полез под тулуп к Саше. Умявши подушку, устроившись и согревшись, он толкнул Сашу.

— Ну как, настрелял чего? — спросил он добродушно.

— Перепелок... — невнятно, сквозь сон сказал Саша.

— Ну! А я, брат, сегодня запохаживал. — Серега понизил голос: — Такую девку отколол! Третий двор с краю, видал? Оттуда. Девятнадцать лет, черт... Десятилетку кончила.

— Ты же не любишь девчонок, — не утерпел Саша и язвительно усмехнулся в темноте, уже окончательно проснувшись, с удовольствием нюхая, как пахнет подушкой и сеном.

— А это смотря по тому каких, — нашелся Серега.

— Как же ты с ней познакомился? — спросил, помолчав, Саша.

— Ну, это для меня не вещь! Любовь крутить да письма всякие писать — плевое дело!

Он сел, нашарил в темноте брюки, достал папиросы, закурил, лег и продолжал:

— Пишешь, к примеру, ты девке, к примеру, звать ее Люба... Пишешь: «С горячим приветом к вам, Люба, неизвестный вам передовой электрик Сергей Вараксин. Поскольку несем мы героическую вахту на благо всего советского народа, то я весьма интересуюсь, Люба, знать про ваши дела в вашей повседневной жизни и учебе».

Сергея засмеялся от складности того, что говорил, и возвысил голос:

— Ты, Люба, писала в своем письме, что веришь в чистую дружбу. Вы, конечно, меня не знаете, но вы скоро меня узнаете путем переписки, а возможно, и личной встречи. А в этом вопросе современности я с вами целиком и полностью согласен и предлагаю свою горячую верную дружбу. Люба, напиши по этому поводу, какого вы мнения. А пока, Люба, посылаю вам свою фото, какой взаимно жду и от вас...

— А на фото, — добавил он, посмеиваясь, — надо написать так: «Люби меня, как я тебя, и будем мы навек друзья», или: «Пусть этот мертвый отпечаток напомнит образ мой живой».

— Бодяга какая-то, — сказал, тоже улыбаясь, Саша. — Да ты про сегодняшнее-то расскажи!

— Ничего не бодяга! — живо отвечал Серега. — Ты еще сопливый, не понимаешь! А такие слова на девок как кислота действуют. Ты со своей философией да с поэзией век дураком будешь. Эх, тебя бы к нашим корешам, они б тебя обрабатывали! Парень ты на лицо симпатичный...

А сегодня так было. Пришел я в клуб. Ну, клуб у них куда! Наш — новый, с колоннами, два года строили. А у них тут так... изба большая, пятистенка, без печки и без перегородки.

Пришел, закурил, выясняю положение. Народ собирается, но только сперва все девки, ребят нету. Пришел гар-

монист, начал скрипеть, девки — танцевать. Я к одной. «Разрешите, — это я ей говорю, — с вами пару подметок не пожалеть!» Танцуем. Я это сейчас тонкий намек ей на толстые обстоятельства, что, мол, не мешало бы ей уделить внимание в более подходящей обстановке.

А девка!.. Бока тугие, щеки так и трясутся. Ах ты, думаю, японский бог, в самый аккурат мой вкус! Ну, она мне в натуре отвечает, что она со мной согласна и внимание уделяет, только не таким, как я. Это, значит, я рылом не вышел. Ну, ладно... Вижу — занятая она, дохлое дело. Я опять попритих, выглядываю.

Вдруг смотрю, одна — молоденькая, красивенькая... Глазами так и стригет, губки красненькие, волосом черная, а я блондинок не обожаю вовсе. И главное, с девчонками все крутится, хихикает. А они, которые незанятые, всегда табунком держатся.

Ну, я заметил: глянула она на меня раз, другой. Я тогда к ней, оттираю ее в сторону... Тут движок застучал, дали свет, при свете-то она еще красивше оказалась. Пластинки закрыли, станцевал я с ней пару раз, интересуюсь, кто, мол, такая. Говорит, телятница на ферме. Ну, ладно, предлагаю ей просвежиться. Выходим в сени, оттуда на крыльцо. Правда, ребята уже собрались, там у них все комсомольцы, сознательные, паразиты, — в сенях курили, — кричат ей: «Гая, Гая!» — это ее Галей звать, — фонариками светят, а я боком на нее, шепчу: «Я, тебе, мол, чего-то сказать хочу...» Ну, она задрожала. Они, эти девки, всегда дрожат, прихватишь там ее под руку или лапанешь, она и затряслась.

Ну, она дрожит, а я ходом веду ее по дороге, назад глянул — никого не видать, я давай к ней жаться, а сам покашливаю, молчу, делаю вид, что дюже смущен. «Ты чего, говорю, дрожишь? Замерзла?» — «Не знаю...» — это она-то. Ну, я сейчас ей свой пинжак на плечи. А это, студент, учти, первое дело — пинжак ей свой отдать. Как накинул, так она сразу как мышь.

Так я ее и проводил до самого двора, а пуще всего рад был, что попутно. А то, если б с Горок была, ошалеешь провозжать-то! А тут ничего, соседи. За двор зашли, за зады, по-

сидели на бревнышке, я ей про свою жизнь толкую, разливаюсь, говорю идейно, как из газеты, они, такие-то, это любят. А после обжимать начал. Она сперва побрыкалась, потом ничего, сомлела... Сопит, собака, трясется! Через неделю, увидишь, полный порядок в колхозе будет — я с ними умею!

— Подлец ты! — сказал Саша.

Сергеа захохотал, задирая ноги, шлепая себя по ягодичам.

— Хотишь на спор? Ну? — весело предложил он. И, не дождавшись ответа, все еще улыбаясь, отвернулся, понюхал руки, поерзал, устраиваясь поудобнее, и заснул, вздрогнув несколько раз.

4

Перепали было дожди, и все быстро заосеняло.

Размокли дороги, крыши и стены дворов потемнели, не спеша, плотно и низко поползли с севера тучи, стало холодно, сено в сарае отсырело, и было страшно вылезать по утрам из-под тулупа.

Но скоро дожди кончились, и все опять засияло последней красотой позднего лета. Золотилась паутина в жнивье и кустах, опять подолгу кровенела, а потом желтела, зеленела вечерняя заря. Опять падала роса по утрам, воздух был резок, и все чаще крыши и траву обсыпал хрусткий иней.

По садам, по полям, по рябинам тучами летали скворцы. В ригах молотили, веяли, воздух был полон тонкими звуками работающих моторов, в город шли и шли машины с зерном, и тончайшая пыль висела сухим туманом над дорогой.

Сергеа пропадал на гулянках. Охоту он совсем забросил, и Саша ходил один, ходил упорно, утром и вечером, хотя и ему уже не терпелось пойти в клуб. Ему теперь не с кем было перемолвиться словом, он часто задумывался, делался тоньше, отчетливее лицом, скулами. Глаза его стали прозрачнее, больше, и все пристальней смотрел он теперь на встречающихся ему девушек.

А Сергеа приходил ночью, шуршал сеном, ложился, начинал сопеть, ворочаться, и пахло от него духами и пудрой.

Если Саша спал, Серега будил его и начинал изводить разговорами о Гале.

И вот однажды Серега пришел под утро и не разделся по обыкновению, а сел с краю, снял сапоги, свесил ноги, закурил и окликнул:

— Студент! Спишь ай нет?

— Ну что? — грубо отозвался Саша.

Серега помолчал, покашлял, потом сказал:

— Пол-литра с тебя, студент! Проиграл ты.

— Врешь! — сказал Саша и сел.

— Чего мне врать? В милиции, что ли? — равнодушно возразил Серега, и по вялости, с какой он возразил, Саша понял: не врет!

И начал зачем-то обуваться, чувствуя боль в сердце и жалость к себе. Как будто что-то нехорошее, стыдное произошло именно с ним. А Серега повалился на спину, заложил за голову руки, потянулся, посмеялся и заговорил:

— Я еще дня три назад заприметил, что она одна у себя на сеновале спит. Ну, виду не даю, все так уговариваю... Нет, никак! Да ты куда это?

— Никуда, — сказал Саша, замирая, шаря по сему дрожащими руками.

— А мне вроде показалось... Ну, сегодня расстались все честь по чести, взошла она к себе, я за воротами остался... — Он вдруг засмеялся. — А сосед у них, старик шалавый, сад свой стережет. Выйдет в тулупе с ружьем и вот ходит, как тот часовой. Погломонили по деревне, тихо стало. Дай, думаю, яблочка... Полез. Через плетень перескочил, да неловко, ногами в хворост. Дед зашумел: «Ктой-то! Стрелять буду!» — и курком ка-ак щелканет! Я как брякнулся, так и лежу носом в землю, аж спина похолодела. Вот, думаю, нарвался, вдарит в заднее место — вся любовь пропала! Ничего, постоял, отошел. Тут я яблочко пяток сорвал — и обратно. Хотел тебе пару снести, да как-то замечтался, сам все съел.

Сижу это я на бревнышке, яблоки грызу, обдумываю положение, у самого уж руки-ноги отымаются, а кругом-то — темно-о! Сгрыз, снял сапоги и пошел. Взошел в сени, как вор какой, весь трясусь. Лезу по лестнице, не дышу, чтобы, зна-

чит, ни стуку, ни грюку... Голову вытягиваю, гляжу — где? Гляжу, лежит под самой стрехой. Пополз я по сену к ней... Да куда-то ты?

— Пошел к черту! — закричал Саша визгливо, нашаривая ногой перекладину. — Скотина! Идиот! У-у!

В нижней рубахе, успев надеть только сапоги, вышел он из сарая, пошел к дороге, сел на бревне возле мостика через ручей, сгорбился, сотрясаясь от озноба, от тоски и гадливости.

А минут через пять, одетый, вышел на улицу Серега, огляделся, увидел Сашу, подошел, сел на другом конце бревна.

— Чего ты, студент? — спросил он насмешливо. — Ай завидно? Я тебе, дуре, давно говорил, брось ты охоту — всему свое время. Ну, хотишь, и тебя познакомлю? У Гальки подружка есть, одинокая, скучает. Та, верно, не такая красивая, ну да тебе и та сойдет... А?

Саша молчал, отвернувшись. Ему было горько и одиноко. За деревней послышались голоса, потом показались темные фигуры — гурьбой шли по дороге, посвечивая папиросами. Подойдя к мостику, замолчали и остановились, приглядываясь.

— Он? — неуверенно спросил кто-то.

— А ну, пойдём...

И они все сразу завернули и пошли к охотникам. Серега поднялся, расставил ноги, сунул руки в карманы. Ничего не понимая, но предчувствуя что-то ужасное, поднялся и Саша.

— Закурить есть? — спросил кто-то из подошедших.

— В сарае... — не своим голосом сказал Серега.

— Поймай! — выдвигаясь, сказал низкий крепкий парень в солдатской фуражке и цепко схватил Серегу за рукав. — Гальку знаешь?

— Ну чего ты... Брось! — слабо сказал Серега.

— А чего тебе в клубе говорили, помнишь, сука?

— Да что вы, ребята... — бормотал Серега, начиная дрожать. — Я же свой, деревенский! Не надо, ребята! А с ней я не встречусь больше...

— Ага, не встретишься! — с бешенством повторил державший его и часто задышал.

— Вот гад буду! Честно говорю... Завтра же уеду!

— Ага, уедешь! — все так же бессмысленно, распаяясь, повторил коренастый.

Но тут, кашлянув, придвинулся к ним другой, высокий, гибкий, в галифе и сапогах, с пучком каких-то белых цветов в кармане пиджака.

— Постой, Петя! — неестественно ласково сказал он, отодвигая коренастого. — Я же его знаю! Он парень свой! Не надо его бить...

И, пригнувшись, придушенно ахнув, ударил Серегу в душу. Серега тяжело повалился, потом вскочил, но на него кинулись сразу двое и снова сбили с ног.

Саша хотел остановить их, но его перехватил здоровый парень, ударил слегка, но так, что у Саши зазвенело в голове, схватил за ворот рубашки крепкой бугристой рукой, начал душить и глухо бормотать:

— Тихо, тихо... А то кровь с зубов пойдет... Тихо!

И все смотрел туда, в темноту. А там, толкаясь, мешая друг другу, били и били что-то вскрикивавшее и хрипевшее при каждом ударе. И особенно ловок был высокий парень с белыми цветочками в кармане пиджака. Он приговаривал, задыхаясь: «Не надо... Бросьте, ребята! За что?» — подскакивал и бил Серегу по голове и животу.

— Да что же вы делаете? — закричал изумленный бабий голос с ближнего двора.

Парень, державший и встряхивавший в возбуждении Сашу, бросил его, кинулся к своим, растолкал их, и все вместе они побежали в темноту задами по сырому лугу.

Оставшись один, Саша вытянулся и оцепенел, глядя на валявшегося возле мостика Серегу. И когда прибежали люди, когда, засветив электрическими фонариками, стали спрашивать, кого и за что били, не мог ничего сказать, только стучал зубами и дрожал коленками.

Серегу понесли к сараю, посадили на порог, стали светить на него, ощупывая, разглядывая голову и тело. Закидывая лицо, Серега фыркал кровью и плакал.

— Ничего, цел! — бодро сказал кто-то, осмотрев Серегу и вытирая сеном руки. — Отлежится!

Запыхавшись, пришла фельдшерница в белом халате, обмыла, смазала и завязала Сереге голову. Потом с сеновала сбросили вниз сена, подушку, Серегу уложили, и все скоро разошлись.

Всю ночь Серега стонал, сморкался, плевал кровью, ругал Сашу, Москву и охоту. А утром прибежала Галя, и Саша, впервые увидевший ее, чуть не ахнул: так хороша, так откровенна и стыдлива одновременно была она в своей любви.

— Что они с тобой сделали? Да что же это, Господи! — горячо зашептала она, со страхом глядя на забинтованную голову Сереги.

— А вот погляди! — отвечал Серега, раздвигая бинты, показывая черное лицо и злобно глядя запухшими глазами на Галю. — Видала? Все из-за тебя, стерва! Сегодня же уеду, на хрена мне такая самодеятельность!

— Сережа... — сказала она, опускаясь на колени. — Не нужно, не говори так... Мы на них в милицию подадим...

— Уйди от меня! — сказал Серега, отворачиваясь.

Галя взглянула на Сашу, мучительно покраснела, слезы выступили у нее на глаза. Саша схватил ружье, выскочил из сарая и побрел лугом к лесу, чувствуя опять вчерашнюю тоску, обиду, зависть...

И, как нарочно, был в тот раз чудесный день, особенно тихий, особенно нежный, совсем летний, но бледный и грустный уже по-осеннему.

Целый день, горяча себя, ходил и стрелял Саша, стараясь рассеяться, прогнать тоску усталостью, но уже ни о чем не мог думать, кроме как о Гале.

«Ни стуку, ни грюку...» — с едкой усмешкой вспоминал он. И опять спотыкался на кочках, лазил по оврагам, ел малину и дикую смородину, пьянея от их душного запаха, стрелял, — эхо звонко и резко отдавалось в лесу, и дым пеленой падал на траву.

Измученный, похудевший, пришел он в деревню, отворил дверь в сарай и сразу понял с презрением: Серега уехал.

— У-у, животное! — сказал Саша, положил на сено ружье и пошел к хозяевам. Старик только что проснулся, сидел на лавке с опухшим бессмысленным лицом, шарил темной рукой по клеенке, сгоняя мух.

— Сергей-то? — переспросил он. — Уехал. Н-да... Днем еще подался, дуже расстроился. Два рубля оставил, — грустно усмехнулся он. — Вот как, два рубля, говорю... А ты ай останешься? Ну-ну... Гляди сам. Сарая, сена не жалко. Это кто ж его? Или левошкинские? Я и гляжу: милиция туды погнала. Ловко они его!

Он полез на печь, достал буро-зеленых листов самосада, стал тереть на ладони.

— Сама садик я садила... — бормотал он, зевая. — Ну, как охота-то? Ай никого не попалось? Это дело на любителя, конешно. Что, ай и в самом деле снюхались они? Не знаешь? Ну-ну...

Он закурил, сладко задымил, закашлялся, краснея лысиной, прижмуриваясь, вытирая шершавой рукой выступившие слезы.

— Настя! — крикнул вдруг он в сени. — Нацеди-ка нам бражки по баночке... Да не оттеда! — прислушавшись, опять закричал он. — Той, которая у ведре!

А когда совсем стемнело, опьяневший, расстроенный, пришел Саша в сарай, забрался на сеновал, повалился и стал тереть онемевшее лицо. Ему вдруг захотелось домой. «Уеду к черту! — тоскливо решил он. — В Москве ребята, девчонки, розыгрыш по футболу... Уеду!»

Он стал думать о Москве, о знакомых девочках, и скоро у него разгорелось лицо от волнения. И жизнь, которой он жил все эти дни, охота, стыдливое, но уже и порочное, как ему казалось, лицо Гали, Серега, звук молотилок, ночная драка, красота осени — все это сразу стало далеким, ушло куда-то, точно так же как ушла вся его прошлая жизнь, когда он поздно ночью слез с поезда в Мятлеве.

В город



1

Василий Каманин шел рано утром по дороге в Озерище. Сапоги его были в грязи, бурая шея давно не мыта, глаза с желтыми белками смотрели мутно, и от самых глаз начиналась серая щетина. Походка его была неровной, ноги разъезжались и как-то отставали от стремящегося вперед тела. В спину ему дул холодный ветер, по сторонам темнели бесконечные отвалы вспаханной зяби. Между отвалами кое-где свинцово поблескивала вода — дожди шли уже целую неделю. По обочинам дороги мотался на ветру красно-бурый, забрызганный грязью конский щавель.

Накануне Василий Каманин сильно выпил у свата. Сегодня у него болела голова, во всем теле стояла ломота, какая бывала у него только к непогоде, в рот набегала противная слюна. Василий сплевывал, поднимал тяжелую голову, с тоской смотрел вперед. Но впереди была грязная исключанная дорога, уныло темнели копны соломы, и до самого горизонта — низкое серое небо без малейшего просвета, без надежды на солнце. Василий опускал глаза, привычно выискивал места посуше, но потом, поглощенный мыслями, опять шел как попало, осклизаясь, тяжело переставляя ноги, наклоняясь вперед худым телом.

Жил Василий Каманин в Моховатке, в стоящей отдельно просторной старой избе. Моховатка до войны была большой деревней, и дом Каманиных стоял в общем ряду. Но, отступая, подожгли немцы деревню, вся она сгорела дотла, только Каманины чудом уцелели. После войны деревня вновь отстроилась, но уж далеко было до прежнего, и изба Василия очутилась за выездом. Ему предлагали перевезти из

бу, он и сам собирался, но как-то все не доходили руки, так и остался жить на отшибе.

Три дочери его одна за другой вышли замуж, уехали жить в город. Изба опустела, Василий все чаще нанимался работать на сторону — был он хорошим плотником, много зарабатывал, но с годами стал скучать, пить, во хмелю был мрачен и бил жену.

Жену Акулину Василий не любил давно. Еще до войны попал он как-то по вербовке на большое строительство, проработал там все лето, и с тех пор мысль переехать жить в город уже не покидала его.

Каждый год по осени, когда было мало работы, его забирала вдруг тоска, он делался равнодушен ко всему, подолгу лежал на дворе, закрыв глаза, и думал о городской жизни. Городских он терпеть не мог, считал всех дармоедами, но жизнь городскую — парки, рестораны, кинотеатры и стадионы — любил до того, что и сны ему снились только про город.

Несколько раз собирался он было совсем и даже корову продавал, но Акулина шептала по ночам о земле, о родине, о хозяйстве, о том, что она с тоски помрет в городе, и он раздумывал и оставался.

Все в колхозе знали о его страсти к городу и посмеивались над ним.

— Что ж, так и не уехал? — спрашивали его.

— Ночная кукушка дневную перекукует, — отвечал он, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену.

Весной Акулина заболела. Сперва думали — переможет. Потом Акулина стала ходить в медпункт, брала прописанные порошки и микстуры, охотно, с верой в исцеление, пила горькие лекарства. Но исцеление не приходило, становилось, наоборот, все тяжелее и хуже. Тогда были испробованы тайные средства. В дом к Василию зачастили старухи, носили в пузырьках наговоренную воду, настойки на корнях. Но и это не помогло. Глаза у Акулины провалились, запали виски, лез волос, и вся она неправдоподобно быстро худела, таяла. Люди, видевшие ее недавно здоровой, теперь при встречах останавливались, долго смотрели ей вслед. С ней

становилось страшно спать: так она была худа и так стонала во сне. Василий стал спать во дворе, на свежем сене.

Целые дни проводил он в поле, работал на сенокосе, ругался с бригадиром и, сдвинув крупные темные брови, думал о жене, все больше уверяя себя, что скоро она помрет. А вечером возил домой сено, таскал мешки с зерном, выданное авансом на трудодни. Домой приходил усталый, с бурным от солнца лицом, садился на лавку, упирался потрескавшимися ладонями в колени, смотрел исподлобья на жену.

Страшно похудевшая, с неистовым взглядом темных сухих глаз, но все еще красивая, Акулина подавала на стол. Потом, привалясь к стене, трудно дышала, открыв черный рот. На лице ее выступала обильная испарина.

— Вася! — просила она. — Свези ты меня, ради Христа, в город! Свези! Помру я, должно, скоро... Мочи моей нету, больная я вся, Вася!

Василий молча хлебал суп, боясь взглянуть на жену, выдать затаенные свои мысли.

— Свези, Вася! — совсем тихо говорила Акулина и садилась на пол возле стены. — Есть не могу ничего, все назад тошнит. Теперь уж и молока не принимаю... Скотина у нас, Вася! Ходить за нею надо, трудно мне — уж я на карачках... Ползаю, легче мне так. А внутри-то так и жжет, так и жжет! Свези ты меня, пушай профессор поглядит. Я уж тут никому не верю, а только худо мне, ой, худо!

И вот теперь Василий шел в Озерище к председателю колхоза просить лошадь для жены, а заодно просить, чтобы совсем отпустили его из колхоза.

Настроение у него было плохое, болела с похмелья голова, злорада на жену, на бригадира и соседей переполняла его. Он ругался и придумывал, как бы ловчее сказать председателю, чтобы отпустил он его в город.

2

В Озерище Василий пришел через час, и даже ноги у него подкашивались: так устал.

Дом председателя выделялся своей величиной, крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким двором,

крытым не соломой, как у всех, а щепой. В саду под яблонями чернели колоды с пчелами. Тщательно вытирая о скобу сапоги, Василий покосился на колоды, подумал который раз: «Надо бы пчелу завести, хорошее дело!» Но, вспомнив, зачем пришел, только крикнул и, чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в темные захламленные сени.

В доме было не убрано, грязно, пахло топленным молоком и кислой капустой. На столе стояла швейная машинка, на полу валялись лоскуты материи, на проводах от лампы к приемнику висели носки. Хозяина дома не было. Жена его Марья, крепкая чернявая баба с тугим задом, стояла возле печи, жарко освещенная, двигала ухватом, широко расставив ноги и приседа.

— Здорово! — хмуро сказал Василий, стаскивая шапку. — Где Данилыч-то?

— На что тебе? — так же хмуро, не глядя на Василия, спросила Марья.

— Дело, значит, есть.

— В поле он, чуть свет поехал.

— Домой-то скоро будет?

— Говорил, к завтраку, а там не знаю...

— Погожу тогда! — решительно сказал Василий и тяжело сел на лавку лицом к печи.

Он вынул махорку, хотел было закурить, но вспомнил, что Марья не любит, когда курят в избе, и спрятал кисет. Да и курить что-то не хотелось. В теле была противная слабость, в голове стоял шум.

Василий опустил голову и задумался. Думал он, что жена скоро помрет, надо будет делать гроб и что лучше заранее раздобыться хорошими досками. Барана придется резать, а то и двух на поминки, родни припрет, пожрать любят...

Потом он стал думать, кому и за сколько продать дом и хозяйство и куда поехать. На первое время можно бы в Смоленск, к старшей дочери, а там видно будет. Денег у него, слава богу, соберется, можно будет в городе какой домишко присмотреть.

Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях все выходи-

ло складно, и никак не мог устоять председатель против Василия.

— Зачем пришел-то? — спросила хозяйка, ставя ухват в угол и садясь к столу.

Василий не сразу понял, о чем его спрашивают, так задумался. Моргая, будто спросонок, он посмотрел на Марьино красивое лицо, на ее полные губы и голубые слегка навыкате нагловатые глаза.

— Жена у меня дуже болеет, — наконец сказал он. — На счет лошади я, в город бы ее свезть. Ну и потом, значит, по своим делам.

— Сколько ей годов-то, Акулине? — без интереса спросила Марья.

— Годов-то? — Василий минуту подумал. — А вот считай: мне пятьдесят пять, ну а ей на два годка помене.

— А! — только сказала хозяйка.

Некоторое время она молчала, тоже о чем-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, перекусила нитку, разобрала материю, и мерный ровный стрекот наполнил избу.

Василий опять закрыл глаза. Его тянуло лечь на лавку, укрыться с головой, не думать ни о чем, а заснуть... Мысль о том, что нужно дожидаться председателя, говорить и доказывать, что в колхозе ему больше невозможно, а потом идти по грязной дороге назад в Моховатку, — мысль эта наполняла его отвращением и холодом. Между лопаток у него дергало что-то, а кожу на груди и на руках стягивало.

Скоро Василий забылся под стрекот машины, уже не думал ни о чем и вздрогнул, когда в сенях затопали плотные шаги и в избу вошел хозяин.

Был он крупного роста, с маленьким бледным лицом, на котором, как у скопца, росли едва заметные белесые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, первое время потирал ляжки и морщился, нагнувшись и глядя на что-то в окно.

Василий тоже обернулся и посмотрел: мальчишка увидил вдоль забора высокого костистого жеребца с подрезанным хвостом. Тот разъезжался ногами и задира голову.

— Ну как? — громко спросила Марья, подходя к шестку и берясь снова за хват.

Председатель, все еще нагнувшись, повернул к ней голову, хотел что-то сказать, но увидел Василия и, смолчав, протянул ему холодную влажную руку. Потом прошел через избу, вздохнул, как человек, сильно уставший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать сапоги.

Разувшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел на жену, и лицо его постепенно принимало сонное и тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел Марью, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи, на ее сильную спину и невольно подумал: «Ишь, черт, гладкая!»

— Ну, как там у вас? — спросил председатель. — Сено возите?

— Возим, — торопливо ответил Василий, отводя глаза от Марьи. — Возим, но навряд скоро управимся... Дожди не ко времю пошли, дуже сыро. Да и народу мало, по домам сидят.

— Чем у вас там бригадир думает? — поморщился председатель. — Сколько раз говорено было, чтобы свозить! Дождались дождя! Вот погодите, доберусь я до этого бригадира!

Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. Василий кашлянул и поерзал на лавке.

— Скоро, что ль, там? — спросил председатель у жены.

— Сейчас поспеет, — невнятно сказала Марья.

Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришел, а начинать первому о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали, и опять Василий почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас — опохмелиться бы и лечь поспать.

— Букатинские поля смотрели, — сказал председатель и оживился, — с корреспондентом с областной газеты. Лен должен хорош быть. Обещал написать про девок-то наших.

Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на подоконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул вперед правую ногу, достал из кармана махорки и закурил.

— Ну! — притворно удивился Василий и тоже торопливо закурил. — Они напишут! Такое ихнее дело — писать...

— Задымили, — хмуро сказала Марья и, хлопнув дверью, вышла во двор.

— Ты зачем ко мне? Дело какое? — спросил председатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию.

Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову.

— Жена у меня дуже болеет, — начал он. — Хочу я ее в город свезть. Дорогу вот только развезло, машины совсем не ходят. Лошадь бы мне, Данилыч...

— Лошадь? — Председатель покряхтел, поскреб голову. — А что, в медпункт не ходила она?

— Была. Только, я так думаю, операцию надо ей.

— Ну ладно! Сегодня уж так, а завтра я скажу, чтобы дали. С утра и поедешь.

— А я ть тоже здоровьем плох стал чегой-то... — опять начал Василий, делая грустное лицо. — Да ты зашел бы когда ко мне, а? — перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела на сухую не делаются. — Брага у меня есть, дочка посылку из города прислала — сахару. Выпили бы, бражка у меня хороша, жена намедни заварила, ничего бражка. Сальцо тоже есть, восемь пудов потянул поросенок... Зашел бы!

— Зайти можно, — сказал председатель, улыбаясь.

— А я, Данилыч, — подхватил обрадованный Василий, — решил совсем, значит, с колхозом распротиться.

— То есть это как же — распротиться? — Председатель перестал улыбаться.

— А вот так, — сказал Василий, набираясь решимости и поводя глазами. — Вот так, что нету больше моего желания работать тут. Жена хворает, дочки пишут, зовут... Чего мне здесь! Потом же, давно я собирался... Старый председатель отпускал меня, спроси хоть кого хошь! Пушай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у городе найду. А тут что?

— Как что! — председатель оглядел Василия, будто впервые видел. — Ты что, или забыл, об чем на правлении говорили?

— А чего мне правление...

— Погоди, не чегокай! Работы нету! Вот осенью новый телятник будем ставить — это тебе что? Потом клуб перестроить, это тебе не работа? А парники закладывать — не работа?

— Это верно, только пушай другие. И ты меня не держи, все равно уйду, я покуда свои права знаю.

— Знаешь? А что в колхозе людей не хватает — знаешь?

— Это меня не касается. Это вы глядите, чтоб у вас никто не бег из колхозу. От хорошего не побежишь! А мне, может, пожить охота, я тебе не старик какой столетний на печи лежать. А что я с колхоза имею? Культуру я имею? Выпить и то негде.

— Живешь бедно, да? — Председатель хищно согнулся, начал желтеть лицом. — На колхозных работах убился?

— Ты на меня не сипи! — сказал Василий и сдвинул брови. — Не глотничай! Ты фост на меня не подымай! Чего есть, своим горбом добыл, с вашего колхозу зимой снегу не выпросишь.

— Так... Люди работай, люди борись, а ты в город?

— У меня вон жена помирает. — У Василия зазвенело в голове, перехватило дух. — В город ее надо везть? Это как?

— Лошадь мы тебе дадим, — председатель встал.

— Непустишь, значит? — спросил Василий, тоже вставая.

— Деньгами разбогател, видно?

— Денег у меня черт на печку не вскинет, — серьезно подтвердил Василий.

— Известно! — председатель громко задышал. — Мастер на стороне хапать. Вот телятник нам построишь, да клуб, да парники, а там поглядим.

— Телятник? А этого не хошь? — Василий сделал непристойный жест.

Председатель отвернулся к окну.

— Кончен у нас с тобой разговор. Катись! Постановления партии знаешь? Грамотный? Ну вот и все. Вызовем на правление, там поговорим!

— Ладно, — Василий нахлобучил шапку. — Ладно, мать твою... Поглядим! Найдем и на твою шею удавку!

Хлопнув дверью, он вывалился в сени, загромыхал с крыльца. Хлюпая носом от обиды, скрипя прокуренными зубами, он быстро шел по улице, пугая примостившихся возле плетня кур.

— Поговорили, растуды твою... — бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. — Ясно, без пол-литра какой разговор!

И всю дорогу он жалел, что пришел к председателю без пол-литра.

3

На другой день, с утра выпив браги, Василий пошел на конный двор и через полчаса вернулся на лошади. Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена, навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного лошади и пошел в дом. Еще с вечера он решил зарезать барана — в городе был сегодня базарный день, а баран две недели уже как кашлял.

Велев Акулине собираться, он взял длинный и узкий немецкий штык и пошел на двор. Барана, черного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле вытащил из закутка: тот не шел, упирался и дрожал.

— Чуешь, значит? — бормотал Василий и нехорошо улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за теплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел на открытую дверь.

— Ну, молись Богу! — сказал Василий, завалил барана, наступил коленом на мягкий бок и сжал ладонью ему морду. Баран взбрыкнул и вылез из-под колена. Василий, сипло задышав, опять подмял его под себя и отворотил голову назад, натянув горло с белым курчавым пятном. Потом, сжав зубы, примерился и с излишней даже силой резанул по белому пятну.

Баран вздрогнул, обмяк под коленом, из широко разошедшейся раны туго ударила черная почти кровь, заливая солому и навоз, пачкая руки Василию.

По телу барана прошла мелкая дрожь, глаза, по-прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помутнели. Теленок, с любопытством принюхивавшийся из своего угла, вдруг засопел и несколько раз толкнулся в стенку.

Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил кiset и стал скручивать папироску кровяными пальцами, густо смачивая бумагу слюной и не отрывая взгляда от барана.

Тот начал подергиваться, потягиваться, глаза совсем закрылись, задние ноги задергались сильнее, и через минуту все тело сильно и мерно билось, ноги взбрыкивали весело, как при беге, разбрасывая солому и куриные ошметки.

Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил его на перевод и стал быстро и ловко снимать шкуру, подрезая мутно-сизую пленку и перерезая сухожилия на ногах.

Разрезав живот, из которого дохнуло паром, он вынул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом сжевал, пачкая губы и подбородок кровью.

На крыльцо вышла Акулина, чисто одетая, с узелком в руках. В узелке была смена белья, на случай, если ее положат в больницу. Кое-как вскарабкавшись на телегу, она покрылась дождевиком и стала поджидать Василия, с тоской и любовью глядя на темные поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь навсегда, свой дом и деревню.

Немного погодя со двора вышел Василий, держа, как ребенка, тушу барана, уже разделанную совсем и завернутую в мешок.

Положив барана в передок телеги, он пошел задать корму скотине и запереть дом. А Акулина вдруг услышала сладковатый запах свежей убоины. Раньше она любила этот запах. Он всегда стоял в избах в предпраздничные дни. Но теперь ей стало нехорошо, и она закрыла рот и нос концами платка.

Василий, еще раз хлебнув браги и заперев дом, вышел, подпоясываясь, на крыльцо. Утром он побрился и умылся, надел новую рубаху и теперь выглядел помолодевшим и веселым.

— Вася! — сказала Акулина. — Глянь-ка, красота какая... Помру я, должно, в городе. Больно уж жалко расставаться. Сердце давит...

Василий тоже оглядел поля с темными стогами сена и с черными вспаханнами клинами, речку, потемневшие от дождей крыши деревни, сплюнул и промолчал.

Потом он отвязал и взнуздal лошадь, сильно дергая и разрывая ей губы; поправил еще раз сено в телеге, сел и тронулся. Напуганная лошадь пошла с места быстрым шагом, телега начала переваливаться в широких колеях.

Акулина сидела сзади, сжав плечи, держась за грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на березы и рябины с налившимися уже шафранно-красными кистями.

Она глядела и вспоминала всю свою жизнь в колхозе: и молодость, и замужество, и детей, любя все это еще сильней и острее, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного она хотела: умереть дома, на родине, и чтобы похоронили на своем кладбище.

Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, останавливались и, молча глядя на нее, кланялись. Акулина улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой улыбкой и тоже кланялась — охотно, низко, едва не касаясь головой грядки телеги.

Василий же все понукал лошадь. Красное лицо его было напряженно-ожидаящим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, продаст барана, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан.

Он будет сидеть там и пить легкое вино, глядя в окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и наколках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших папирос.

И там уж он, посоветовавшись с родней, решит, как ему быть дальше, как ловчее уехать из колхоза в город и подороже продать дом и все хозяйство.

Запах хлеба



1

Телеграмму получили первого января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубаше, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зевая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси — семидесятилетней старухи в далекой деревне.

«Вот не вовремя!» — с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.

— Выпей! — сказал он. — Прямо черт ее знает, до чего башка трещит. Ох-хо-хо... Все там будем. Ты как — поедешь?

Дуся молчала, вода рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла.

— Не знаю, — сказала она минутой спустя.

Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.

— Ну ладно... Что делать? Что ж будешь делать! — больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. — Царство небесное, все там будем!

Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет пятнадцать, из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.

Дуся стала перебирать старые карточки и опять не могла заплакать: на всех карточках у матери были чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки.

Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец:

– Не поеду! Куда ехать? Там теперь холодина... Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!

2

Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее.

Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы и чтобы Дуся обязательно приехала.

– Поезжай! – сказал муж. – Валяй! Особо не трясись, продай поскорее чего там есть. А то другие попользуются или колхозу все отойдет.

И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась.

Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте.

В свою деревню Дуся пришла часа через три, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились.

Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не узнава-

ла, зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала.

Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут.

Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину – поросенка, трех ярочек, козу и кур – взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более что многое осталось, а главное, остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом.

Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила.

Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дусю, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли.

В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилося сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам: потолок был низок, темно-коричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, несостоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках.

Оставшись одна, Дуся открыла сундук – запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой сон.

3

Услышав о распродаже, к Дусе стали приходиться соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь, но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро.

Главное был дом! Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей – двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала, она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три: выстукивала стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла.

Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша.

Денек было замглился во второй половине, посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряда пепельно-розовых облаков. Она была так далека и неясна, что казалось, стояла позади солнца.

Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон.

Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудностях, о председателе, об урожаях и была ровна и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежеевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками – братские могилы...

Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево – среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался.

– Вон бабушкина... – сказал Миша, и Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь

травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, не подправленный с зимы, стоял уже косо.

Дуся совсем побелела, и вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала и поползла к могиле на коленях и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами, что Миша испугался.

— У-у-у, — низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. — Матушка моя бесценная... Матушка моя родная, ненаглядная... У-у-у... Ах, и не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала?

— Тетя Дуся... тетя Дуся, — хныкал от страха Миша и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню.

Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибежали из деревни. Она лежала все там же, совсем обеспамятевшая, и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые зубы. Лицо ее было черно от земли и страшно.

Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала, глядела на всех огромными распухшими глазами — жизнь казалась ей ночью. Когда ее привели к сестре в дом, она свалилась на кровать — еле дошла — и мгновенно уснула.

На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства.

Так она и уехала, веселой и ровной, подарив еще Мише десять рублей. А через две недели дом матери-старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи, и стали в нем жить новые люди.

Кабасы



Заведующий клубом Жуков слишком задержался в соседнем колхозе. Дело было в августе. Жуков приехал по делам еще днем, побывал везде и везде поговорил, хотя и неудачный был для него день, все как-то торопились: горячая была пора.

Жуков, совсем молоденький парнишка, в клубе еще и году не работал и был поэтому горяч и активен. Родом он был из Зубатова, большого села, а жил теперь в Дубках, в маленькой комнатке при клубе.

Было бы ему сразу ехать домой, и машина на Дубки шла, но он раздумался и пошел к знакомому учителю, хотел поговорить о культурном. Учитель оказался на охоте, должен был давно вернуться, но что-то запаздывал, и Жуков стал его уныло ждать, понимая уже, что все это глупость и надо было ехать.

Так он и просидел часа два, покуривая в окошко и вяло переговариваясь с хозяйкой. Он даже задремал было, но его разбудили голоса на улице: гнали стадо, и бабы скликали коров.

Наконец ждать не стало смысла, и Жуков, разозленный на неудачу, выпив на дорогу кислого квасу, от которого тотчас стали скрипеть зубы, пошел к себе в колхоз. А идти было двенадцать километров.

Старика Матвея, ночного сторожа, Жуков догнал на мосту. Тот стоял в драной зимней шапке, в затертом полушубке, широко расставив ноги, придерживая локтем ружье, заклеивал папиросу и смотрел исподлобья на подходившего Жукова.

— А, Матвей! — узнал его Жуков, хоть и видел всего два раза. — Что, тоже на охоту?

Матвей, не отвечая, медленно пошел, скося глаза на папиросу, достал из-под полы спички, закурил,дохнул несколько раз и закашлялся. Потом, царапая ногтями полу полушубка, спрятал спички и тогда только сказал:

— Какое на охоту! Сад стерегу ночью. В салаше.

У Жукова от кваса все еще была оскоми́на во рту. Он сплюнул и тоже закурил.

— Спишь небось всю ночь, — сказал он рассеянно, думая, что зря не уехал давеча, когда была машина, а теперь вот надо идти.

— Как бы не так — спишь! — помолчав, значительно возразил Матвей. — И спал бы, да не дают...

— А что, воруют? — иронически поинтересовался Жуков.

— Ну, воруют! — усмехнулся Матвей и пошел вдруг как-то свободнее, как-то осел и вроде бы отвалился назад, как человек, долго стесняемый, вышедший наконец на простор. На Жукова он не взглянул ни разу, а смотрел все по сторонам, по сумеречным полям. — Воровать не воруют, браток, а приходят.

— Ну? Девки, что ли? — спросил Жуков и засмеялся, вспомнив Любку и что сегодня он ее увидит.

— А эти самые... — невнятно сказал Матвей.

— Вот дед! Тянет резину! — Жуков сплюнул. — Да кто?

— Кабиасы, вот кто, — загадочно выговорил Матвей и покосился впервые на Жукова.

— Ну повез! — насмешливо сказал Жуков. — Бабке своей расскажи. Какие такие кабиасы?

— А вот такие, — сумрачно ответил Матвей. — Попадешь к им, тогда узнаешь.

— Черти, что ли? — делая серьезное лицо, спросил Жуков.

Матвей опять покосился на него.

— Такие, — неопределенно буркнул он. — Черные. Которые с зеленцой.

Он вынул из кармана два медных патрона и сдул с них махорочный сор.

— Вот, глянь, — сказал он, показывая бумажные пыжи в патронах.

Жуков посмотрел и увидел нацарапанные чернильным карандашом кресты на пыжах.

— Наговоренные! — с удовольствием сказал Матвей, пряча патроны. — Я с ими знаю как!

— А что, пристают? — насмешливо спросил Жуков, но, спохватившись, опять сделал серьезное лицо, чтобы показать, что верит.

— Не так чтобы дюже, — серьезно ответил Матвей. — К салашу не подходят. А так... выйдут, значит, из теми один за одним, под яблоней соберутся, суршат, брякочуть, махонькие такие, станут так вот рядком... — Матвей опустил глаза на дорогу и повел перед собой рукой. — Станут и песни заиграют.

— Песни? — Жуков не выдержал и прыснул. — Да у тебя не похуже, чем у нас в клубе, — самодеятельность! Какие песни-то?

— А так, разные... Другой раз дюже жалостно. А потом и говорят: «Матвей, а Матвей! Подь сюды! Подь сюды!»

— А ты?

— А я им: «Ах вы, под такую мать!.. Брысь отседа!»

Матвей любовно усмехнулся.

— Ну, тогда они начинают к салашу подбираться, а я сейчас наговоренный патрон заряжу, да кэ-эк ахну!..

— Попадаешь?

— Попадаешь! — презрительно выговорил Матвей. — Нячистую силу рази убьешь? Так, разгоню маленько до утра, до первого петуха...

— Да! — помолчав, сказал Жуков и вздохнул. — Плохо, плохо!

— Кого? — спросил Матвей.

— Плохо у меня дело с атеистической пропагандой поставлено, вот что! — сказал Жуков и поморщился, оглядывая Матвея. — Небось и по деревне брешешь, девок пугаешь? — строго спросил он, вспомнив вдруг, что он заведующий клубом. — Кабиасы! Сам ты кабиас!

— Кого? — опять спросил Матвей, и лицо его вдруг стало злобно и внушительно. — А вот мимо лесу пойдешь?

— Ну? И пойду!

— Пойдешь, так гляди — навряд домой придешь. Они тебя пирнясуть.

Матвей отвернулся, ничего более не сказав, не простившись, быстро пошел полем к темневшему вдаль саду. Даже в фигуре его видна была сильнейшая озлобленность.

Оставшись один на дороге, Жуков закурил и огляделся. Наступали сумерки, небо на западе поблекло, колхоза сзади почти не стало видно, темнели только кое-где крыши между тополей да торчали антенны телевизоров.

Слева виден был березовый лес. Он уступами уходил к горизонту. Было похоже, будто кто-то по темному начиркал сверху вниз белым карандашом. Сперва редко, подальше — чаще, а в сумерках горизонта провел поперечную робкую светлую полосу.

Слева же видно было и озеро, как впаянное, неподвижно стоявшее вровень с берегами и одно светлевшее на всем темном. На берегу озера горел костер, и на дорогу наносило дым. Падала уже роса, и дым был мокрым.

А справа, в сумрачных лугах и просеках, между темными мысами лесов, с холма на холм шагали решетчатые опорные мачты. Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад, в сторону разгорающейся зеленоватой звезды — их родины.

Жуков опять оглянулся, все еще надеясь, что, может быть, пойдет попутная машина. Потом зашагал по дороге. Он шел и все поглядывал на костер и на озеро. Возле костра никого не было. Не видно было ни души и на озере, и одинокий огонь, неизвестно кем и для чего зажженный, производил странное впечатление.

Жуков шел сначала нерешительно, покуривая, оглядываясь, поджидая машину или попутчика. Но ничего не было видно ни спереди, ни сзади до самого горизонта, и Жуков наконец решился и зашагал по-настоящему.

Он прошел километра четыре, когда стало совсем темно. Одна только дорога светлела, перебирая кое-где туманом. Ночь наступала теплая. Только когда Жуков попадал в туман, его охватывало холодом. Но потом Жуков опять вы-

ходил в теплое, и эти переходы от холодного к теплому были приятны.

«Темный у нас народ!» — думал Жуков. Он шел, сунув руки в карманы, двигал бровями и вспоминал лицо Матвея, какое оно сразу стало злобное и презрительное, когда он посмеялся над ним. «Да, — думал он, — надо, надо усилить атеистическую пропаганду. Суеверия надо искоренять!» И ему еще больше захотелось поговорить с кем-нибудь о культурном, об умном.

Потом он стал думать, что пора бы ему перебраться в город, поступить куда-нибудь учиться. И тут же, по своему обыкновению, стал он воображать, как дирижирует хором не в колхозном клубе, где нет даже кулис и где ребята покуривают в зале и пересмеиваются, а в Москве, и что хор у него в сто человек — академическая капелла.

Как всегда, от подобных мыслей он почувствовал радостное оживление и уже ничего не замечал кругом, не обращал внимания ни на звезды, ни на дорогу, шел неровно, сжимал и разжимал кулаки, двигал бровями, принимался напевать и усмехаться, не боясь, что кто-нибудь увидит его. Он даже рад был, что идет один, без попутчиков. Так он и дошел до пустого сарая близ дороги и сел на бревно отдохнуть и покурить.

Когда-то был здесь хутор, но после укрупнения колхоза хутор снесли, остался один сарай. Сарай был раскрыт и пуст. В нем, кажется, и двери даже не было. Был он темен и скособочен, а в дыре дверей, в глубине его, стояла особенно глужая чернота.

Жуков сидел, поставив локти на высоко поднятые колени, лицом к дороге, спиной к сараю, курил, остывая постепенно, и думал уже не о консерватории, а о Любке, решая, как бы ее наконец половчее поцеловать, когда почувствовал, что на него смотрит кто-то сзади.

Он понял вдруг, что сидит во тьме один, среди пустых полей, среди загадочных темных пятен, которые могут быть кустами, а могут быть и не кустами.

Он вспомнил Матвея, жестко-вещное лицо его напоследок и пустынное немое озеро с костром, неизвестно для чего зажженным.

Затаив дух, он медленно оборотился и взглянул на сарай. Крыша сарая висела в воздухе, даже звезды были видны в промежутке. Но только он взглянул на нее, как она села на сруб, а за сараем что-то с топотом побежало в поле с задуманным однообразным криком: «О!.. О!.. О!..» — все дальше и глуше. Волосы у Жукова поднялись, он вскочил и прыгнул на дорогу.

«Ну, — подумал он, — пропал!» — и ударился по дороге. Воздух загудел у него в ушах, а в кустах по сторонам что-то ломилось, сопело, дышало ему в спину холодом. «Перекреститься надо! — думал Жуков, чувствуя, как пытаются схватить его сзади холодными пальцами. — Господи, в руки твои...» А перекрестившись, остановился, не в силах уже бежать, и обернулся, но не было никого на дороге, ни в поле, и сарая не стало видно. Жуков утерся рукавом, не спуская глаз с дороги, и сказал себе хрипло:

— Ха! — и вздрогнул, испугавшись себя. Потом кашлянул, послушал и опять сказал, стараясь, чтобы не вздрагивал голос: — Хо! Хо! Эй!..

Отдышавшись, Жуков торопливо зашагал, с лихорадочной тоской соображая, как далеко ему еще идти, какая ночь и тьма кругом и что лес, на который загадочно намекнул ему Матвей, еще впереди.

Дорога спустилась к речке, и Жуков, как во сне, громадными скачками перенесся через мост над черной водой и зарослями ивы. Под мостом загукало, но Жуков даже не разобрал, был ли то действительно звук или ему показалось. «Ну погоди, я до тебя доберусь!» — со страхом думал Жуков о Матвее, поднимаясь на пригорок, на котором, он знал, начинается лес.

Лес начался росой и сыростью. Что-то мощно дышало из глубины его, вынося в теплый полевой воздух запах прели, грибов, воды и хвои. Направо — в лесу — стоял густой мрак. Налево — в поле — было виднее. Сияли наверху звезды, чем позднее, тем все густевшие. Небо, хоть и черное, все-таки слабо дымилось светом, и деревья выделялись на его фоне твердыми силуэтами.

Из лесного мрака с какого-то сука сорвалась сова, со слабым шорохом перелетела и села впереди. Жуков услышал

ее, но не видел, как ни старался. Видел он только, как, пере-черкивая звезды, закачался сук, на который она села. Подходя к ней, Жуков снова спугнул ее, и она стала летать кругами, захватывая часть поля и тотчас возвращаясь в лесную тьму. И теперь Жуков ее увидел. На горизонте за полями еще тлел остаток зари, даже не остаток, а просто небо там было размытее, невещественней, и сова, пролетая, мелькала каждый раз там беззвучным темным пятном.

Косясь на сову, Жуков спотыкался о корневница и нехорошо о ней думал. Глянуть направо в лес или назад он совсем не смел. А когда все-таки глянул вперед по дороге, мороз продрал его по спине: впереди и немного слева, перейдя из лесу через дорогу, стояли и ждали его кабиасы. Маленькие были они, как и говорил Матвей. Один из них тотчас хихикнул, другой жалобно, как давеча за сараем, простонал: «О-о... О-о...» — а третий крикнул перепелиным победным голосом: «Подь сюды! Подь сюды!»

Жуков стукнул зубами и помертвел. Он и перекреститься не мог, рука не поднималась.

— А-а-а!.. — заорал он на весь лес и вдруг понял, что это елочки. Весь дрожа, как собака перед стойкой, сделал он к ним шаг и еще шаг... За елочками что-то зашуршало и покатилося с беспокойным криком в поле.

«Птица!» — догадался Жуков, радостно переводя дыхание и поводя плечами под намокшей рубахой. Духом пронесясь мимо елочек, он вытащил папиросу, достал было и спички, но тут же сообразил, что, если зажжет спичку, его сразу заметят во всем лесу. Кто заметит, он не знал и боялся думать, а знал, что заметят.

Жуков присел, посмотрел понизу по сторонам, натянул на голову пиджак и так, под пиджаком, прикурил. «Пойду полем!» — решил он. Идти лесом, дорогой он больше не мог, а в поле хоть и было страшно, но не так.

Он прошумел начинающимся по опушке орешником, вышел на открытое и зашагал вдоль леса, далеко обходя все чернеющее на его пути и беспрестанно поглядывая направо. Сова все летала, везде шуршало и попискивало, а то где-то в самой глубине леса, в оврагах раздавался не то крик, не

то стон и долго колебался в воздухе, перекатываясь, как эхо, по опушкам.

Но вот лес кончился, опять зазмеилась пыльная светлая дорога. Жуков вышел на нее и, повизгивая от страха, не оглядываясь, побежал крупной рысью, прижимая локти к бокам, как бегун. Он бежал, воздух погукивал у него в ушах, лес отходил все дальше, пока не стал едва заметной четкой полосой. Жуков уже решил ни на что не смотреть и начал уже радоваться, начал, подлаживаясь под бег, напевать про себя что-то однозвучное и неестественно веселое: «Ти-та-та! Ти-та-та!» — как вдруг снова резко осадил и вытаращился.

То, что он увидел, не было на этот раз ни деревом, ни птицей, как он уже привык, а было что-то живое, что подвигалось ему наперерез по меже. Не было оно похоже ни на человека, ни на корову, ни на лошадь, а имело вид неопределенный. Жуков слышал уже ясно похрустывание бурьяна на меже, мягкое попрыгивание, слабое постукивание...

— Кто это? — раздался звучный голос.

Жуков молчал.

— Знакомый, нет? — обеспокоенно спросил голос уже с дороги.

Жуков теперь понял, что его окликают, что к нему подходит человек и ведет велосипед, но ответить не мог по-прежнему, только дышал.

— Жуков? — неуверенно догадался человек, подойдя вплотную и приглядевшись. — Здорово! Чего ж молчишь-то? А я думаю, кто бы это? Спички есть? Дай-ка прикурить...

Теперь и Жуков узнал Попова из райкома комсомола. Руки у Жукова так дрожали, что спички в коробке гремели, когда он давал их Попову.

— Откуда? — прикурив, спросил Попов. — А я, понимаешь, сбился. Еду к вам, да поворот прозевал, задумался... Вымахал уж к Горкам, да с той дороги сюда — по меже... Да ты что?

— Погоди... — сипло сказал Жуков, чувствуя слабость и головокружение. — Погоди...

Он стоял, виновато усмехаясь, не мог никак справиться со слабостью, окатывался потом и коротко дышал. Пахло пыльным твердым подорожником.

— Заболел, что ли? — испуганно спросил Попов.

Жуков молча кивнул.

— А ну, садись! — решительно сказал Попов и развернул велосипед. — Держись за руль. Ну!

Попов разогнал неровными толчками велосипед, вскочил на седло, сильно вильнув при этом, сдунул упавшие на лоб волосы и покатил в Дубки.

Жуков сидел на раме, ему было жестко и стыдно. Он чувствовал, как тяжело идет велосипед по пыли. Попов горячо дышал ему в спину, поталкивал коленками.

Почти всю дорогу оба молчали. Наконец показались огни колхоза, и Жуков шевельнулся.

— Постой-ка... — сказал он.

— Сиди, сиди! — задыхаясь, ответил Попов. — Тут немного, вот до медпункта доедем...

— Да нет, тормозни... — морщась, сказал Жуков и вытянул ногу, цепляясь за землю.

Попов с облегчением затормозил. Они соскочили с велосипеда и некоторое время стояли молча, не зная, о чем говорить. Рядом была конюшня, лошади услышали голоса, забеспокоились, переступая подковами по настилу. От конюшни сильно и приятно пахло навозом и дегтем.

— Дай-ка спичек, — попросил опять Попов.

Он закурил и долго с удовольствием вытирал пот с лица и шеи. Потом расстегнул ворот рубахи.

— Ну как? Полегчало? — с надеждой спросил он.

— Теперь ничего, — торопливо сказал Жуков. — Квасу я выпил. Наверно, от него.

Они медленно пошли по улице, слушая затихающие звуки большого жилья.

— Как в клубе дела? — спросил Попов.

— Так себе... Сам знаешь, уборка, народ занят, — рассеянно ответил Жуков и вдруг как бы вспомнил: — Да, не знаешь слова такого — «кабиасы»?

— Как, как? Кабиасы? — Попов подумал. — Нет, не попалось. А тебе зачем, для пьесы, что ли?

— Так чего-то на ум пришло, — уклончиво сказал Жуков.

Они подошли к клубу и подали друг другу руки.

— Спички-то возьми, — сказал Жуков. — У меня дома есть.

— Ладно. — Попов взял спички. — А ты молока попей, помогает от живота...

Он сел и поехал к дому председателя, а Жуков прошел темными сенями и отомкнул свою комнату. Попив холодного чаю, он покурил, послушал в темноте радио, открыл окно и лег.

Он засыпал почти, когда все в нем вдруг повернулось, и он, будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер, и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час.

Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц.

Ему опять захотелось говорить с кем-нибудь о культурном, о высоком — о вечности, например; он подумал о Любке, соскочил с койки, потопал босиком по комнате, оделся и пошел вон.

«Вон бежит собака!»



Давно погас высоко рдевший летний закат, пронеслись, остались позади мертво освещенные люминесцентными лампами пустоватые вечерние города, автобус вырвался наконец на широкую равнинность шоссе и с заунывным однообразным звуком «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж», с гулом за стеклами, не повышая и не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах, торжествующе и утрашающе помчался в темноту, далеко и широко бросая свет всех своих нижних и верхних фар.

В салоне сперва говорили, шуршали газетами и журналами, потихоньку, прямо из бутылки выпивали, закусывали, ходили вперед курить, потом начали успокаиваться, откидывать кресла, отваливаться, гасить яркие молочные лампочки, стали сонно покачивать головами на валиках, и через какой-нибудь час в теплом, сложно пахнущем автобусе было темно, все спали, только внизу, в проходе, горел над полом синий свет, а еще ниже, под полом, струилось намащенное шоссе и бешено вращались колеса.

Не спали только Крымов и его соседка.

Московский механик Крымов не спал потому, что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был оттого, что ехал на три дня ловить рыбу в свое, особое, тайное место, оттого, что внизу, в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте лежали его рюкзак и спиннинг, оттого, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячее счастье рыбака.

Он не мог сидеть спокойно, оборачивался, провожая взглядом что-то темное, неразборчивое, проносившееся ми-

мо, вытягивал шею и смотрел вперед, через плечо шофера, сквозь ветровое стекло на далекую матовость шоссе.

А соседка его не спала неизвестно почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые теперь в темноте казались черными.

Не спал в автобусе и еще один человек — шофер. Он был чудовищно толст, волосат, весь расстегнут — сквозь одежду мощно, яростно выпирало его тело, — и только головка была мала, гладко причесана на прямой пробор и глянцеви́та, так что даже поблескивала в темноте. Могучие шерстистые руки его, обнаженные по локоть, спокойно лежали на баранке, да и весь он был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто возвышающее его над всеми пассажирами, над дорогой и над пространством. Он был силуэтно темен сзади и бледно озарен спереди светом приборов и отсветами с дороги.

Крымову захотелось курить, но совестно было беспокоить соседку, и он не пошел вперед, достал сигарету, нагнувшись, воровато чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой, невидимой в темноте струйкой вниз, под ноги.

— У вас есть закурить? — услышал он шепот соседки. — Страшно хочу курить...

Доставая сигарету, Крымов слегка привалился к ней и близко взглянул ей в лицо, но увидел только бледное пятно с темными провалами глаз, и губы, и прямые волосы до плеч. Он дал ей сигарету и снова чиркнул зажигалкой. Она, так же как и он, прикурила, нагнувшись, загораживая огонек ладонями, которые на секунду стали прозрачно-розовыми, и опять Крымов ничего не рассмотрел, только прямой нос, скулу и опущенные ресницы.

— Ах, как хорошо! — сказала она, затянувшись и наклоняясь к нему. — Это «Ароматные»? Спасибо, они крепкие!

От нее горько и нежно пахло духами, и было в ее шепоте что-то странное, а не только благодарность, будто она просила его: «Ну поговорите же со мной, познакомьтесь, а то мне скучно ехать». И Крымов на минуту ощутил прилив той дорожной легкости, когда хочется говорить игриво, намеками, с нарочитой дрожащей откровенностью в голосе, и будто случайно касаться груди спутницы, и пригибаться, будто

выглядывая что-то в окне, чтобы своим лицом коснуться ее волос и посмотреть, не отстранится ли. А потом, конечно, слова: «Вы меня не так поняли», «Что вы! Разве я такой?» — и конечно же адресок, телефон в книжечку или просто назначить встречу там-то и тогда-то — это в случае, если едут в одно место.

Он встрепенулся и ощутил сердцебиение, ноздри его дрогнули, но тут же все погасло, заслоненное неистребимым счастьем, которое ждало его утром.

— Это что! — зашептал он, загоревшись уже другим. — Это не курение — в автобусе или в цехе, а вот на реке утром, знаете, когда рыба бьет, и все где-то в стороне, и вдруг у тебя как стибанет! На берег ее выволокешь, с крючка снимешь, бросишь в траву, а она прыгает, ух! Вот тогда закуришь так закуришь!..

— Вы рыбак? — прошептала она.

— Заядлый! — Крымов затянулся и сморщил нос от удовольствия. — Я сам механик, месяцами реки не вижу, у нас работа — производство, завод, это вам не артель, не посидишь... Я последний раз ловил, знаете, когда? В мае! А теперь июль. Я работник толковый, ну, на меня и валят, дали вот три дня отгула за неурочное время. Ну ничего, у меня отпуск скоро, тогда уж я дорвусь!

— Куда же вы едете? — спросила она, и опять в ее шепоте Крымову почудилось что-то странное, какой-то еще вопрос.

— Есть одно местечко, — уклончиво, суеверно пробормотал он. — А вы почему не спите, скоро сходить?

— Нет, я до конца еду... Вы говорите, на три дня? Когда же назад?

— Во вторник.

— Во вторник? Постойте... во вторник...

Она подумала о чем-то, потом вздохнула и спросила:

— А почему же вы не спите?

— Мне сходить в четыре утра.

Крымов задрал рукав куртки и долго смотрел на часы, разбирая, который час.

— Три часа осталось. Да и не спится, тут уж лучше не спать, а то разоспишься, потом на рыбалке будешь носом клевать...

Шофер оглянулся, снова стал смотреть на дорогу, и в фигуре его появилась нерешительность. Потом он осторожно протянул руку к радиоприемнику и включил его. Приемник засипел, шофер испуганно приглушил его и стал осторожно бродить по эфиру. Он нашел одну станцию, другую, третью, но все это были или бормочущие иностранные голоса, или народные инструменты, а это, наверное, ему не нужно было. Наконец из шума возник слабый звук джаза, и шофер отнял руку. Он даже улыбнулся от наслаждения, и видно было сзади, как сдвинулись к ушам его пухлые щеки.

Музыка была тиха, однотонна, одна и та же мелодия бесконечно переходила от рояля к саксофону, к трубе, к электрогитаре, и Крымов с соседкой замолчали, чутко слушая, думая каждый о своем и пошевеливаясь, покачиваясь под ритмические звуки контрабаса.

За окном изредка проносились оставленные на ночь одинокие грузовики на обочинах, и было странно смотреть на их неподвижность и одинокость. Казалось, в мире что-то произошло, и все шоферы ушли, включив на прощание подфарники на крыльях, и подфарники эти будут гореть долго, куда не иссякнет энергия в аккумуляторах.

Еще реже попадались навстречу такие же, как и этот, междугородные автобусы. Задолго до встречи за горизонтом, за выпуклостью шоссе, начинало дрожать зарево света, потом в неизмеримой дали появлялась сверкающая точка, она близилась, росла, двоилась, троилась, и уже видны были пять мощных фар внизу и наверху, которые вдруг гасли, снова включались и снова гасли, оба автобуса замедляли ход и наконец останавливались. Шоферы, высунувшись, недолго о чем-то переговаривались, от моторов шел дым, и лучи фар пробивали его косыми столбами. Потом автобусы трогались и через минуту снова мчались в черноту, каждый в свою сторону.

«Интересно, куда она едет? — думал иногда Крымов о соседке. — И замужем ли? И почему стала курить: так просто или от горя?»

Но тут же забывал о ней, поглощенный дорогой, ожиданием рассвета, мыслями о трех днях, которые он проживет у реки. Он думал, не начала ли течь палатка, и что это плохо в случае дождя, и не задержится ли автобус по какой-нибудь причине в дороге, а утренний клев между тем пройдет...

Счастливого беспокойство томило его, и соседка занимала воображение. А она теперь молчала, откинув голову на валик кресла и прикрыв глаза. Но когда он слишком долго засматривался вперед на дорогу или в окно, а потом взглядывал на нее, ему казалось каждый раз, что лицо ее будто поупернуто к нему, а глаза, неразличимые в темноте, следят за ним из-под ресниц.

«Кто она?» — думал он, но спросить не решался. И старался догадаться, вспоминая некоторое сказанное ею и тихий ее шепот. Он ее как-то не рассмотрел вечером, не до того ему было, а теперь хотелось, чтобы она была красива.

— Дайте закурить! — внезапно зашептала она. — И расскажите что-нибудь... Что молча ехать, все равно не спим!

Крымов уловил нотку раздражения в ее шепоте, удивился, но промолчал и покорно дал сигарету. «О чем говорить? — думал он, уже сердясь немного. — Странная какая-то». А сам сказал:

— Я все думаю про женщин, что вы охоты не любите, рыбалки, а ведь это большое чувство! А вы не только не любите, а как-то не понимаете даже, будто в вас пустота в этом смысле. Почему бы это?

В темноте было видно, как она пошевелилась, откинула волосы и потерла лоб.

— Охота — убийство, а женщина — мать, и ей убийство вдвойне противно. Вы говорите, наслаждение смотреть, как рыба бьется, а мне это гадко. Но я вас понимаю, то есть понимаю, что вы охотитесь и ловите рыбу не из-за жестокости. Толстой, например, очень страдал потом, после охоты, вспоминая смерть. И Пришвин тоже...

«Ну, понесла!» — уныло подумал Крымов и посмотрел на часы.

— Полтора часа осталось! — радостно сказал он.

Тогда соседка погасила сигарету, подняла воротник плаща, подобрала ноги и положила голову боком на валик, затылком к Крымову.

«Спать захотела, — решил Крымов. — Ну и ладно, давно пора, не люблю языком болтать в дороге! Хорошо еще, что я не женат, — неожиданно подумал он. — А то была бы вот такая, рассуждала бы про убийство, мораль читала... Опупеешь!»

Но ему где-то и обидно стало, и хотя он думал только об утренней рыбной ловле, но прежней глубокой, потрясающей радости уже не ощущал.

Шофер впереди нагнулся, не отрывая взгляда от дороги пошарил что-то внизу, держа одной рукой руль. Потом он выпрямился и стал с чем-то возиться на коленях, по-прежнему держа руль одной левой рукой. Крымов с интересом следил за ним. Наконец шофер взял в рот бутылку, запрокинул ее и отпил. Вздыхнул, опять запрокинул и отпил, и видно было, как шея и бока его толстеют и опадают во время глотков.

«Что это он пьет? — подумал Крымов. — Пиво, что ли? Да нет, им не положено в дороге... Ага, лимонад! Хоть бы приехать скорее!»

И тут же вспомнил о своем кофе в рюкзаке и о котелке, и ему захотелось кофе.

Стало заметно светлеть, но зелень на деревьях была еще темна, и только редкие домики, мелькавшие иногда по полям, поражали своей утренней белизной. Во рту у Крымова от курения и жажды пересохло, но настроение улучшилось, он забыл уже окончательно про соседку и думал только про свое место, про реку, про туман и жадно смотрел вперед.

Шофер выключил фары, и рассвет стал заметнее. Светлело с каждой минутой, и все — километровые столбики, рекламные щиты, дорожные знаки, линия горизонта даже на западе — было отчетливо видно.

Миновали пятисотый километр, шофер обернулся, поймал вопросительный взгляд Крымова и кивнул. Через минуту он сбросил газ и взял направо, к обочине. Обозначился крутой поворот, кинулся в глаза большой луг, и там, вдали, метрах в семистах от шоссе, чернели верхушки ивняка.

Автобус уже на холостом ходу катил все медленнее, глуше, тише, шипы на покрышках уже не жужжали, а дробно лопотали, наконец все будто совсем остановилось, и только хруст песка под колесами говорил, что автобус еще движется, проходя последний метр. Все смолкло, шофер снял руки с баранки, сладко потянулся, выпирая отовсюду телом, зевнул и открыл дверь. Он вышел первый и загремел внизу багажником.

— Извините! — сказал Крымов, торопливо поднимаясь и трогая соседку за плечо.

— А? — сказала та испуганно. — Уже? Вы приехали? Пожалуйста, счастливо... Как это? Ни пуха ни пера?

«К черту!» — по охотничьей привычке мысленно ответил Крымов, пробираясь вперед. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг, потом обернулся к автобусу. Автобус стоял, огромный, длинный, слегка запыленный, с нагретыми покрышками и мотором, и источал тепло в утреннем холоде. Отделение багажника по правому борту было открыто. Крымов подошел, раздвинул чемоданы и сумки, достал рюкзак и еле нашел спиннинг. Шофер громко хлопнул железной крышкой багажника, запер его и, обойдя автобус спереди, ушел в лес.

— Вот, значит, где ваше место! — раздалось сзади. Крымов оглянулся и увидел соседку.

Она вышла из автобуса и стояла, откидывая назад волосы и глядя на луг. Она была красивая и напоминала киноактрису, но Крымову уже не до нее было.

— Ну, дайте мне на прощание еще закурить, — сказала она, подходя и застенчиво посмеиваясь. — Вы очень добры! А я вас всю ночь мучаю просьбами...

Когда она прикуривала, у нее так дрожали губы и руки, что она долго не могла попасть концом сигареты в огонек. «Чего это она? — удивился Крымов и посмотрел на свой рюкзак. — Надо идти, пожалуй!»

— Вы счастливый! — сказала она, жадно затягиваясь. — В такой тишине три дня проживете. — Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. — Птицы проснулись. Слышите? А мне надо в Псков...

«Идти или не идти? — колебался Крымов, не слушая ее. Но уйти сразу теперь было уже неудобно. — Погожу, пока они уедут, не час же будут стоять!» — решил Крымов и тоже закурил.

— Н-да... — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— А знаете, я давно мечтаю в палатке пожить. У вас есть палатка? — сказала она, рассматривая Крымова сбоку. Лицо ее внезапно стало скорбным, углы губ дрогнули и пошли вниз. — Я ведь москвичка, и все как-то не выходило...

— Н-да... — сказал опять Крымов, не глядя на нее, переминаясь и смотря на пустынное шоссе, в лес, куда ушел шофер.

Тогда она затянулась несколько раз, морщась, задыхаясь, бросила сигарету и прикусила губу.

Как раз в эту минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось пересекая его. Она была мокра от росы, шерсть на брюхе и на лапах у нее курчавилась, а капли росы на морде и усах бруснично блестели от заалевшего уже востока.

— Вон бежит собака! — сказал Крымов, машинально, не думая ни о чем. — Вон бежит собака! — медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку.

Собака бежала деловито, целеустремленно, не глядя по сторонам, и стояла такая тишина, что слышно было, как по асфальту клацали ее когти.

Наконец и шофер появился из лесу, вышел на шоссе, посмотрел на бегущую собаку, посвистал ей, но она не обернулась. Шофер подошел к автобусу и осмотрел его, будто видел первый раз. Ботинки его были в росе, даже на шерстистых руках была роса. Он громко потопал ногами, чтобы сбить росу, обошел автобус, пиная покрышки, и полез внутрь.

— Что ж, спасибо за сигареты! — сказала девушка и тоже поднялась на ступеньку.

— Счастливо, — пробормотал Крымов, нагибаясь за своим рюкзаком.

Мотор взревел, автобус тронулся, на Крымова прощально посмотрело изнутри рассветно-несчастное лицо, а он слабо махнул рукой, улыбнулся, слез с насыпи и пошел прямоком к реке.

— Вон бежит собака! Вон бежит собака! — нараспев повторял он про себя, идя лугом и подлаживаясь произносить слова в ритм шагам.

И с удовольствием смотрел на искристый луг, на небо, дышал во всю грудь, и только одно беспокойство было, как бы кто не опередил его в этот час и не занял место.

Подойдя к реке, он спрыгнул с небольшого обрыва на песок и ревниво огляделся. Но ни одного следа не было на песке. Река — неширокая, медленная, с плесами и камышами, с песчаными отмелями — лениво извивалась по лугам и была глуха.

Крымов быстро распаковал рюкзак, достал кофе, котелок, сахар, зачерпнул воды, набрал сухого плавника и тут же на песке развел небольшой костерчик. Потом воткнул в песок две рогульки, повесил котелок и стал ждать.

Пахло дымом, сырыми берегами и сеном издалека. Крымов сел и ужаснулся своему счастью. Он и не предполагал, что может так радоваться этому утру, и этой реке, и тому, что он один.

«Попью кофе, а потом кину!» — решил он и стал налаживать спиннинг, привычным взглядом замечая одновременно и реку, и как горит огонь, и воду в котелке, которая начинала медленно кружиться.

— Вон бежит собака! — повторял он, как заклинание. — Вон бежит... Попью кофе, а потом кину!

На другой стороне, под камышами, громко плеснула щука. Крымов вздрогнул, замер, мгновенно вспотел и посмотрел на то место. Там тяжелыми волнами расходились круги.

«Нет, сперва кину, кофе успеется!» — тут же решил Крымов, продевая леску сквозь кольца и привязывая к ней любимую свою блесну «Байкал» — серебряную, с красным пером. Опять, уже в другом месте, ударила щука, и тотчас возле берега испуганно сверкнула плотвичка.

«Погоди, погоди! — ликующе думал Крымов. — Вон бежит собака! Погоди...» — и насаживал катушку на рукоятку спиннинга.

Вода в котелке закипела, пена полилась, побежала через край, зашипела на углях, и поднялось облачко пара. Крымов поглядел на котелок, снял его и облизал сухие губы. «Ах, черт! Все-таки кофе — это вещь!» — подумал он, осторожно косясь на реку и откупоривая банку с кофе. Он сунул нос в банку, понюхал и чихнул.

— Ух, ты! — уже вслух сказал он и, зажав спиннинг в коленях, стал заваривать кофе.

Заря разгоралась все больше, краски на камышах и воде беспрестанно менялись, туман завитками плыл вместе с рекой, ивовые листья блестели, как лакированные, и уже давно в камышах, и дальше, в лесу, и поблизости, где-то в ивняке, трюкали и пикали птицы на разные голоса. Уж первый ветерок пахнул горько-сладким теплым лесным духом и пошевелил камыши...

Крымов был счастлив!

Он ловил и радовался одиночеству, спал в палатке, но и ночью внезапно просыпался, сам не зная отчего, раздувал огонь, кипятил кофе и, посвистывая, ждал рассвета. А днем купался в теплой реке, плавал на ту сторону, лазил в камышах, дышал болотными запахами, потом опять бросался в воду, отмывался и, накупавшись, блаженно лежал на солнце.

Так он провел два дня и две ночи, а на третий, к вечеру, загорелый, похудевший, легкий, с двумя щуками в рюкзаке вышел на шоссе, закурил и стал ждать московского автобуса. Он сидел блаженно и покойно, разбросав ноги, привалясь к рюкзаку, и смотрел в последний раз на луг, на верхушки ивовых кустов вдаль, где он недавно был, мысленно воображал реку под этими кустами и все ее тихие повороты и думал, что все это навсегда теперь вошло в его жизнь.

По шоссе проносились красно освещенные солнцем грузовики, молоковозы, громадные серебристые машины-холодильники, приседающие на заднюю ось «Волги», и Крымов уже с радостью провожал их глазами, уже ему хотелось города, огней, газет, работы, уже он воображал, как завтра в цехе будет пахнуть горячим маслом и как будут гудеть станки, и вспомнил всех своих ребят.

Потом он слабо вспомнил, как выходил здесь три дня назад на рассвете. Вспомнил он и спутницу свою по автобусу и как у нее дрожали губы и рука, когда она прикуривала.

— Что это было с ней? — пробормотал он и вдруг затаил дыхание. Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко, острая тоска схватила его за сердце.

— Ай-яй-яй! — пробормотал он, тягуче сплевывая. — Ай-яй-яй! Как же это, а? Ну и сволочь же я, ай-яй-яй!.. А?

Что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями и рекой, что-то прекрасное, но уже отрешенное, и оно страдало ему и жалело его.

— Ах, да и подонок же я! — бормотал Крымов, часто дыша, и вытирался рукавом. — Ай-яй-яй!.. — И больно бил себя кулаком по коленке.

Осень в дубовых лесах



Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось все у меня в ту осень.

Аспидно-черной была эта ночь поздней осени, и не хотелось выходить из дому, но я все-таки вышел. Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока наконец свеча на разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными.

Свет в доме я нарочно не погасил, и освещенное окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее к Оке. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперед и по сторонам, и я, наверное, похож был на стрелочника, только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвоя лиственниц, которая даже при смутном свете фонаря была золотистой, а на голых кустах рдели ягоды барбариса.

Жутко идти ночью одному с фонарем! Один ты шуришь сапогами, один ты освещен и на виду, все остальное, притаившись, молча созерцает тебя.

Аллея круто уходила вниз по скату, свет в окне моего дома скоро пропал, потом и аллея кончилась, пошли беспорядочные кусты, дубняк и елки. По ведру щелкали последние высокие ромашки, кончики еловых лап, какие-то голые прутья, и то глухо, то звонко раздавалось: «Бум! Бум!» — и далеко было слышно в тишине.

Тропа становилась круче и извилистей, пошли частые березы, их белые стволы поминутно выступали из мрака. Потом кончились и березы, на тропе стали попадаться камни, дохнуло свежестью, и, хоть за пятном света от фонаря ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство — я вышел к реке.

Тут уж увидел я далекий бакен справа. Красный огонек его двоился, отражаясь в воде. Потом показался бакен на моей стороне, гораздо ближе, и слегка мигнуло тоже, и река обозначилась.

По мокрой траве между кустами ивняка пошел я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте однотонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, пошел к родничку, зачерпнул воды, напился и утерся рукавом. Потом поставил мокрое ведро рядом с фонарем и стал смотреть в сторону далекой пристани.

Катер уже стоял возле пристани, слабо видны были его красный и зеленый огни по бортам. Я сел и закурил. Руки у меня дрожали и были холодны. Я вдруг подумал, что если ее нет на катере, а с катера заметят мой фонарь, подумают, что я хочу ехать, и пристанут к берегу. Тогда я погасил фонарь.

Сразу стало темно, только, будто проколотые иглой, горели бакены по всей реке. Тишина стояла звенящая; в этот поздний час, верно, один я был на многие километры на берегу. А наверху, за дубовым лесом, лежала темная деревенька, все давно спали, и только в моем доме на краю горел свет.

Я представил вдруг весь ее длинный путь ко мне, как она ехала из Архангельска, спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то говорила. Как она, так же как и я, все эти дни думала о встрече со мной. И как она едет теперь по Оке и видит берега, о которых я ей писал, когда звал к себе. Как она выходит на палубу и в лицо ей дует ветер, несущий запах сырых дубовых лесов. И какие разговоры внизу всю дорогу, в тепле, за запотевшими стеклами, как ей объясняют, где сойти и где переночевать, если никто не встретит.

Потом я вспомнил Север, свои скитания по нему и то, как я жил на тоне и мы с ней били зубаток в белые ночи. Ры-

баки тяжело спали, всхрипывая и постанывая, а мы дожидались отлива и выходили на карбасе в море. Она беззвучно гребла, а я вглядывался в глубину, в клубки водорослей, разыскивая между ними очертания рыб. Я тихо подводил острогу и вонзал белое острие зубатке в затылок, напрягаясь, вынимал ее из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свертывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на тритона. И потом, уже на дне карбаса, долго шуршала еще, вздрагивала и вцеплялась во что попало мертвой хваткой.

И я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый, как много успел я написать рассказов и еще, наверное, напишу за оставшиеся глухие, тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погасшей и предзимней...

Ночь была вокруг меня, и папироса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки, и лицо, и сапоги, но не мешала мне видеть звезды, — а их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река, и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и в оврагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях.

И я подумал тут же, что главное в жизни — не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей.

Катер уже отошел от пристани. Он был так далек еще, что движения его нельзя было уловить. Казалось, он стоял на месте, но от пристани отделился, и это значило, что он шел теперь вверх, ко мне. Скоро послышался высокий звук дизеля, и мне вдруг стало страшно, что она не придет, что ее нет на катере и я напрасно жду. Я увидел внезапно расстояние и дни, которые ей надо преодолеть, чтобы добраться до меня, и понял, как это непрочно все — какие-то мои планы счастливой жизни здесь вдвоем.

— Что же это! — сказал я вслух и поднялся. Я не мог уже сидеть и стал ходить по берегу. — Что же это! — время от времени беспомощно повторял я и все поглядывал на катер, а

сам думал, как дико будет идти мне одному наверх со своей водой и как пусто станет в моем доме. И неужели нам не повезет наконец, и после стольких дней и наших неудач мы не встретимся и так все пойдет прахом?

Я вспомнил, как уезжал три месяца назад с Севера домой, как она неожиданно приехала в деревню с тони проводить меня, как стояла на мостках, пока я садился в мотобот, чтобы плыть к пароходу на далеком рейде, и как говорила все одно и то же: «Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Куда ты едешь?» А я уже на мотоботе среди прощаний, слез женщин, криков парней и всякого шума понимал, что делаю что-то ребяческое, уезжая и слабо надеясь как-то все поправить в будущем.

Катер был теперь близко, а я уже не ходил, а стоял на самом краю, на самом обрыве над черной водой и смотрел на него не отрываясь, щурясь и громко дыша от возбуждения и надежды.

Звук мотора внезапно стал ниже по тону, на рубке сверкнул прожектор, и дымный косой луч секанул по берегу, перескакивая с дерева на дерево. Катер искал место, где пристать. Он забирал все вправо, напряженный луч прожектора ударил мне в лицо, я отвернулся, потом опять поглядел. На верхней палубе стоял матрос и уже открывал борт, чтобы сойти вниз и перекинуть на берег трап. А рядом с ним в чем-то светлом стояла она.

Нос катера мягко и глубоко вонзился в берег, матрос сдвинул трап, помог ей сойти, а я перехватил чемодан, отнес его подальше, поставил рядом с ведром и тогда только медленно обернулся. Свет прожектора слепил меня, и я никак не мог ее рассмотреть. Отбрасывая громадную зыбкую тень на лесистый откос наверху, она подходила ко мне. Я хотел ее поцеловать, но потом раздумал, мне не хотелось этого под светом прожектора. И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света, и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на катер. Катер дал задний ход, луч прожектора пополз в сторону, потом и вовсе погас, дизель внизу опять запел, и катер — с длинным рядом освещенных окон в нижних салонах — быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни.

— Ну, здравствуй, — сказал я смущенно.

Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза.

— Пойдем! — сказал я и покашлял. — Черт, как темно, погоди, я фонарь зажгу...

Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стекла. Потом мы пошли: я — впереди с чемоданом и фонарем, она — сзади с ведром воды.

— Тебе не тяжело? — спросил я через минуту.

— Иди, иди! — сипло сказала она.

У нее всегда был сильный, низкий голос, и вообще она была жесткая и сильная, и я долго не любил в ней этого. Потому что я любил в женщинах нежность. Но сейчас, здесь, на берегу реки, ночью, когда мы шли друг за другом к дому, после стольких дней злости, разлуки, писем и странных угрожающих снов, ее голос, и крепкое тело, и шершавые руки, ее северный выговор были как дыхание нездешней птицы — дикой, сероперой, отставшей от осенней стаи.

Мы свернули направо в овраг, по которому вверх шла неизвестно кем и когда мощенная короткая дорога — узкая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарем, а над нами текла узкая звездная река, по ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды.

Еле переводя дух, мы вышли на листовничную аллею и пошли рядом. Мне вдруг захотелось ей все показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях.

— Понюхай, — сказал я, — как пахнет!

— Вином, — ответила она, слегка задыхаясь от ходьбы. — Я давно почуяла, еще на пароходе...

— Это листья. А вот пойді сюда!

Мы оставили на аллее вещи, перепрыгнули через канавку и полезли в кусты, светя себе фонарем.

— Это где-то должно быть тут... — бормотал я.

— Грибы, — изумленно сказала она сзади. — Сыроежки.

Наконец я нашел то, что искал. Это были белые перья от цыпленка, рассеянные по траве, хвое и желтым листьям.

— Посмотри, — сказал я и стал светить. — У нас здесь птицеферма в деревушке. Цыплята подросли, их начали выпускать. И вот лиса приходит теперь каждый день и сидит в кустах. Когда цыплята разбредутся по лесу, она ловит чего-нибудь. И тут же жрет.

Я представил себе эту лису с сединой на темной морде, как она облизывается и фукает, чтобы сдуть с носа пух.

— Ее надо убить! — сказала она.

— У меня ружье, мы с тобой ходим по лесам, и, может быть, нам повезет.

Мы выбрались опять на аллею и пошли дальше. Показалось освещенное окно моего дома, и я стал думать о том, что сейчас будет, когда мы придем. Мне сразу захотелось выпить, а у меня была рябиновка. Я ее делал сам, хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить ее в соковыжималке, чтобы текла желтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой.

— А у нас зима! — сказала она как будто удивленно. — Двина замерзла, только посерединке ледоколы проделали проход. Все белое, а проход черный... И пар идет. А когда корабль идет по черной воде, то по льду рядом собаки бегут. И почему-то бегут троем.

Она так и сказала по-северному: «троем», а я представил Двину, и пароходы, и Архангельск, и деревню на Белом море, откуда она приехала. Высокие двухэтажные пустые избы, черные стены, безмолвие и уединенность.

— Лед уже появился? — спросил я. — В море?

— Нагоняет, — сказала она и тоже о чем-то подумала, может быть, о том, что оставила там. — Обратного на оленях придется добираться, если...

Она замолчала, я подождал, прислушиваясь к ее дыханию и шагам, потом спросил:

— Что если?

— Ничего, — особенно тихо и медленно сказала она. — Если еще льду нагонит, вот что!

Потопаив по крыльцу, мы вошли в дом.

— У-у! — сказала она, оглядываясь и снимая платок. Она всегда, когда удивлялась или радовалась, говорила это свое низкое и медленное «у».

Дом был мал и стар, я снял его у москвича, который жил в нем только летом. Мебели почти не было, только старые кровати, стол да стулья... Стены точил жучок, и все они были обсыпаны белой мукой. Зато в доме были приемник, электрический свет, печка и несколько толстых старых книг, которые я любил читать по вечерам.

— Раздевайся! — сказал я. — Сейчас печку растопим...

И пошел на двор рубить хворост для печки. Но мне было что-то не по себе от счастья, в голове звенело, руки тряслись, вообще весь я как-то ослаб и хотелось посидеть. Звезды сверкали мелко и остро. «Будет мороз, — подумал я. — И, значит, утром слетят все листья. Скоро зазимок!»

На Оке медленно возник певучий трехтоновый гудок и долго отдавался, перекатываясь по холмам. Где-то внизу шел буксир, один из тех старых паровых буксиров, которых мало уж теперь. Новые катера и водометы-толкачи гудят коротко, высоко и гнусаво. Разбуженные гудком, на птичнике прокричали фальцетом несколько петушков...

Я нарубил сучьев, набрал дров и пошел в дом. Она сняла пальто, стояла спиной ко мне и шелестела газетами, доставала что-то из чемодана. Была она в цветистом платице, оно было тесно ей, и, приведи я ее в Москве куда-нибудь в гости, в клуб, все бы незаметно улыбались, а это, наверное, было ее лучшее платье. И я вспомнил, что обычно она ходит в спортивных брюках, заправленных в сапоги, а поверх какая-нибудь старая, выгоревшая юбка, и это очень там было здорово.

Я поставил чайник и стал растапливать печь. В печи скоро загудело, хворост затрещал, запахло дымом и дровами.

— Это тебе! — сказала она сзади.

Я обернулся и увидел на столе семгу — великолепную, тускло-серебряную, с широкой темной спиной, с загнутой кверху нижней челюстью. В доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня.

Она была поморкой, она даже родилась в море на мотоботе летом в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. Ведь только приезжий видит их и сходит с ума от тишины и одиночества. Только когда ты там гость, оторван от

всех и как бы всеми забыт, только тогда ты не спишь ночью и все думаешь, думаешь и говоришь себе: «Ну-ну! Это ничего, это просто ночь, а ты здесь не навсегда, и что тебе до ночи, пусть солнце крадется краем моря. Спи, спи...»

А она? Она крепко спала ночами на тонях за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду... И это было всегда, каждое лето, пока не приехал я.

И вот теперь на Оке мы пьем рябиновку, едим семгу и говорим, вспоминаем разные разности. И то, как мы выезжали белыми ночами в море бить зубаток, и как тянули в шторм с рыбаками ловушки, и захлебывались горькой водой, и нас мучило, и как ходили на маяк за хлебом, и как сидели однажды ночью в деревенской библиотечке, и, разувшись, скинув телогрейки, читали все газеты и журналы, вышедшие за те дни, когда мы были на тоне.

Я бросил на пол к печке шубу мехом вверх, мы поставили рядом чайник и конфеты, взяли чашки и легли на эту шубу, глядя попеременно то друг на друга, то в розовую топку, на угли, как по ним перебегали огоньки. И, чтобы так подольше лежать, я иногда вставал и подбрасывал в печь хворосту, и он начинал трещать, а мы отодвигались от жара. Часа в два ночи я встал в темноте, потому что не мог спать. Мне казалось: если я усну, она куда-то уйдет от меня, я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она была все время со мной и я бы это знал. «Возьми меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой! — хотелось мне сказать. — Потому что нельзя расставаться надолго». Потом я подумал, что люди, которые уходят от нас и мы их не встречаем больше, эти люди для нас умирают. А мы для них. Странные мысли приходят в голову ночью, когда не можешь спать от радости или от тоски.

— Ты спишь? — спросил я тихо.

— Нет, — отозвалась она с постели. — Мне хорошо. Не гляди, я оденусь...

Тогда я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее.

Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть.

Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию. Она чужда мне, но в ней звучит какая-то тайная мысль, и не понять, печальна она или радостна. Я часто вспоминал ее, когда ехал куда-нибудь, когда что-нибудь меня радовало или, наоборот, угнетало. Напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные, и во всю ночь ни слова упрека не услышал я от нее, и мне было стыдно.

Она уезжала в Архангельск после пяти каких-то пустых дней, проведенных в Москве. Все было точно так же, как всегда бывает на московских вокзалах: катили свои тележки носильщики, зудели автокары, кругом торопились, прощались, оставались считанные минуты... Она уезжала, хотя могла бы и не ехать еще, у нее было время — несколько свободных дней. А мне было досадно, горько, я злился и на себя, и на нее. Я думал, как пусто мне станет без нее и опять придется пить, чтобы как-то справиться с тоской.

— Не уезжай! — сказал я.

Она только усмехнулась и дрожащими глазами снизу посмотрела на меня. Глаза у нее были темные, с зелеными искорками, нельзя было понять — зеленые они у нее или черные. Но когда она на меня там смотрела, они были черные, это я хорошо помню.

— Как глупо! — говорил я. — То я уехал с Севера, ничего не поняв, а теперь ты, и опять ничего... Как глупо! Не уезжай!

— Чего теперь говорить, — пробормотала она со злостью.

— Не нужно было останавливаться у каких-то родных, которые всегда дома!

— А у кого? У тебя, что ли? Все равно, — сказала она упрямо. — Чего теперь говорить...

— Поедем сейчас в гостиницу, ты поживешь там эти дни.

— Поезд сейчас пойдет, — сказала она, отворачиваясь.

— Да нет, погоди, подумай! После стольких писем мы будем вместе, одни, подумай!

Она долго молчала, поводя глазами по моему лицу, прикусив губу, наконец спросила жалко, подстреленно:

— А ты будешь рад, если я останусь?

Мне стало трудно дышать, комок подступил к горлу, я повернулся, быстро вошел в вагон, наталкиваясь на кого-то, протискиваясь, отыскал ее купе, взял чемодан и вышел. До сих пор помню, как смотрели на нас проводники и все, кто был около вагона в ту минуту.

— Поедем, — сказал я.

— А билет? — сияя глазами, спросила она.

— Плевать на билет! — сказал я и взял ее за руку. Мы вышли на площадь и сели в такси.

— В гостиницу, — сказал я.

— В какую? — спросил шофер.

— Все равно в какую!

Машина тронулась, понеслась навстречу светофорам, уже горящим неоновым вывескам, мимо вокзалов, людей и домов.

— Постой, старик, — сказал я шоферу возле какого-то магазина, вышел и купил бутылку вина. Я вернулся, засунув ее в боковой карман. Я воображал, как мы пьем это вино одни, поднимая бокалы и глядя друг другу в глаза. Я ощущал уже его вкус во рту, когда мы подъехали к гостинице и я пошел к администратору.

— Мест нет, — сообщил он мне спокойно.

— Любой номер. Понимаете — любой номер, самый плохой или самый лучший!

— Мест нет, — кисло повторил он и с досадой взял трубку беспрерывно звонившего телефона.

Она дожидалась меня в вестибюле, робко глядя на величественные колонны и зеркала. Она и на меня взглянула робко, будто я был владыкой всего этого! Мы вышли к стоянке такси.

— Поедем в другую, — сказал я огорченно.

Она безропотно села в машину, и мы понеслись по Москве. Я заехал к другу занять денег и чуть было не попросил приютить нас, но у сестры его были гости, я посмотрел на

них, на стол с вином, на тахту, на задранные ноги в узких мокасинах и ничего не попросил. Зато денег взял побольше.

— Выпей! — сказал мне друг, перехватив мой взгляд.

— Нет, меня ждут, спасибо!

Прошел час и два, а мы все ездили, и везде нам говорили одно и то же: «Мест нет!» Выходя на улицу, я оглядывал огромные здания гостиниц и домов, все эти многоэтажные ряды окон, многие из которых были уже погашены, и думал обо всех, кто в этот час может спокойно сидеть и лежать у себя в комнате, и слушать радио, и читать что-нибудь на сон или обнимать женщину, и у меня начинало болеть сердце.

Наконец, измученные, мы отвезли ее чемодан на вокзал, сдали его в камеру хранения и медленно пошли к Сокольникам. Был двенадцатый час ночи.

— Что ж будем делать? — со смехом спросил я.

— Не знаю, — сказала она устало. — Может, в ресторан пойдем? Я есть хочу...

— Рестораны закрыты, — сказал я, посмотрев на часы, и опять глупо засмеялся. — Пошли в центр на бульвары.

Мы шли быстрым шагом, как ходили на Севере по берегу моря, когда нам нужно было не опоздать в кино в клубе за двадцать километров. Фонари погасли, горели только через один и на одной стороне. Людей почти не стало на улицах. Наконец мы пришли на Тверской бульвар и сели на скамейку.

— А к тебе никак нельзя? — спросила она с надеждой.

— А то бы я ходил с тобой! Отец, мать — куда!

— Ну ладно, — сказала она. — Не горюй, завтра я уеду, есть еще утренний поезд. А потом... — она вздохнула, — потом ты опять когда-нибудь приедешь к нам.

Я обнял ее, она прижалась ко мне, закрыла глаза.

— Мы и так посидим, правда? — бормотала она, шевелясь на скамейке и устраиваясь поудобней. — Ты хороший, я тебя люблю, дурачок, я тебя там еще полюбила, а ты не знал... Бедный ты, бедный!

Посидев минуту неподвижно, она скинула туфли и подобрала ноги, укрыв их юбкой.

— Ноги болят, — сонно бормотала она. — Туфли эти... Без привычки...

По боковой аллее шли два милиционера. Увидев нас, один из них вышел на свет и пошел к нам.

— Пройдите, гражданин! — сказал он почему-то только мне. — Это не разрешается.

— Что не разрешается? — спросил я в то время, пока она смущенно надевала туфли на опухшие ноги.

— Нечего разговаривать! Сказано — пройдите!

Мы встали и пошли. Я снова стал разглядывать дома и окна, и мне все время представлялась комната с тахтой. Больше в этой комнате ничего не было, только слабый розовый свет и тахта.

— Слушай, зайдем в подъезд, — сказал я неуверенно.

— Пойдем, — согласилась она и слабо улыбнулась. — Я там туфли сниму, на ступеньке посидим.

Мы вошли в какой-то темный двор, пошли в угол к самому дальнему подъезду, закрыли за собой дверь и сели на ступеньку. Она тотчас сняла туфли и стала растирать ступни.

— Устала? — спросил я и закурил. — Бедная, не повезло нам в Москве.

— Да, — она потерлась щекой о мое плечо. — Очень большой город.

Послышались шаги, дверь открылась, в подъезд заглянула дворничиха и увидела нас.

— А ну, пошли отсюда! — закричала она. — Напасти на вас, чертей, нету, как кошки подворотные шляются! Пошли, а то засвищу сейчас!

И она вытащила из кармана фартука блестящий свисток. Лицо у нее было злое, скуластое. Мы опять пошли двором, сзади шла дворничиха и ругалась. На улице мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Это тебе не Белое море, — сказал я.

— Ничего, — опять успокоила она меня, — давай просто так ходить. Или поедем на вокзал, на лавках хоть поспим, а?

— Ладно, — согласился я и вдруг оживился: — Слушай, я дурак, давай поедем за город! Возьмем такси, деньги у меня есть, и поедем километров за тридцать — у нас так делают!

По улице медленно проезжало такси. Я любил раньше, возвращаясь поздно, смотреть на эти ночные такси. Как за-

колдованные, медленно блуждают они по спящему городу, мерцая зелеными огоньками, и, глядя на эти огоньки, всегда хочется уехать куда-нибудь далеко.

Мы остановили такси.

— За город? — переспросил таксист и сразу заметно понаглел. — Семь с полтиной — повезу.

— Ладно, — сказал я. Мне было уже все равно. Пока ехали, мне захотелось спать. Дорога была пустынна, на западе держался еще сумрак, но восток побелел, начинался рассвет. Ветер ровно гудел снаружи, а в такси сильно пахло бензином.

— Тут, что ли? — спросил шофер, замедляя ход возле какой-то рощицы. — Дальше у нас не ездят. Периферийная, что ли? — спросил он, глядя на нее.

Мы вышли, и нас тут же стало знобить от предрассветного холода.

— Полчаса хватит? — спросил шофер, оценивающе разглядывая меня. — Я вздремну, придете — разбудите. Сигаретка есть? Дай-ка закурю...

И стал разворачиваться на обочине, а мы пошли жесткой травой к лесу, и единственным моим ощущением тогда было ощущение сырости и озноба. Костюм мой задубел, отяжелел, ботинки стали мокры, а складка на брюках разгладилась. В лесу стоял сумеречный свет; я взглянул на нее, думая, что же я буду теперь делать. У нее был усталый вид, лицо осунулось и под глазами лежали круги. Она вдруг откровенно зевнула и скучно посмотрела вокруг, как бы недоумевая, зачем мы сюда заехали.

— Тоже мне лес... — пробормотала она и вдруг враждебно поглядела на меня.

Я тоже зевнул, почувствовал скуку и злость, что я не дома в постели, а здесь, в сырости и холоде.

— Надоело, — сказала она, судорожно зевая, низко и сипло выговаривая «надоево» вместо «надоело». — О Господи! Не надо ничего, я не хочу, поехали обратно...

— Назад так назад, — сказал я вяло и тоже зевнул. — Только давай выпьем, а то карман оттягивает.

Я вытащил бутылку, попробовал вышибить пробку, но пробка втиснута была очень плотно. Тогда я проткнул ее внутрь сургучом.

— Пей, — сказал я, подавая ей теплую бутылку.

— Не хочу, — пробормотала она, но бутылку взяла и, вздохнув, стала пить. Две струйки, как кровь, пролились по ее подбородку, она закашлялась и отдала мне бутылку. Я допил ее и бросил.

— Пошли, — сказал я с облегчением.

Мы опять брели по сырому лесу, по папоротникам, потом по кочкам луговины, и она все приподнимала платье, чтобы не забрызгать росой подол.

— Чего так рано? — спросил шофер и насмешливо посмотрел на меня. — Характером не сошлись?

— Давай круги! — злобно сказал я, еле удерживаясь, чтобы не ударить его.

Мы ехали назад и дремали, приваливаясь друг к другу при крутых поворотах, и, помню, прикосновения к ней были неприятны мне, да и ей тоже, наверное... Было часов пять утра, а до поезда надо было болтаться где-то еще часа три. Мне было плохо, вино ударило в голову, но как-то тяжело, душно.

Три часа эти были мучением, а главное, что я не мог уйти, а должен был с ней быть до конца. Еле дождавшись поезда, я снова провожал ее и не знал, что сказать, голова у меня трещала.

— Ну ладно, пиши, — сказала она и взялась за поручень.

Я нашел в себе силы приостановить ее.

— Не сердись, — пробормотал я, поцеловал ее в лоб и пошел к выходу. Помню, мне стало так легко, когда я с ней расстался, что я даже удивился, но было и грустно; где-то глубоко какая-то ранка саднила в душе, и стыдно как-то было.

Я подтащил шубу к приемнику, и мы сели на нее рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я все нашел, и найденное было даже лучше, чем я мог предполагать.

Элегически бормотал контрабас, отыскивая во тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звездное небо. А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в неистовые верха труба, и рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалипсическими аккордами. И, как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе все ударник.

— Не будем зажигать света, ладно? — сказала она, глядя с пола вверх, на зеленоватую шкалу приемника, на его волчий глаз.

— Ладно, — согласился я и подумал, что, может быть, такой ночи у меня никогда больше не будет. И мне стало грустно, что прошло уже три часа, мне захотелось, чтобы все это началось сначала, чтобы я опять вышел с фонарем и ждал, чтобы мы снова вспоминали, а потом опять боялись бы расстаться друг с другом во тьме.

Она поднялась на минуту за чем-то, заглянула в окно и тихо сказала:

— Снег...

Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шел неслышимый снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представил, как завтра днем обнаружатся мышьи следы вокруг куч хвороста в лесу и заячьи следы возле акации, которую они так любят глотать по ночам, вспомнил о своем ружье, мне стало весело, и пробрала дрожь. Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого, и что завтра я поведу ее на свои любимые места, покажу Оку, поля, холмы, лес и овраги... Ночь шла, а мы все не могли заснуть, говорили шепотом и обнимались, боясь потерять друг друга, и опять топили печку, смотрели в ее огненный зев, и красный свет пек наши лица. Заснули мы часов в семь утра, уж окна поглубели, и проспали долго, потому что нас никто не будил в нашем доме. Пока мы спали, взошло солнце и все подтаяло, но потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружье, и мы вышли из дому. Даже больно

на секунду нам стало — такой белый зимний свет ударил нам в глаза и так чист и резок был воздух. Снег сошел, но всюду остались ледяные корки. Они были матовы, полупрозрачны. Из коровника шел душистый пар, телята толкалисьazole и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, что под верхними ледяными колчами еще не замерзла навозная жижа. А некоторые с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи.

Мы шли сперва по дороге. Колеи затянулись матовым, но подо льдом стояла глинистая вода, и, когда сапоги наши проламывали корку, на лед коричнево брызгало. А в лесу из-под льда торчали поздние, едва зажелтевшие одуванчики. Во льду видны были вмерзшие листья и хвоя, стояли заледевшие последние грибы, и, когда мы ударяли по ним ногой, они сламывались и гремя, подскакивая, долго катились по льду. Лед под нашими ногами проседал, и далеко хрустело и гремело кругом: спереди, сзади и по бокам.

Поля на холмах были дымно-зелены издали и будто пересыпаны мукой, стога почернели, лес сквозил, был черен и гол, только резко проступал березовый белый частокол, барахтались и лоснились зеленью стволы осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели еще последние красные шапки неопавших деревьев. Река сквозь лес была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы, и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочажке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной.

— Хорошо? — спросил я, посмотрев на нее, и изумился: глаза у нее были зеленые.

— Хорошо! — сказала она, жадно озираясь и облизывая губы.

— Лучше, чем на Белом море? — спросил я еще.

Она опять стала смотреть на реку и вверх по откосу, и глаза ее еще позеленели.

— Ну, Белое море... — сказала она неопределенно. — У нас... у нас... А тут дубы, — перебила она себя. — Как это ты нашел такое место?

Я был счастлив, но мне и странно как-то было и боязно: уж очень все хорошо выходило у меня в ту осень. Чтобы успокоиться, я закурил и стал весь куриться дымом и паром. На Оке со стороны Алексина показался буксирный катер, он шибко бежал вниз, гнал волну, и мы молча проводили его глазами. Из машины у него шел обильный пар и струей еще выскакивал на сторону из борта, из дырки над темной водой.

Когда катер скрылся за поворотом, мы, держась за руки, стали подниматься вверх среди редких деревьев в светлом лесу, чтобы посмотреть еще раз на Оку сверху. Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы наконец были вместе.

Адам и Ева



Художник Агеев жил в гостинице, в северном городе, приехал сюда писать рыбаков. Город был широк. Широки были его площади, улицы, бульвары, и от этого казался он пустым.

Стояла осень. Над городом, над сизо-бурыми, заволоченными изморосью лесами неслись с запада низкие, свищающие лохмотьями облака, по десять раз на день начинало дождить, и озеро поднималось над городом свинцовой стеной. Утром Агеев подолгу лежал, курил натошак, смотрел в окно. Струились исполосованные дождем стекла, крыши домов внизу сумрачно блестели, отражая небо. В номере тяжело пахло табаком и еще чем-то гостиничным. Голова у Агеева болела, в ушах не проходил звон и сердце покалывало...

С детства был Агеев талантлив, и теперь, в двадцать пять лет, презрительно было его лицо, презрительны, тяжелы набрякшие коричневые веки и нижняя губа, ленив и высокомерен был взгляд темных глаз. Носил он бархатную куртку и берет, ходил сутулясь, руки в карманы, на встречных смотрел мельком, как бы не замечая их, так же посматривал на все вообще, что попадалось ему на глаза, но запоминал все с такой неистребимой яркостью, что даже в груди ломило.

Делать ему в городе было нечего, и он то присаживался к столу в номере и держался за голову, то опять ложился, дожидаясь двенадцати часов, когда внизу открывался буфет. А дождавшись, нетвердой походкой спускался по лестнице, каждый раз с ненавистью глядя на картину в холле. Картина изображала местное озеро, фиорды, неестественно лиловые скалы с неестественно оранжевой порослью низких березок на уступах. На картине тоже была осень.

В буфете Агеев брал коньяку и, сведя глаза к переносью, боясь пролить, медленно выпивал. Выпивал — и, закулив,

оглядывал случившихся в буфете, нетерпеливо ждал первого горячего толчка. Знал, что тут же станет ему хорошо и он будет все любить. Жизнь, людей, город и даже дождь.

Потом выходил на улицу и бродил по городу, раздумывая, куда бы ему поехать с Викой и что вообще делать и как дальше жить. Часа через два он приходил в гостиницу, и уж ему хотелось спать, он ложился и засыпал. А проснувшись, снова спускался вниз, в ресторан.

День уже кончался, за окном меркло, наступал вечер, в ресторане начинал играть джаз. Приходили крашенные девочки, садились парами за столики, жадно ели воскообразные отбивные, пили вермут, пахнувший горелой пробкой, танцевали, когда приглашал кто-нибудь, и на лицах их было написано счастье и упоение роскошной жизнью. Агеев с тоской оглядывал знакомый огромный и чадный зал. Он ненавидел этих девочек, и пижонов, и скверных музыкантов, которые пронзительно дудели и стучали по барабану, и скверную еду, и здешнюю водку-сучок, которую буфетчица всегда недоливала.

В двенадцать ресторан закрывался. Агеев еле взбирался к себе на третий этаж, сопел, не попадая ключом в замочную скважину, раздевался, мычал, скрипел зубами и проваливался в черноту до следующего дня.

Так провел Агеев и этот день, а на другой, к двум часам, пошел на вокзал встречать Вику. Он пришел раньше, чем надо, глянул мельком на перрон, на пассажиров с чемоданами и пошел в буфет. А ведь когда-то у него начиналась бродяжья тоска и сердцебиение от одного вида перрона и рельсов.

Водку в буфете принесла ему высокая рыжая официантка.

— Гениальная баба! — пробормотал Агеев, восхищенно и жадно провожая ее взглядом. А когда она опять подошла, он сказал: — Хелло, старуха! Вы как раз то, что я искал всю жизнь.

Официантка равнодушно улыбалась. Это говорили ей почти все. Заходили в буфет на полчаса и бормотали что-то, по обыкновению пошлое, и уходили, чтобы никогда уже больше не увидеть ни этой станции, ни рыжей официантки.

— Я должен вас писать, — сказал Агеев, пьянея. — Я художник.

Официантка улыбалась, переставляя рюмки на его столе. Ей было все-таки приятно.

— Слышишь, ты! Я гениальный художник, меня Европа знает, ну?

— Художники нас не рисуют, — немного не по-русски выговорила официантка.

— Откуда ты знаешь! — Агеев посмотрел на ее грудь.

— О! Им надобятся рыбаки. И рабочие, стрел... стрелочники. Или у нас ярви имеет островок и деревянная церковь. Они все едут туда, едут-ут... Москва и Ленинград. И все вот так, в беретах — да?

— Они идиоты. Так мы еще встретимся, а? — добавил он торопливо, слыша шум подходящего поезда. — Как тебя звать?

— Пожалуйста. Жанна, — сказала официантка.

— Ты что, не русская?

— Нет, я финка. Юоналайнен.

— Ух, черт! — пробормотал Агеев, допивая водку и кашля.

Расплатившись, помяв Жанне плечо, он весело пошел на перрон. «Какая баба пропадает!» — думал он. И, прищурившись, смотрел на голубой экспресс, мелькавший вагонами уже мимо него. От напряжения, от мелькания вагонов у Агеева закружилась голова, и он отвернулся. «Не надо было пить», — рассеянно подумал он и вдруг испугался, что приезжает Вика, и закурил.

Народ шел уже с поезда на выход. Агеев вздохнул, бросил сигарету и стал искать Вику. Она первая увидела его и крикнула. Он оборотился и стал смотреть, как она подходит в черном ворсистом пальто. Пальто было расстегнуто, и колени ее, когда она шла, толчками округляли подол платья.

Застенчиво подала она ему руку в сетчатой перчатке. Волосы ее выгорели за лето, были пострижены, спутаны и падали на лоб. Из-под волос на Агеева испуганно глядели с татарским разрезом глаза, а рот был ал, тут, губы потресканы, сухи и полуоткрыты, как у ребенка.

— Здравствуй! — слегка задыхаясь, сказала она, хотела что-то добавить, может быть, заранее приготовленное, веселое, но запнулась, так и не выговорила ничего.

Агеев поглядел почему-то на прозрачный шарфик вокруг ее шеи, лицо его стало испуганно-мальчишеским, торпливо взял он у нее из рук лакированный чемодан, и они пошли от вокзала по широкой улице.

— Ты опух как-то... Как ты живешь? — спросила она и осмотрелась. — Мне тут нравится.

— А! — горловым неприятным звуком сказал он, как всегда говорил, когда хотел выразить свое презрение к чему-нибудь.

— Ты пьян? — Она сунула руки в карманы и наклонила голову. Волосы свалились ей на лоб.

— А! — опять сказал он и покосился на нее.

Вика была очень хороша, а в одежде ее, в спутанных волосах, в манере говорить было что-то неуловимое, московское, от чего Агеев уже отвык на Севере. В Москве они встречались раза два, знакомы как следует, в сущности, не были, и приезд ее в отпуск, который — Агеев знал — нелегко ей достался, ее готовность — это он тоже чувствовал — ко всему самому плохому были как-то неожиданны и странны.

«Везет мне с бабами!» — с грубо-радостным удивлением подумал Агеев и нарочно остановился, будто надеть перчатки, чтобы посмотреть на Вику сзади. Она замедлила шаги, полуобернувшись к нему, посматривая вопросительно на него и в то же время оглядывая рассеянно прохожих и витрины магазинов.

Она была хороша и сзади, и то, что она не пошла вперед, а задержалась, вопросительно взглядывая на него и этим взглядом как бы выражая уже свою зависимость от него, — все это страшно обрадовало Агеева, хотя минуту назад он испытывал стыд и неловкость оттого, что она приехала. Он понимал отдаленно, что и выпил только потому, чтобы не было так неловко.

— Я тебе привезла газеты... — сказала Вика, когда Агеев догнал ее. — Тебя ругают, знаешь — на выставке страшный шум, я ходила.

— А! — опять сказал он, испытывая в то же время глубокое удовольствие. — «Колхозницу» не сняли? — тут же с тревогой спросил он.

— Нет, висит... — Вика засмеялась. — Никто ничего не понимает, кричат, спорят — ребята с бородками, в джинсах, посоловели, кругами ходят...

— Тебе-то понравилась? — спросил Агеев. Вика неопределенно улыбнулась, а Агеев вдруг разозлился, нахмурился и засопел, нижняя губа его выпятилась, темные глаза запухли, поленивели. «Напьюсь!» — решил он.

И весь день, уже как чужой, ходил с Викторией по городу, зевал, на вопросы ее мычал что-то невнятное, ждал на пристани, пока она справлялась о расписании пароходов, а вечером, как ни просила его Вика, снова напился, заперся у себя в номере и, чувствуя с тонкой глубокой болью, что Вика одна у себя, что она расстроена, не знает, что делать, только курил и усмехался. И думал о рыжей Жанне.

Раза два принимался звонить телефон. Агеев знал, что это Вика, и трубку не снимал, «Иди пасись!» — злобно думал он.

На другой день Вика разбудила Агеева рано, заставила умыться и одеться, сама укладывала его рюкзак, вытаскивала из-под кровати этюдник и спиннинг, заглядывала в ящики стола, звенела пустыми бутылками и была решительна и бесстрашна. На Агеева она не обращала внимания.

«Прямо как жена!» — с изумлением думал Агеев, следя за ней. Морщась, он стал думать, как быстро приживаются женщины и как они умеют быть властными и холодными, будто сто лет с ней прожил.

Голова у него болела, он хотел спуститься в буфет, но вспомнил, что буфет закрыт еще, покашлял, покряхтел и закурил натошак. Ему было худо. Вика между тем успела расплатиться внизу и вызвала такси. «Черт с ним! — вяло думал Агеев, выходя на улицу и залезая в машину. — Пускай!» Он сел и закрыл глаза. Начинался утренний дождь, и это значило, что на весь день. Пошел даже снег. Мокрый и тяжелый, он падал быстро и темнел, едва успев коснуться мокрых крыш и тротуаров.

На пристани Агееву стало совсем плохо. Он задремал, изнемогая от тоски, не понимая, куда и зачем ему нужно ехать, слыша сквозь дрему, как свистит, погукивает ветер, шлепает о причал вода, как возникают на высокой ноте, долго трещат и затихают потом моторки. Вика тоже погрузилась и озябла. От недавней ее решительности не осталось и следа, она сидела рядом с Агеевым, беспомощно осматривалась — поникшая, в узких коротких брюках, по-прежнему с непокрытой головой. Ветер трепал, сваливал на лоб ей волосы, и было похоже, будто она получила телеграмму и едет на похороны.

«Брючки надела, — желчно думал Агеев и закрывал глаза, стараясь поудобней приладиться у фанерной стены. — Ну куда меня черт несет? Ай-яй-яй, до чего плохо!»

Они еле дождались своего парохода, с нетерпением смотрели, как он подваливает, шипит паром, стучает, скрипит о причал, отдирая от причального бруса белую щепу.

Но и на пароходе Агееву не стало легче. Где-то внизу благодатно клокотало и бурлило, ходили в горячем масле желтые поршни, было тепло, а каюта на носу была мрачна, холодна и застарело пахла. За стеной гудел ветер, волна плескала в борт, стекло нервно звякало, пароход покачивало. За окном смутно, медленно тянулись бурые, уже сквозящие леса, деревни, потемневшие от дождей, бакены и растрепанные вешки. Агеева знобило, и он вышел из каюты.

Побродив по железному рубчатому настилу нижней палубы, он примостился возле машинного отделения, недалеко от буфета. Этот буфет тоже не открылся еще, хотя на камбузе варили уже соленую треску и оттуда вонюче пахло. Агеев забрался с ногами на теплый железный рундук, облокотился на березовые дрова с лоснящейся атласной корой и стал слушать мерные вздохи машин, шум плит за бортом, нестройный говор пассажиров. Как всегда, те, кого недавно провожали, не затихли еще, не успокоились, горланили, острили, а в корме играли на гармошке, громко топали по железу палубы, вскрикивали: «Эх! Эх!»

У крана с кипятком заваривали чай в кружках и чайниках и пили, отламывая от батонов, сидя прямо на узлах, на

чемоданах, в тепле, покойно поглядывая на озеро, по которому ветер гнал беспорядочную темную волну. Женщины разматывали платки, причесывались, ребятишки играли уже, бегали и возились.

Желто засветились лампы в матовых колпаках, и сразу снаружи стало еще темней и холодней. Агеев лениво поводил глазами, оглядывался. Проходы были завалены мешками с картошкой, корзинами, кадками с огурцами, какими-то тюками. И народ был все местный, добирающийся до какой-нибудь Малой Губы. И разговоры были тоже местные: о скотине, о новых постановлениях, о тещах, о рыбодобыче, о леспромхозах и о погоде.

«Ничего! — думал Агеев. — Один только день, а там остров, дом какой-нибудь, тишина, одиночество... Ничего!»

Буфет наконец открылся, и тотчас пробралась и подошла к Агееву Вика. Она печально посмотрела на него и улыбнулась.

— Хочешь выпить, бедный? — спросила она. — Ну, иди выпей!

Агеев пошел, принес четвертинку, хлеба и огурцов. Вика тоже забралась на рундук и встретила его внимательным, тревожным взглядом. Агеев сел рядом, отколупнул пробку, выпил и захрустел огурцом, чувствуя, как отмякает у него на душе, и с некоторым оживлением поглядывая на Вику.

— Ешь! — сказал он невнятно, и Вика тоже стала есть.

— Объясни мне, что с тобой? — спросила она немного погодя.

Агеев еще выпил и подумал. Потом закурил и поглядел на Викину свешенную замшевую туфельку.

— Просто грустно, старуха, — сказал он тихо. — Просто, наверно, я бездарь и дурак. Пишу, пишу, а все говорят: не так, не то... Как это? Незрелость мировоззрения! Шаткая стезя! Чуждое народу!.. Будто за их плечами весь народ стоит, одобрительно головой кивает, а?

— Глупый! — нежно сказала Вика, вдруг засмеялась и положила ему голову на плечо.

От волос ее пахло горько и непонятно. Агеев потерялся щекой о ее волосы и зажмурился.

Она вдруг стала ему близка и дорога. Он вспомнил, как в первый раз поцеловал ее в Москве, в коридоре, в гостях у приятеля-художника. Он был тогда выпивши и весел, она как-то удивлена и тиха, и они долго говорили на кухне, вернее, он говорил ей, что он гений, а все подонки, а потом пошли в комнаты, и в коридоре он ее поцеловал и сказал, что страшно любит.

Она не поверила, но задохнулась, покраснела, глаза ее потемнели, губы пошершавели, она заговорила, засмеялась с девчонками, которые там были, а на него больше не посмотрела. Он тоже пристал к ребятам, стал смотреть и говорить о рисунках, и они с Викой сидели в разных комнатах. Вика говорила, смеялась с подругами, с кем-то, кто входил и выходил, и все время чувствовала, что счастлива, потому что в другой комнате сидел в кресле и тоже говорил с кем-то он. Она после призналась ему в этом.

Да, это хорошо вдруг потом, где-то на Севере, вспомнить недавний, но в то же время уже навсегда ушедший вечер. Это значит, что у них есть история. Они еще не любят друг друга по-настоящему, ничем не связаны, еще встречаются с кем-то, кто был у них раньше, еще не знали ночей, неизвестны друг другу, но у них есть уже прошлое. Это очень хорошо.

— Серьезно! — сказал Агеев. — Я тут все думал о своей жизни. Знаешь, паршиво мне было без тебя тут, дождь льет, идти некуда, сидишь в номере или в ресторане пьяный, думаешь... Устал я. Студентом был, думал — все переверну, всех убью картинками, путешествовать стану, жить в скалах. Этакий, знаешь, бродяга Гюген. А как до диплома дошло, так и понеслось: и такой, и сякой, подлец! Как накинудись учить, собаки, так и не отстают. Чем дальше, тем хуже. Ты и абстракционист, и неореалист, и формалист, и шатания у тебя всякие... Ну-ка, погоди!

Он отодвинулся слегка от Вики и еще выпил. Голова болеть перестала, хотелось говорить, и думать, и сидеть так долго, потому что рядом сидела Вика и слушала. Агеев сбоку глянул ей в лицо — оно было оживленно и серьезно, глаза под пологом ресниц были длинны и черны. Агеев присмо-

трелся — они были все-таки черны, а губы шершавы, и у Агеева забилось сердце. А Вика совсем забралась с ногами на рундук, расстегнула пальто, оперлась подбородком на колени и стала снизу смотреть в лицо Агееву.

— Лицо у тебя плохое, — сказала она и потрогала его за подбородок. — Не брит, почернел весь.

— Занюханый я какой-то, — усмехнулся он и загляделся на озеро. — Все думаю о Ван Гогe и о себе... Неужели же и мне надо подохнуть, чтобы обо мне заговорили серьезно? Неужели мой цвет, мой рисунок, мои люди хуже, чем у этих академиков? Надоело!

— Академики тебя не признают, — быстро, как бы между прочим, сказала Вика.

— Ну?

— Так... Я знаю. Потому что признать тебя — значит признать, что сами они всю жизнь делали не то.

— А! — Агеев помолчал и стал закуривать. Он долго курил, глядя себе под ноги, растирая желтое лицо. Щетина трещала у него под пальцами. — Три года! — сказал он. — Иллюстрации беру, чтоб денег заработать. Три года, как кончил институт, и всякие подонки завидуют: ах, слава, ах, Европа знает... Идиоты! Чему завидовать? Что я над каждой картиной... Что у меня мастерской до сих пор нет? Пишешь весну — говорят: не та весна! Биологическая, видишь ли, получается весна. А? На выставку не попадешь, комиссии заедают, а прорвался чем-то не главным — еще хуже. Критики! Кричат о современности, а современность понимают гнусно. И как врут, какая демагогия за верными словами!

— И ни одного верного слова о тебе не было? — задумчиво спросила Вика, отломив березовую щепку и стала грызть.

— Ты! — Агеев побледнел. — Студенточка! Ты еще в стороне, ты с ними не сталкивалась, книжечка, диамат, практика... А они, когда говорят «человек», то непременно с большой буквы. Ихнему проясненному взору представляется непременно весь человек — страна, тысячелетия, космос! Об одном человеке они не думают, им подавай миллионы. За миллионы прячутся, а мы, те, кто что-то делает, мы для них

пижоны... Духовные стилиаги — вот кто мы! Ге-ро-оика! — противно произнес Агеев и засмеялся.— Ма-ассы! Вот они, массы, — Агеев кивнул на пассажиров. — А я их люблю, мне противно над ними слюни пускать восторженные. Я их во плоти люблю — их руки, их глаза, понятно? Потому что они землю на себе держат. В этом вся штука. Если каждый хорош, тогда и общество хорошо, это я тебе говорю! Я об этом день и ночь думаю, мне плохо, заказов нет, денег нет, черт с ними, не важно, но я все равно прав, и пусть не учат меня. Меня жизнь учит — и насчет оптимизма и веры в будущее и вот в эти самые массы я всем критикам сто очков вперед дам!

Агеев засопел, ноздри у него раздувались, глаза помутнились.

— Не надо бы тебе пить... — тихо сказала Вика, жалобно глядя на него снизу вверх.

— погоди! — тихо попросил Агеев. — Что-то у меня... астма, что ли? До конца не вздохнуть никак.

Он раскурил погасший окурок, но, затянувшись, закашлялся, бросил окурок и, спустив ногу, растоптал его. Поглядел на Вику, поморщился.

— Пусти-ка, пойду спать! — Он злобно прищурился, слез с рундука и пошел в каюту.

Пока они говорили, на пароходе включили отопление, в каюте стало тепло, окно запотело. Агеев сел к окну, протер стекло рукавом, левое веко у него стало прыгать. Спасение его было сейчас в Вике, и он знал это. Но что-то в ней приводило его в бешенство. Приехала... Свежая, красивая, влюбленная — ах, черт! Зачем, зачем обязательно что-то доказывать? И кому — ей! А у нее небось ноги отнимались, к сердцу подкатывало, когда ехала — думала о первой ночи, о нем, прижаться к нему хотелось, к черту пьяному. Ай-яй-яй! И было бы, было — если бы сразу согласилась с ним, сказала бы: «Да! Ты прав!» С ума бы сошел, увез бы в фиорды, в избушку, у окошка бы посадил, а сам с холстом. Личико крохотное, глаза длинные, волосы выгоревшие, кулачком подперлась... Может, в жизни бы лучше ничего не написал! Ай-яй-яй!..

Он стал раздеваться, и ему стало до слез жалко себя и одиноко. «Ну ничего! — подумал он. — Ничего! Не впервые!»

И даже передегивало всего, когда вспоминал, что наговорил ей. Молчать нужно, дело делать!

Раздевшись, залез на верхнюю полку, отвернулся к стене и долго ерзал по гляцевитой наволочке, стараясь лечь поудобней, но все никак не мог.

К острову пароход подходил вечером. Глухо и отдаленно сгорела кроткая заря, стало смеркаться, пароход шел бесчисленными шхерами. Уже видна была темная многошатровая церковь, и пока пароход подходил к острову, церковь перекатывалась по горизонту то направо, то налево, а однажды оказалась даже сзади.

У Вики было упрямое, обиженное лицо. Агеев посвистывал и безразлично смотрел по сторонам на плоские островки, на деревни и с некоторым интересом рассматривал великолепные, похожие на варяжские ладьи лодки.

Когда совсем подошли к острову, стали видны ветряная мельница, прекрасная старинная изба, амбарные постройки — все пустое, неподвижное, музейное. Агеев усмехнулся.

— Как раз для меня, — пробормотал он и поглядел на Виду с веселой злостью. — Как раз, так сказать, на передний край семилетки, а?

Вика промолчала. Лицо у нее теперь было обтянутое, и будто она приехала сюда сама по себе, будто все это давно предполагалось и так и должно было быть.

Никто не сошел на этом островке, кроме них двоих. И никого не было на деревянной открытой пристани, одна сторожиха с зажженным фонарем, хоть было еще светло.

— Ну вот. Теперь мы с тобой как Адам и Ева, — опять усмехнулся Агеев, ступая на сырую дощатую пристань.

И опять Вика ничего не сказала в ответ. На берегу показалась женщина в ватнике и сапогах, она еще издали заулыбалась.

— Только двое! — весело крикнула она и заспешила навстречу, переводя взгляд с Агеева на Виду. А когда подошла, взяла чемодан у Вики и заговорила — показалось, что она давно ждала их. — Вот и слава Богу, — быстро и ласково говорила она, поднимаясь вверх по берегу. — А я уж думала, никого в этом году не будет, все кончилось. Зимовать собралась. А вот и вы. Пойдемте в нашу гостиницу.

— В гостиницу? — спросил Агеев неприятным своим голосом.

Хозяйка засмеялась.

— Вот и все удивляются, а я уж второй год тут живу. Мужик был, да помер, одна теперь. Гостиница! Для экскурсантов, художников. Тут их много летом наезжает, живут себе, рисуют.

Агеев вспомнил свою гостиничную тоску, вздохнул, сморщился. Он хотел пожить в избе, в домишке каком-нибудь, где пахло бы коровой, сенями, чердаком.

Но гостиница оказалась уютной. Была печка на кухне, были три комнаты — все пустые, и была еще одна странная комната: резные в древнерусском стиле колонки посредине, поддерживающие потолок, и большие современные окна во всю стену до полу, на три стороны — как бы стеклянный холл.

Во всех комнатах стояли пустые кровати с голыми сетками и голые шершавые тумбочки.

Агеев и Вика поселились в комнате с печкой, окном на юг. На стенах висели акварели в рамках. Агеев глянул и повел губой. Акварели были ученические, старательные, на всех написаны были церковь или мельница.

Хозяйка начала носить в комнату простыни, подушки, наволочки, и хорошо запахло чистым бельем.

— Вот и живите! — с удовольствием говорила она. — Вот и хорошо! Надолго ли приехали? А то скучно. Летом хорошо, художники веселые, а теперь одна, считай, на всем острове.

— А как тут питаться? — спросила Вика.

— Не пропадете! — радостно отозвалась хозяйка откуда-то из коридора. — На другом конце острова у нас деревня, там молока или чего... А то магазин еще на Пог-Острове, на лодке можно. Вы откуда же, из Ленинграда?

— Нет, из Москвы, — сказала Вика.

— Ну и хорошо, а то у нас все ленинградцы. Дрова у меня есть, чурки, обрезки, этим летом церкву реставрировали, так много материалу осталось. И ключи у меня от церкви, когда захотите, скажете, я отомкну.

Хозяйка ушла, а Вика со счастливой усталостью повалилась на кровать.

— Нет, я не могу! — сказала она. — Это гениально! Милый ты мой Адам, это просто гениально! Ты любишь жареную картошку?

Агеев хмыкнул, повел губой и вышел. Он потихоньку обошел вокруг погоста, окружавшего церковь. Совсем стемнело, и, когда Агеев шел с восточной стороны, церковь великолепным силуэтом возвышалась над ним, светясь промежутками между луковицами куполов и пролетами колокольни. Однообразно, равномерно потрюкивали две птицы в разных местах. Пахло сильно травой и осенним холодом.

«Ну, вот и конец света!» — подумал Агеев, пройдя мимо церкви по берегу озера. Потом спустился на пристань, присел на сваю и стал смотреть на запад. Метрах в двухстах от этого был еще остров — низкий, поросший ивовыми кустами и совершенно пустой. А за ним еще остров, и там, видимо, была деревня; сквозь кусты просвечивал далекий случайный огонек. Немного погодя в той стороне возник высокий, напряженный звук моторки, долго не утихал и оборвался внезапно, несколько раз хлопнув.

Агееву было одиноко, но он сидел и сидел, покуривая, привыкая к тишине, к чистому запаху осенней свежести и воды, думая о себе, о своих картинах, о том, что он мессия, великий художник и что он сидит в одиночестве черт знает где, в то время как разные критики живут в Москве на улице Горького, сидят сейчас с девочками в ресторанах, пьют коньяк, едят цыплят-табака́ и, вытирая маслянистые рты, говорят разные красивые и высокие слова, и все у них лживо, потому что думают они не о высоком, а как бы поспать с этими девочками. А утром эти критики, перешибая похмелье кофе и сердечными каплями, пишут про него статьи и опять врут, потому что никто не верит в то, что пишет, а думает только, сколько он за это получит, и никто из них никогда не сидел вот так в одиночестве на сырой свае и не смотрел на пустой темный остров, готовясь к творческому подвигу.

От этих мыслей Агееву становилось горько и приятно, в них была какая-то едкая сладость, и он любил так думать и думал часто.

То он принимался вдруг мысленно напевать неизвестно почему пришедший ему на память романс старухи графини из «Пиковой дамы». И эта мертвенная музыка, как он слышал ее где-то глубоко со всем оркестром, с мрачным тембром кларнетов и фаготов и томительными паузами, — музыка эта начинала ужасать его, потому что это была смерть.

То ему вдруг остро до боли, как воздуха, захотелось услышать запах чая — не заваренного, не в стакане, а запах сухого чая. Ему тотчас вспомнилась, пришла из детства и чайница из матового стекла с трогательным пейзажиком вокруг, как он мечтал пожить в домике с красной крышей и как открывала и сыпала туда мать с тихим шуршанием чай, как пахло тогда и как опалово-мутная чайница наполнялась темным.

Тотчас вспомнил он и мать, ее к нему любовь, всю жизнь ее как бы в нем, для него. И себя самого — такого быстрого, подвижного, с такими приступами беспричинной радости и живости, что даже не верилось теперь, что он мог быть когда-то таким.

И с запоздалой болью он думал о том, как часто был груб с матерью, невнимателен, нечуток к ней, как часто не хотел слушать ее рассказы о детстве, о каком-то давно прошедшем, исчезнувшем времени, пока можно было слушать. Как часто в ребяческой эгоистичности не мог понять и оценить той постоянной любви, какой уж не испытал он ни от кого потом никогда в жизни. А вспомнив все это, он тотчас усомнился в себе и подумал, что, может быть, и правы все его критики, а он не прав и делает вовсе не то, что нужно. Он думал, что всю жизнь не хватало, наверное, ему какой-то основной идеи — идеи в высшем смысле. Что слишком часто он был равнодушен, вял и высокомерен в своей талантливости ко всему, что не было его жизнью и его талантом. И это в такое-то время!

С бессильным ожесточением вспоминал он все свои споры еще со студенчества — с художниками, с искусствоведами, со всеми, кто не принимал его картин, его рисунка, его цвета. Он думал теперь, что потому не может убедить их, разбить и доказать свое мессианство, что не одухотворен идеей. И какой же пророк без идеи?

Так он долго сидел и слышал, как Вика вышла из дому, прошла немного к берегу по деревянным мосткам, постояла, осматриваясь, тихо позвала его. Он не отозвался и не шевельнулся. А ведь он уже любил ее, у него сердце билось, когда он думал о ней! Он и она, как Адам и Ева, на темном пустом острове, наедине со звездами и водой — и не просто же она приехала, и как, наверно, тосковала одна в номере гостиницы, когда он напился и ушел, бросил ее!

Горькая отчужденность, отрешенность от мира сошла на него, и он не хотел ничего и никого знать. Он вспомнил, что больные звери скрываются, забиваются в недоступную глушь и там лечатся какой-то таинственной травой или умирают. Он пожалел, что теперь осень и холодно, что он в сапогах, в свитере, а то найти бы уголок на этом или на другом острове, где скалы, и песочек, и прозрачная вода, лежать бы целыми днями на солнце и ни о чем не думать. И ходить босиком. И ловить рыбу. И смотреть на закаты. Он почувствовал, что безмерно устал — устал от себя, от мыслей, от разъедающих душу сомнений, от пьянства — и что совсем болен.

«На юг бы мне, на юг, к морю...» — тоскливо подумал он и встал. Сойдя с пристани, отвернувшись от озера, он опять увидел древнюю большую церковь и маленькую гостиницу, приютившуюся подле. В гостинице хорошо светились окна, тогда как церковь была темна, замкнута и чужда ему. Но что-то в церкви этой было властное, вызывающее мысли о гениальном народе, об истории — и еще о покое, уединении.

«Сег-Погост, — вспомнил Агеев название острова и церкви. — Сег-Погост».

Он поднялся к дому, взошел на крыльцо и еще постоял, оглядываясь, стараясь угадать во тьме то, что столько веков жило без него своей жизнью — настоящей жизнью земли, воды и людей. Но ничего не мог разглядеть, кроме тусклого сияния массы воды вокруг, кроме редких, космически светящихся клоков неба в разрывах облаков. Тогда он вошел в дом.

Комната была озарена керосиновой лампой. Гудела, трещала печка, пахло жареной картошкой. Раскрасневшаяся Вика хозяйничала, комната приобрела милый, обжитой вид: во всем — в кофточках, в платьях, повешенных и брошенных

на кровать, в черных перчатках на тумбочке, в пудренице с молнией — во всем чувствовалось присутствие молодой женщины, и пахло духами.

— Где ты был? — протяжно спросила Вика и подожгла бровью. — Я тебя искала.

Агеев промолчал и пошел на кухню мыться. На кухне он некоторое время разглядывал в зеркальце свою щетину, подумал и бриться не стал, умылся только, с удовольствием звякая умывальником, вытерся мохнатым теплым полотенцем, вернулся в комнату, лег на кровать, положил ноги в сапогах на спинку, потянулся и закурил.

— Садись есть, — сказала Вика.

Ели молча. Видно было, что Вике здесь страшно нравится, и только одно было неприятное — Агеев. На печке шумел, посвистывал чайник.

— У тебя большой отпуск? — спросил вдруг Агеев.

— Десять дней, — сказала Вика и вздохнула. — А что?

— Так...

«Три дня уже прошло», — подумал Агеев.

И снова надолго замолчали. Напившись чаю, стали ложиться. Вика горячо покраснела и отчаянно посмотрела на Агеева. Он отвел глаза и нахмурился. Потом встал, закурил и подошел к окну. Он тоже покраснел и рад был, что Вика не видит. Сзади что-то шелестело, шуршало, наконец Вика не выдержала и попросила умоляюще:

— Погаси свет!

Не взглянув на нее, Агеев задул лампу, быстро разделся, лег на свою кровать и отвернулся к стене. «Попробуй приди!» — думал он. Но Вика не пришла, она легла и замерла, даже дыхания не стало слышно.

Прошло минут двадцать, а они не спали, и оба это знали. В комнате было темно, в окно виднелось черное небо. Стал задуть ветер за стеной. Вдруг занавеска на окне осветилась на короткое мгновение. Агеев подумал было, что кто-то снаружи провел по стене дома, по занавеске лучом фонарика, но еще через три-четыре секунды мягко заворчал гром.

— Гроза! — тихо сказала Вика, села и стала смотреть в темное окно. — Осенняя гроза.

Опять мигнуло и заворчал, потом ветер улегся, и тут же пошел сильный дождь, и в водосточной трубе загудело.

— Дождь, — сказала Вика. — Я люблю дождь. Я люблю думать, когда дождь.

— Ты можешь помолчать? — Агеев закурил и поморгал: глазам было горячо.

— А знаешь что? Я уеду, — сказала Вика, и Агеев почувствовал, как она ненавидит его. — С первым же пароходом уеду. Ты просто эгоист. Я эти два дня все думала: кто же ты? Кто? И что это у тебя? А теперь знаю: эгоист. Говоришь о народе, об искусстве, а думаешь о себе — ни о ком, ни о ком, о себе... Никто тебе не нужен. Противно! Зачем ты меня звал, зачем? Знаю теперь: поддакивать тебе, гладить тебя, да? Ну нет, милый, поищи другую дуру. Мне и сейчас стыдно, как я бегала в деканат, как врала: папа болен...

Вика громко задышала.

— Замолчи, дура! — сказал Агеев с тоской, понимая, что все кончилось. — И пошла вон, и уезжай, катись отсюда!

Агеев поднялся, подсел к окну, уперся локтями в тумбочку. Дождь еще шел, под окном было что-то большое, темное, дрожащее, и Агеев долго вглядывался и соображал, пока не понял, что это лужа. Ему хотелось заплакать, поморгать, вытереть слезы рукавом, как в детстве, но плакать он давно не мог.

Вика легла, уткнулась в подушку, всхлипывала и задышалась, а Агеев сидел не шевелясь, разминая, кроша в пепельнице окурки и спички. Сначала ему все было омерзительно и равнодушно. Его даже ломать начало от отвращения. Теперь это прошло, он как бы вознесся куда-то, отрешился от всего мелкого, и ему стало всех жалко, он стал тихий, потому что чувствовал непреоборимость всей людской массы. И все-таки в душе у него, очень глубоко, все кипело, было горячо и больно, и он не мог молчать, не мог снисходительно улыбаться или отделаться своим противным «А!» — он должен был сказать что-то.

Но он ничего не сказал, он подумал, хотя, в сущности, ничего не думал, а просто побыл в тишине, поглядывая за окно на темную дрожащую лужу. В нем пело и звенело что-

то, как во время болезни, при температуре, он увидел перед собой бесчисленную вереницу зрителей, которые молчали по залам и на лицах которых было написано что-то загадочное, что-то неуловимое и скорбное. Он еще остановился внутренним взглядом на этом, на скорбности, и подумал: «Почему скорбное, что-то я не так думаю», — но тотчас отвлекся и стал думать о высшем, о самом высшем, о высочайшем, как ему казалось.

Он думал, что все равно будет делать то, что должен делать. И что его никто не остановит. И что это ему потом зачтется.

Он встал, не одеваясь, с набухшими на висках жилами, вышел на крыльцо. На крыльце он стоял и плевался, почему-то был полон рот сладкой слюны, она все собиралась во рту, и он плевался, а в горле стоял комок и душил его.

— Все кончено! — тихо бормотал он. — К чертовой матери! Все кончено!..

Весь следующий день Агеев провалился, отвернувшись к стене. Он засыпал, просыпался, слышал, как ходила по комнате и вокруг дома Вика. Она звала его завтракать, обедать, но он лежал, злобно сжав зубы и не открывая глаз, пока не засыпал опять в каком-то отупении.

Но к вечеру стало уже невозможно лежать, зануло тело, и он поднялся. Вики не было, и Агеев пошел к хозяйке.

— Дай-ка, тетя, мне ключ от лодки, — попросил он. — В магазин надо сплавать за папиросами...

Хозяйка дала ему ключ, сказала, где взять весла, и показала, куда плыть.

Навстречу Агееву дул ветер, весла были тяжелые, неудобные, тяжелой была и лодка, такая красивая с виду, и Агеев успел стереть себе ладони, пока добрался до другого острова.

Он купил папирос, бутылку водки и закуски и пошел назад к мосткам. Он шел уже влажным лугом, когда догнал его приземистый кривоногий рыбак в зимней шапке, с красным лицом.

— Здорово, браток! — сказал рыбак, поравнявшись и оглядывая Агеева. — Художник? С Сер-Погоста?

Обеими руками рыбак осторожно нес газетные кульки, из карманов телогрейки торчало у него по бутылке водки.

— А мы сегодня гуляем! После бани, — радостно сообщил он, будто давний знакомый. — Выпьем на дорогу?

Рыбак косолапо перешагнул в свою лодку с ярко-зеленой крышкой подвесного мотора, положил там кульки, вынул бутылки, которых у него оказалось четыре — две были в карманах брюк, — три положил осторожно в нос на брезент; одну тут же открыл, нашел, пошарив, баночку, сполоснул ее за бортом и налил Агееву. Агеев тут же выпил и стал закусывать печеньем. Рыбак налил себе и вылез на мостки.

— Будем знакомы! — весело сказал он. — Давно тут?

— Вчера приехал, — сказал Агеев, с наслаждением разглядывая рыбака.

— Церкву рисовать? — спросил рыбак и подмигнул.

— Чего придется.

— А то приезжай к нам в бригаду, — предложил рыбак, быстро хмелея. — Баба у тебя есть? Бабы у нас... — рыбак растопырил руки, — во! Понял? Всех перерисуешь, понял?

Он шагнул опять в лодку, достал недопитую бутылку, снова налил Агееву.

— Допьем?

— Да у меня своя есть, — сказал Агеев и достал тоже бутылку.

— Твою будем пить, когда приедешь, — сказал рыбак. — К нам недалече, ты только скажи, мы за тобой на моторке придем, мы художников любим, ребята ничего. У нас один профессор ленинградский жил, говорил, в жизни, говорит, таких людей, как у вас, нету! — Рыбак захохотал. — Мы тебя ухой кормить будем. Сиг рыба, знаешь? У нас весело, девки как загогочут, так на всю ночь, весело живем!

— А вы где ловите-то? — спросил Агеев, улыбаясь.

— Ловим на Кижме-Острове, да ты не бойсь, мы за тобой сами придем. А так, коли сам надумаешь, так спроси стпановскую бригаду, это я, Степанов-то, понял? Как из салмы выйдешь, налево забирай, мимо маяка, увидишь остров, к нему и правь. А там скажут.

— Обязательно приеду! — радостно сказал Агеев.

– Во-во! Валяй! Ты меня уважаешь? По человечеству! А? Ну и все! И все... Договорились? И все! Прощай покуда, по-бегу, ребята дожидают...

Он перелез в свою лодку, отвязал ее, оттолкнулся, завел мотор. Мотор тонко зажуужал, рыбак кинулся в нос, но нос все равно задрался. Шпагатом, привязанным к румпелю, рыбак выправил лодку на глубокое и полетел, оставляя за собой белопенную дугу на воде.

Посмеиваясь, Агеев сел в свою лодку и тронулся обратно. Теперь он сидел лицом к закату и невольно приостанавливался, отдыхал, рассматривал краски на воде и в небе. На полпути к Сег-Погосту был маленький островок, и, когда Агеев обогнул его, ветер улегся и вода приняла вид тяжелого неподвижного золота.

В полной тишине, в безветрии Агеев положил весла и оглянулся на церковь. С востока почти черной стеной встала дождевая туча, с запада солнце лило свой последний свет, и все освещенное им – остров, церковь, старинная изба, мельница – казалось по сравнению с тучей особенно зловеще красным. Далеко на горизонте, откуда шла туча, темными лохмами повисал дождь, и там траурно светилась огромная радуга.

Агеев поудобнее устроился в лодке, еще выпил и, закусывая, смотрел на церковь. Солнце садилось, туча надвигалась, почти все было закрыто ею, дождь приблизился и шел уже над Сег-Погостом. Лодка едва заметно подвигалась по течению.

Но вокруг Агеева еще было все тихо и неподвижно, а на западе горело небо, широкой полосой туманной красноты раскинувшееся вокруг заходящего солнца.

Агеев рассматривал церковь, и ему хотелось рисовать. Он думал, что, конечно, ей не триста лет, а неизмеримо больше, что она так же стара, как земля, как камни. И еще у него из головы не выходил веселый рыбак, и его тоже хотелось Агееву рисовать.

Когда же он повернулся к западу, солнце уже село. Пошел наконец дождь. Агеев натянул на голову капюшон и

взялся за весла. Дождь почему-то принялся теплый, крупный, веселый, и сильно играла рыба, пока Агеев греб.

Подойдя на всем ходу к пристани, Агеев увидал Вики. Она неподвижно стояла под дождем в накиннутом прозрачном плаще и смотрела, как Агеев зачаливает и замыкает на замок лодку, как берет весла и сумку с покупками, как сует в карман початую бутылку.

«Смотри, смотри!» — весело думал Агеев, молча направляясь к гостинице.

Вика осталась на пристани. Она не оглянулась на Агеева, смотрела на озеро, на закат под дождем.

Войдя в теплую комнату, Агеев увидал, что вещи Вики убраны и у порога стоит чемодан. «А-а!» — сказал Агеев и лег на кровать. По крыше шумел дождь. Агееву было приятно и равнодушно после выпивки, он закрыл глаза и задремал. Очнулся он скоро, еще не стемнело, но дождь кончился, небо очистилось и холодно, высоко сияло.

Агеев позевал и пошел к хозяйке. Взяв у нее ключи от церкви, он вошел за деревянную стену, окружавшую погост, прошел между старыми могилами, отпер дверь колокольни и стал подниматься по темной, узкой, скрипучей лестнице.

Пахло галочьим пометом и сухим деревом, было темно, но чем выше, тем становилось светлее и воздух чище. Наконец Агеев выбрался на площадку колокольни. Сердце его слегка замирало, ноги ослабли от ощущения высоты.

Сперва он увидал небо в пролеты, когда выбирался из люка на площадку, — небо наверху с редкими пушистыми облачками, с первыми крупными звездами, со светом в глубине, с синими лучами давно затаившегося солнца.

Когда же он взглянул вниз, то увидел другое небо, такое же громадное и светлое, как верхнее: неизмеримая масса воды вокруг, до самого горизонта, во все стороны, сияла отраженным светом, и островки на ней были как облака.

Агеев как сел на перила, обхватив рукой столбик, так больше и не шевельнулся до темноты, пока не выступило во всей своей жемчужности созвездие Кассиопеи, а потом, уже спустившись, долго ходил вокруг церкви по дорожке, поглядывая на нее так и сяк, и вздыхал.

Когда он пришел домой, опять трещала печка. Вика готовила ужин, но была тиха и далека уже от него.

— Скоро пароход придет? — спросил Агеев. — Ты знавала?

— В одиннадцать, кажется, — помолчав, сказала Вика.

У Агеева дрогнуло в душе, сдвинулось, он хотел что-то сказать, спросить, но промолчал, вытащил из-под кровати этюдник и стал раскладывать по подоконнику и по кровати картон, тюбики с красками, бутылочки со скипидаром, стал перебирать кисти, сколачивать подрамники. Вика поглядывала на него с изумлением.

Ужинать сели молча, как в первый раз, посмотрели друг другу в глаза. Агеев увидел Викины сухие губы, лицо ее, вдруг такое дорогое, у него опять дрогнуло сердце, и он понял, что пришла пора прощаться. Он достал из-под кровати водку, налил себе и Вике.

— Ну что ж... — сказал он хрипло и покашлял. — Выпьем на разлуку!

Вика не стала пить, поставила стопку на стол, откинулась и так, откинувшись, из-под полуопущенных век посмотрела на Агеева. Лицо ее дрожало, билась какая-то жилка на шее, губы шевелились, Агеев даже смотреть не мог на это. Ему стало жарко. Он встал, открыл окно, выглянул наружу, подышал ночным крепким воздухом.

— Дождя нет, — сказал он, вернувшись к столу, и еще выпил. — Нету дождя.

— Тебе денег не надо? — спросила Вика. — У меня есть лишние. Я ведь много взяла, думала... — Вика покусала губы, жалко улыбнулась.

— Нет, не надо, — сказал Агеев. — Я теперь пить брошу.

— И все-таки ты не прав, — горько сказала Вика. — Ты просто болен. Брось пить, и все станет хорошо.

— Ну? — Агеев усмехнулся. — И сразу персональная выставка, да? Привет! — сказал он и еще выпил. — И конъюнктуришки сразу поймут, что они не художники, да?

— Где ты был вечером? — спросила Вика, помолчав.

— Там... — неопределенно махнул рукой Агеев. — Наверху. У Бога.

— Ты не скоро приедешь в Москву? — опять спросила Вика, глядя на разбросанные по комнате краски, кисти и подрамники.

Агеев потянулся, зевнул, лег и закурил. Грудь его дышала свободно, в пальцах покалывало, как всегда, когда ему хотелось работать.

— Да нет, — сказал он, воображая рыбачек, с которыми познакомится, их ноги, их груди. И глаза. И как они работают, как стискивают зубы, когда красными руками тащат сети. — Через месяц, наверно. Или того позже. Попишу тут рыбаков. И воду. — Он помолчал. — И небо. Вот так, старуха!

Вика вышла послушать, не подходит ли пароход.

— Нет, еще рано, — сказала она, вернувшись, и стала смотреться в зеркало. Подумав, она достала из чемодана козынку, покрыла голову и завязала под подбородком. Потом села и сжала руки в коленях. Она сидела и молчала, низко опустив голову, будто на вокзале, будто Агеев был ей не знаком, — мысли ее были где-то далеко. Косыночка ее была прозрачна, сквозь нее золотисто проступали волосы. Агеев лежал, скосив глаза, с любопытством разглядывал ее, нервно покуривал.

— Нет, не могу больше, — сказала Вика и вздохнула. — Пойду на пристань.

Она встала, еще раз вздохнула, посмотрела несколько секунд пристально, не мигая, на лампу, потом надела пальто. Агеев скинул ноги с постели и сел.

— Ну что ж, — сказал он. — Гуд бай, старуха! Проводить тебя, что ли?..

Вика пошла к хозяйке за паспортом. Агеев торопливо выпил, пофукал и стал одеваться, рассматривая вздрагивающие свои руки, слушая, как Вика разговаривает с хозяйкой за стеной. Потом взял чемодан и вышел на крыльцо. Крыльцо, перила, доски, проложенные к пристани, были еще сыры от недавнего дождя. Агеев подождал, пока выйдет Вика, и пошел с крыльца. Вика, постукивая туфельками, шла за ним по мосткам.

Придя на пристань, Агеев поставил чемодан, Вика тотчас присела на него, сжалась в комочек, замерла. Агеев зяб-

ко передернулся и поднял воротник. В мертвой неестественной тишине ночи послышался вдруг бодрый высокий звук самолета. Он приближался, рос, усиливался, но в то же время становился все ниже, ниже по тону, все бархатистее, придушенней — как будто кто-то вел непрерывно смычком по струне контрабаса, постепенно спуская колок, пока наконец не стал, удаляясь, звучать низкий, утробный шорох.

Опять настала немая тишина. Агеев потоптался возле Вики, потом отошел, поднялся на берег. Он постоял, прошел немного к южному концу острова и огляделся.

Горели над головой звезды, и на воде — всюду в шхерах светились красные и белые огоньки, помаргивали на баках, мигалках и створных знаках.

Внезапно по небу промчался как бы вздох — звезды дрогнули, затрепетали. Небо почернело, затем снова дрогнуло и поднялось, наливаясь голубым трепетным светом. Агеев повернулся к северу и сразу увидел источник света. Из-за церкви, из-за немой ее черноты, расходясь лучами, колыхалось, сжималось и распухало слабое голубовато-золотистое северное сияние. И когда оно разгоралось, все начинало светиться: вода, берег, камни, мокрая трава, а церковь проступала твердым силуэтом. Оно гасло — и все сжималось, становилось невнятным и пропадало во тьме.

Земля поворачивалась. Агеев вдруг ногами, сердцем почувствовал, как она поворачивалась, как она летела вместе с озерами, с городами, с людьми, с их надеждами — поворачивалась и летела, окруженная сиянием, в страшную бесконечность. И на этой земле, на острове под ночным немым светом был он, и от него уезжала она. От Адама уходила Ева, и это должно было случиться не когда-нибудь, а сейчас. И это было как смерть, к которой можно относиться насмешливо, когда она далеко, и о которой невыносимо даже помыслить, когда она рядом.

Он не мог этого перенести и быстро пошел на пристань, чувствуя, как от мокрой травы намокают сапоги, не видя ничего в темноте, но зная, что они теперь черны и блестят.

Когда Агеев пришел на пристань, на столбике горел уже керосиновый фонарь, внизу на ступеньках стояла и зевала

сторожика, а из-за бугра на севере выставлялся новый луч света, тоже дрожащий, но теплее по тону. Луч этот подвигался, слышен был частый стукоток плит, и вдруг высоко, звонко раскатился гудок парохода и долго отдавался от других островов.

— Ты видел северное сияние? Это оно, да? — быстро вполголоса спросила Вика. Она была возбуждена и не сидела уже на чемодане, а стояла возле перил.

— Видел, — сказал Агеев и покашлял.

Пароход выкатился из-за берега и стал слышнее.

На носу его ярко посверкивала звездочка прожектора. Свет его доносился уже до пристани. Заблестела сырость на досках. Пароход застопорил машину и подвигался к пристани по инерции. Сторожика, прикрыв рукой глаза от яркого света, что-то выглядывала на пароходе. Агеев повернулся к свету спиной и увидел, как луч прожектора дымно дрожит на прекрасной старой музейной избе.

Пароход подваливал, прожектор повернули, пристань залилась ослепительным молочным светом. Вика и Агеев молча смотрели, как пароход причаливает. Матрос на борту бросил сторожике конец. Сторожика не торопясь надела петлю на тумбу, матрос нагнулся, стал наматывать канат. Канат натянулся, заскрипел, пристань дрогнула, подалась. Пароход мягко стукнулся кранцами о причал. Матрос сдвинул сходни на пристань, стал смотреть под лампой билет у кого-то, кто сходил. Наконец пропустил того и повернулся к Агееву и Вике.

— Садитесь, что ли? — неуверенно сказал он.

— Ну, валяй! — сказал Агеев и небрежно потрепал Виду по плечу. — Счастливо!

Губы у Вики задрожали.

— Прощай! — сказала она и, постукивая туфельками, поднялась по трапу на палубу.

Пароход был почти пуст, слабо освещен лампами на нижней палубе, с темными окошками кают. В каютах или никого не было, или спали. Между бортом и причалом сипело, поднимался прозрачный парок.

Вика не оглянулась, сразу ушла, скрылась в глубине. Торопливо прокричали один длинный и три коротких гудка, сторожиха скинула петлю с тумбы, сходни убрали, створки на борту захлопнули, и это теплое милое дышащее существо, одно живое в холодной ночи, заполоскав плицами, стало отваливать, круто забирая вправо.

Сторожиха опять зевнула, пробормотала, что рано в этом году заиграли сполохи и что это к холодам, сняла фонарь и пошла на берег, бросая перед собой пятно света, мажа себя желтым светом по сапогам и неся слева от себя неверную большую тень, которая от раскачивающегося фонаря перескакивала с пристани и берега на воду.

Покурив и постояв, пошел в теплую гостиницу и Агеев. Северное сияние еще вспыхивало, но уже слабо, и было одного цвета — белого.

Двое в декабре



Он долго ждал ее на вокзале. Был морозный солнечный день, и ему все нравилось: обилие лыжников и скрип свежего снега, который еще не успели убрать в Москве. Нравился и он сам себе: крепкие лыжные ботинки, шерстяные носки почти до колен, толстый мохнатый свитер и австрийская шапочка с козырьком, но больше всего лыжи, прекрасные клееные лыжи, стянутые ремешками.

Она опаздывала, как всегда, и он когда-то сердился, но теперь привык, потому что, если припомнить, это, пожалуй, была единственная ее слабость. Теперь он, прислонив лыжи к стене, слегка потопывал, чтобы не замерзли ноги, смотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться, и был покоен. Не радостен он был, нет, а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо, и что зима хороша: декабрь, а по виду настоящий март с солнцем и блеском снега, — и, что, главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава Богу, это все прошло, и теперь другое — спокойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!

Когда она наконец пришла и он увидал близко ее лицо и фигуру, он просто сказал:

— Ну-ну! Вот и ты...

Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться: так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, темные глаза все время косили и дрожали, когда она взглядывала на него, а на носу уж были первые крохотные веснушки.

Он отстал немного, доставая мелочь на поезд, глянул на нее сзади, на ее ноги и вдруг подумал, как она красива и как хорошо одета, и что опаздывает она потому, наверное, что хочет быть всегда красивой, и эти ее прядки, будто случайные, может быть, вовсе не случайны, и какая она трогательная, озабоченная!

— Солнце! Какая зима, а? — сказала она, пока он брал билеты. — Ты ничего не забыл?

Он только качнул головой. Он даже слишком набрал всего, как ему теперь казалось, потому что рюкзак был тяжеловат.

В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно: все кричали, звали друг друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. Окна были холодны и прозрачны, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся, и слушать быстрое мягкое постукивание колес вниз.

Минут через двадцать он вышел покурить на площадку. Стекла в одной половине наружных дверей не было, на площадке разгуливал холодный ветер, стены и потолок закуржавели, резко пахло морозом, железом, а колеса здесь уже не постукивали, а грохотали, и рельсы гудели.

Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамейки на другую, испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления, потому что, как он думал, никому из них не будет так хорошо в эти два дня, как ему. Он рассматривал также и девушек, их оживленные лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним. Потом он посмотрел на нее и обрадовался. Он увидел, что и здесь — среди молодых и красивых — она была все-таки лучше всех. Она смотрела в окно, лицо ее было матово, а глаза темны и ресницы длинные.

Он тоже стал смотреть через дверь без стекла на мороз, на воздух, шурился от яркого света и от ветра. Мимо проносились скрипучие деревянные, засыпанные снегом платформы. На платформах иногда попадались фанерные буфеты, все выкрашенные в голубое, с железной трубой над крышей, с голубым же дымком из трубы. И он думал, как хорошо

сидеть в таком буфете, слушать тонкие посвисты проносащихся мимо электричек, греться возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще все прекрасно: какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить, что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд! О, как это здорово, уж он-то знает: сколько вечеров он провел дома один, когда у него не было ее, или бесцельно слонялся по улицам с приятелем, философствовал, рассуждал о теории относительности и о других приятно-умных вещах, а когда возвращался домой, было грустно. Он даже стихи сочинял, и они тогда нравились приятелю, потому что у него тоже никого не было. А теперь приятель женился...

Он думал, как странно устроен человек. Что вот он юрист и ему уже тридцать лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрел, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получилась, а он не грустит, его обыкновенная работа и то, что у него нет никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось.

У него одно было только всегдашнее беспокойство — мысли о лете. Еще с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Этот отпуск всегда ему казался таким нескончаемым, таким в то же время кратким, что нужно было заранее все обдумать и выбрать место самое интересное, чтобы не ошибиться, не прогадать. Всю зиму и весну он волновался, узнавал, где хорошо, какая там природа, и какой народ, и как туда добраться, и эти расспросы и планы были, может быть, приятнее даже самой поездки и отпуска.

Он и сейчас подумал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет как индейская пирога... Прощай тогда Москва и асфальт, и всякие процедуры, и юридическая консультация!

И он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они поехали тогда в Эстонию, в крохотный го-

родок, где он как-то был по делам. Как они ехали в автобусе, как ночью приехали в Валдай, там все было черно и один только ресторан еще жил, светился; как он выпил стакан старки и опьянел, и ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночной порой дремала, прислонясь к нему. И как они приехали на рассвете, и хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, здесь было чисто и светло, всходило солнце, беленькие домики, острые красные черепичные крыши, обилие садов, глушь, и тишина, и заросшие курчавой травкой между камнями улицы.

Они поселились в чистой, светлой комнате, везде там по подоконникам, под кроватью и в шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли. Был еще богатый рынок, они ходили вместе и выбирали себе копченое сало, мед кусками, масло, помидоры и огурцы (дешевизна была баснословная). И этот запах из пекарни, непрерывное воркование и плеск крыльев голубей. А главное — она, такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время любимая, близкая. Какое было счастье, и еще, наверное, не такое будет, только бы не было войны!

Последнее время он часто думал о войне и ненавидел ее. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как не будет и смерти вообще. Потому что, подумал он, есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла.

Они сошли чуть не последними на далекой станции. Снег звонко заскрипел под их шагами, когда они пошли по платформе.

— Какая зима! — снова сказала она, шурясь. — Давно такой не было!

Им надо было пройти километров двадцать до его дачи, переночевать там, покататься еще днем и возвратиться вечером домой, по другой железной дороге.

У него был маленький фруктовый участок с летней дощатой дачкой, а на этой дачке — две кровати, стол, грубые табуретки и чугунная немецкая печка.

Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у нее, и они потихоньку двинулись. Сначала они хотели идти быстрее, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько и отдохнуть, но идти быстро в этих полях и лесах невозможно было.

— Смотри, какие стволы у осин! — говорила она и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, осины были желто-зелены наверху, совсем как цвет кошачьих глаз.

Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой то и дело повисал между стволами, и ели, освобожденные от груза, раскачивали лапами.

Они шли с увала на увал и видели иногда сверху деревни с белыми крышами. Во всех избах топились печи, и деревни исходили дымом. Дымки поднимались столбами к небу, но потом сваливались, растекались, затягивали, закутывали окрестные холмы прозрачной синью, и даже на расстоянии километра или двух от деревни слышно было, как пахнет дымом, и от этого запаха хотелось скорей добраться до дому и затопить печку.

То они пересекали унавоженные, затертые до блеска полозьями дороги, и хоть был декабрь, в дорогах этих, в клочках сена, в голубых прозрачных тенях по колеям было что-то весеннее, и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал черный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лед и снег брызгали из-под подков, и слышен был дробный хруст и фыркание. Они опять остановились и смотрели ему вслед.

То нервно и взлохмаченно летела страшно озабоченная галка, за ней торопилась другая, а вдали ныряла, не выпуская галок из виду, заинтересованная сорока: что-то они узнали? И на это нужно было смотреть. А то качались, мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега тарнике снегири — необыкновенные среди мороза и снега, как тропические птицы, и сухие семена от их крепких, толстых клювов брызгали на снег, ложась дорожкой.

Иногда им попадался лисий след, который ровной и в то же время извилистой строчкой тянулся от бльи к бльи, от кочки к кочке. Потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в осиновых и березовых рощах.

Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце, и думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье, о медленно текущих звездах, о черных стогах, возле которых жируют по ночам зайцы и куда издали, становясь иногда на дыбки и поводя носом, приходят лисицы. Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревням и остывающие, стекленеющие глаза растянувшегося зайца, отражение звезд в этих глазах, заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть заячьей тушки.

Внизу, в долинах, в оврагах, снег был глубок и сух, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с легкой порошей — взбираться и съезжать было хорошо. На далеких холмах, у горизонта, леса розово светились, небо было сине, а поля казались безграничными.

Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал ее за шею, притягивал и целовал ее холодные обветренные губы. Говорить почти не говорили, редко только друг другу: «Посмотри!» или «Послушай!»

Она была, правда, грустна и рассеянна и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осторожно, — он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы:

— Ты не устала? А то отдохнем.

— Что ты! — торопливо говорила она. — Это я так просто... Задумалась.

— Ясно! — говорил он и продолжал путь, но уже медленней.

Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще; леса же, долины и овраги давно стали си-

зеть и глохнуть, и по-прежнему по необозримому пространству лесов и полей двигались две одинокие фигурки — он впереди, она сзади, и ему было приятно слышать шуршание снега под ее лыжами и чирканье палок.

Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов, и через минуту показался высоко самолет. Он был один озарен еще, солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу, из морозной сумеречной тишины, и вообразить, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать.

В сумерки они наконец добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли. В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице.

Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогой она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать, озноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающееся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась — и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое — все цвета, на которые нагляделась она за день.

Он доставал из-под террасы дрова, грохал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не рада, что поехала с ним в этот раз.

Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубашке — довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил.

— Устала? — спросил он. — Давай раздевайся!

И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она все-таки послушно разделась и тоже развесила сушить куртку, носки, свитер, осталась в одной мужской ковбойке навыпуск, села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу.

Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, взял ведро, которое, когда он вышел на веранду, вдруг певуче зазвене-

ло. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал все, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике.

Она молча дождалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлебывала и все смотрела на лампу.

— Ты что молчишь? — спросил он. — Какой сегодня день был! А?

— Так... Устала я страшно сегодня... — Она встала и потянулась, не глядя на него. — Давай спать!

— И это дело, — легко согласился он. — Погоди, я дров подложу, а то дом настыл...

— Я сегодня одна лягу, можно вот здесь, у печки? Ты не сердись, — торопливо сказала она и опустила глаза.

— Что это ты? — удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшний грустно-отчужденный вид, а вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало.

Он понял вдруг, что совсем ее не знает — как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, незнакома, что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было.

И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу и печку, и даже почему-то за мороз и солнце, и за свой покой: зачем ехали, зачем все это нужно? И где же это хваленое проклятое счастье?

— Ну что ж... — сказал он равнодушно и перевел дух. — Ложись, где хочешь.

Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась курткой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешел на другую кровать, сел, закурил, потом потушил лампу и лег. Горько ему стало, потому что он чувствовал: она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что, он не знал и злился.

Через минуту он услышал, что она плачет. Он привстал, посмотрел через стол на нее. От печки было довольно свет-

ло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящиеся дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой.

Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны.

Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова ее давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз еще девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила: «Нет!» — и он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним, все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: летчики, шоферы, моряки, но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним.

Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня, в то время, когда она уже ехала на попутном мотоботе, мысли ее стали мешаться, и она уснула.

Проснувшись она ночью оттого, что было холодно. Он сидел на корточках и растоплял остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко.

Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай. Но потом повеселели, взяли лыжи и пошли кататься. Они взбирались на горы, съезжали, выбирая все более крутые и опасные места.

Дома они грелись, говорили о незначительном, о делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темно, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию.

К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил ее своей женой.

Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, — время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой и она хороша и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады.

Завтра целый день в юридической консультации писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой — к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка — и опять — с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо.

Когда они вышли на вокзальную площадь, горели фонари, шумел город, а снег уже успели убрать, увезти, и они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с теплоливой улыбкой, и он ее не провожал.

Ночлег



— Ну давай сходим, Никита! — просил Илюша и клал руку Никите на плечо, смотрел в окно куда-то по деревне, и когда он так клал руку, выходило, что он не один смотрел, а вроде бы вместе с другом. — Давай, Никита, а?

А еще час назад Илюша был замучен, шли они болотами двадцать километров, и под конец Никита все чаще останавливался и глядел назад, в сумерки долгого весеннего вечера, в тончайшую пелену тумана, покуда в этом тумане не определилась фигура — тонкая и длинная, с головой понуро свернутой набок, слышалось усиленное чавканье сапог, и Никита только вздыхал от жалости.

Но когда пришли в деревню, когда договорились о ночлеге в избе, в которой жили старик со старухой, Илюша свалил в угол рюкзак, сел к окну, закурил, стащил — нога об ногу — сапоги, вытянулся, поглядел в окно, и глаза его заблестели.

Старика не слышать было, старуха накрывала на стол, говорила о чем-то с пятого на десятое. Илюша старуху не слушал, спрашивал иногда о хозяйстве, и вопросы его были какие-то дикие, на все повторял почему-то «спасибочки» — и встrepенулcя, и особенно поглядел на Никиту, когда узнал, что сегодня в клубе танцы.

...Стояла на севере самая ранняя весна — та пора, когда ночи уже тлеют, истекают светом по горизонту, когда березы еще голы, когда на многие километры слышно, как однообразно напряженно играют, гулькают тетерева, а снег еще только сошел, все залито поллой водой, и часа в четыре солнце уже высоко и греет всюю.

В одно такое утро Илюша и Никита и двинулись в обратный путь. Были они геологи-однокурсники, бродяги и поэты, как они сами себя называли и как пелось об этом в их

же песнях. Три месяца, еще с зимы, проработали они далеко в болотах, в партии, потом срок их кончился, они собрались быстро, выпили накануне у костра, спели свои песни, записали все поручения, а утром перебудили всех, потискали руки на прощанье, глянули уже как-то отдаленно на буровую вышку, на дощатые сарайчики, фургоны, палатки, на трактора — и пошли...

Им надо было ночевать в этой деревне на берегу необозримого озера, а завтра в три вставать, спускаться на пристань и ехать на катере связи на другую сторону — в город, а оттуда уже в Москву, на поезде.

Все было прекрасно, только Никите хотелось спать, и он думал, что все-таки в три часа вставать, но Илюша все не отставал, все просил:

— Ну, Никита, ну, дорогой, пойдем, посмотрим! — а сам уже и штормовку скинул, натянул мокасины, замшевый спереди джемпер, и побрился, и сигареты американские достал из рюкзака, которые берег специально до того времени, когда будет ехать в Москву и сидеть в вагоне-ресторане.

И как только запахло в избе приторно-сладким заграничным дымком и одеколоном, Никита тоже не выдержал, нацедил кипятку, побрился, тоже надел свежую рубашку, и они вышли — даже плечами в сенях столкнулись.

Ребят в клубе было мало, больше девчат, и девчата показались Никите и Илюше прекрасными, какие-то синеглазые, в веснушках, крепкие и веселые. Как рассеянно сразу заулыбался Илюша, как нарочито скромно, чуть сутулясь — руки в карманы, — мелким шагом пошел в угол, как бы говоря: «Не беспокойтесь, что вы!», как округлил, выкатил глаза и как стал сразу оглядывать девчат! И Никита тоже заволновался, понюхал, сразу уловил запах пудры и губной помады, запах горячего женского тела, сразу вспомнил редкие и давние свои вечера в таких же клубах и неизменный грубоватый и в то же время многое обещающий вопрос «Разрешите?», и допотопные, каких больше нигде не играют, кроме как в глухих деревнях, вальсы и польки на баяне, и топоток ног, и крыльцо потом, шум и возню ребятишек в темных сенях — и подобрался, закаменел некрасивым своим лицом и

с привычной завистью подумал об Илюше, что опять тот выберет себе лучшую, а ему достанется какая-нибудь...

Заиграл баянист, начались танцы, и сначала танцевали одни девчата, ребята все стояли в углу, покуривали, похихатывали, а окна все светились закатом, хоть и бледнели, синели уже. Но света не зажигали.

И тут же к Никите и Илюше подошел парень, а был он стрижен по затылку и вискам чуть не наголо, добела, зато золотистый кудрявый чуб стоял дыбом и водопадом валился на сторону, и был он в шелковой тенниске, в широких брюках, вправленных в сапоги гармошкой, в пиджаке внакидку, и пахло от него одеколоном, бензином и водкой. Он нагнулся и, поглядывая по сторонам, заговорил культурно, тихо:

— Вы, ребята, вот чего... Вы, я вижу, народ культурный — так чтобы все у нас в ажуре было, кого не надо — не трогайте, ясно? Кого себе возьмете на прицел, меня пригласите, я вам скажу, с ними можно или нет. Это чтобы, культурно сказать, какая с кем уже гуляет, а вам неизвестно, так ребята обидеться могут. Нехорошо может произойти. Ясно? Ну и действуйте, извините, а я с вами культурно.

И отошел, а баянист играл, перебирал, склонял голову, и Илюша, уже смело поглядывая на ребят, улыбаясь им, как будто он не один, а вместе с ними, — уже танцевал, уже говорил что-то какой-то девчонке, приближался к ней, отстранялся и опять, кругля глаза, поглядывая по клубу и на ребят в углу, будто он все это не для себя делал, а для них, для всех, кто там был.

А потанцевавши, сел — весь другой, новый, нежный какой-то, тихий, обнял Никиту, забормотал: «Никита, Никита... А? Хорошо, а?» — а сам смотрел все на ту девчонку, с которой только что танцевал, широко, щедро улыбался, и видно было, что он счастлив и про все забыл, — забыл, как работал, забыл, как по болоту шел, забыл, что впереди и что было позади, а только этот нежный, тихий брезжащий свет по окнам, только этот баян, этот клуб с нечистым полом, эти девчата — одни были для него теперь.

Ребята вдруг стали выходить вон, а давешний парень серьезно мигнул Никите с Илюшей, мотнул головой на выход,

раз и другой, и не выходил, пока Никита с Илюшей не встали и не подошли к нему.

— А ну, выйдем! — тихо, серьезно сказал парень, вода глазами по сторонам, и пошел, и Никита с Илюшей, сразу испугавшись, двинулись за ним. Вышли на крыльцо и увидели, что все уже зашли за угол, стоят, покуривают, ждут их. «Сейчас бить будут!» — холодея, подумал Никита.

— Ребята! Вы как насчет выпить? — весело, заговорщицки предложил им, как только они подошли.

Илюша сразу опять заулыбался и округлил глаза. Никита сказал: «А!» и — передохнул, и голос у него был какой-то не свой, и еще почувствовал, что весь вспотел, лицо и шея вспотели, вытащил платок и стал утираться.

— А можно? Магазин открыт?

Оказалось, что можно, магазин закрыт, а у продавщицы дома есть. Водки нет, а есть спирт. И тут же сложились на спирт, и кто-то побежал, а через пять минут и стаканы появились, и вода, и потом все они — человек восемь — дружно пили возле глухой стены клуба разведенный спирт, закусывали окаменевшими мятными пряниками, и Илюша угощал всех сигаретами; все недоверчиво курили, нюхали сладкий дымок и говорили о тракторах, о зарплате, о нормах, о геологах, о том, что в прошлом году тоже работала недалеко от них экспедиция, и ребята ходили к ним в гости, на танцы и в кино, и что ничего, какие все были хорошие ребята, ленинградцы.

И баянист выскочил, сам почуял или кто ему сказал, выскочил, тоже приложился, спросил про какого-то Мишку, курнул, вернулся в клуб, а за ним и все потянулись, уже горячие, веселые, смелые, и как-то уютнее, милее стало в клубе, и музыка лучше, и грустно как-то было, хорошо и жалко, что один вечер только у них, и Никита думал, что всегда, всегда так — один вечер, одна ночь, а жалко, и уже больше ничего похожего не будет, вернее, похожее будет, а вот точно такого никогда уже не будет, и это помнится потом долго. Ах, как жалко!

С непривычки он опьянел, но не плохо, не тяжело, а горячо, все ему нравились, и когда Илюша потанцевал, погово-

рив с той же девчонкой, подозвал его к себе знакомить с ней и с ее подругой, они обе так ему понравились, что он сначала и разобрать не мог, какая лучше и какая же его, а какая — Илюши.

Илюша что-то говорил, ворковал, понизив голос, смотря пристально то на одну, то на другую. А говорил он обыкновенное, что всегда говорится в таких случаях, первое попавшееся, что как жалко, как ужасно, что у них в партии не было таких девочек — а то жизнь в болотах была бы сказкой, и почему они не хотят стать геологами: все геологи — романтики и поэты, и тому подобное, пустое. Но Никите все нравилось, и все было правдой, потому что он в эту минуту забыл тоже про сырость, холод и грязь, и ругань, и тоску и только горячо подхватывал: «Конечно!», «Еще как!»

И они танцевали, а в перерывах говорили и старались острить, чтобы рассмешить девочек, чтобы было весело, а потом вышли и сначала постояли вместе, а потом разошлись — каждый в другую сторону, каждый со своей девочкой... Никита, когда Илюша ушел, скрылся, — Никита при молк, ему как-то неловко стало, он забыл, как звать эту, что шла с ним. Потом спросил. Оказалось, звать Ниной.

— А, Нина... Ниночка... — забормотал он, стараясь опять попасть в давешнее легкое настроение. — Как я не знал, что вы есть на свете...

Дальше у него не выходило, он перестал улыбаться, почувствовал, как у него устало лицо от улыбки и что опьянение — первое, горячее — прошло, взял ее под руку, попробовал было обнять ее на ходу, но та не далась, и Никита совсем опомнился. «Все ясно, — подумал он, — ей Илюша понравился, а пришлось со мной идти. Все ясно!»

Да, наверное, он ей не нравился. А может быть, она думала, что — зачем ей это, вот он приехал, появился откуда-то на одну ночь и уедет, а она останется, так зачем же ей одна-то ночь.

Она не прощалась, не уходила, но и не становилась оживленнее, а была как каменная — синеглазая, налитая, крепкая, пахучая, и пахло от нее бесхитростно: пудрой, женщиной, молоком, деревней. И она была еще замкнутая, дале-

кая. Был ли кто-нибудь в ее жизни и что она думала о любви? «Наверно, солдат какой-нибудь есть, — думал Никита. — Переписываются!»

Прошел где-то вдаль баянист с девчатами, шли по домам, и баянист еще наигрывал вологодские страдания, а девчата подпевали. Потом все угомонилось, успокоилось, и хоть было уже часов двенадцать, на севере еще сочился светло-зеленый омут света с багровой каемкой по горизонту, поблескивали стекла изб, а крыши, восточные их скаты, были черные, как нарисованные сажей.

Никита еще пробовал говорить, она отмалчивалась... Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен, изгородей и бань, вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой. Перед ними, будто налитое воздухом, простиралось громадное пространство озера. Оно не темно было и не светло, не имело цвета, не имело границ... Только в двух отдаленнейших местах, как бы в космосе, мигали вперемежку маяки, и уже где-то совсем далеко, в неверном восточном сумраке переливались, вспыхивали и потухали, как мелкие звезды, огни районного центра на противоположном берегу.

«А ведь надо спать! — совсем трезво подумал Никита. — Где же эта наша изба?»

В эту самую минуту на озере, неизвестно где, возник упругий, вроде бы негромкий, но в то же время мощный звук, похожий на «Уыыыыыппп!» — и не ослабевая, а даже как бы усиливаясь, со стоном, со вздохами стал кататься по озеру, уходить и возвращаться.

— Что это? — быстро спросил Никита, чувствуя, как тоскиво дрогнуло у него сердце и холод пошел по всему телу. — А? Что это?

— А-а!.. — отдаленно отозвалась она. — Это воздух... Это воздух замерзает зимой на дне, а весной выходит. И ни чем не угадаешь, где звук, а так, везде...

Эта протяженность, эта нежная отдаленность ее голоса так непохожи были на ее замкнутый, каменный вид, что Никита опять обнял ее, но она вскочила и уже больше не садилась, а стояла в двух шагах от лавки, сцепив руки на подоле, полуотвернувшись, глядя на озеро.

– Ну что ж, раз так – гуд бай, спокойной ночи! – сказал грубовато Никита.

Как же радостно подала она ему свою шершавую ладошку, как повернулась, как быстро пошла, а потом и побежала по мосткам, закидывая на стороны крепкие светлые икры! А Никита посидел еще некоторое время, покряхтел, покашлял от стыда, закурил, и хоть ему сперва стыдно и нехорошо было от неудачи – потом забыл про все, остыл и только глядел на озеро, направо и налево, и уже стал замечать тончайшие перламутровые облачка высоко наверху и три обвисших паруса на неподвижных, заштилевших лодках, и когда из какого-то заливчика, примерно в километре от деревни, стал выгребать рыбак на лодке, явственно расслышал скрип уключин. «Уыыыыыыпшп!» – опять раздался тот же звук, будто водяной простонал, и эхо, как большое медленное колесо, долго катилось по неподвижной воде.

А когда, поплутав в изгородях и дворах, Никита нашел свою избу, Илюша был уже дома, сидел спиной к раскрытому окну и говорил о чем-то со старухой. Увидев Никиту, Илюша заулыбался, обрадовался, будто они бог знает когда расстались и, по своей привычке проводя ладонью по губам, сразу спросил:

– Ну как, а? Никита, ну как, правда? – Глаза у него были круглые, но спрашивал он так, будто поощрял и осуждал одновременно, как, бывает, отец сына.

Никита не ответил, повел плечом только, сел на лавку рядом и стал следить, шурясь, за старухой, слушая, как шумит самовар на кухне, и думая, скоро ли чай и можно будет ложиться спать.

Илюша сразу все понял, что у Никиты неудача, провел ладонью по губам и приспустил серьезно веки.

– Ну, ну, ну... Ну, Никита, прости, прости... – и длинной рукой нежно коснулся его плеча, и завиноватился как-то... Илюша, когда бывал смущен, начинал как-то приборматывать, повторяя слова. – Но согласись, согласись... Согласись, слушай, грандиозный вечер, а? А, Никита? А спиртик, спиртик – тебе, тебе понравился?

— Ничего, нормально, — кисло сказал Никита и зевнул. — Проспим мы...

— Не проспим, не проспим, Никита, ты, ты... на кровать ляжешь? Я же знаю, знаю — ты любишь мягкое. Ты устал, устал... На кровати, хорошо?

И он зачем-то повернулся, согнул свою длинную шею, высунулся за окно и поглядел по сторонам.

А возле печи, в темноте, там, где должен был спать Никита, — за перегородкой, за занавеской — послышалось вдруг кряхтенье, потом стали грабать рукой по занавеске, откидывая ее, и показался старик. Он ни на кого не смотрел — смотрел перед собой, шел, редко и мелко переставляя ноги, вытянув руку, другой рукой еще придерживаясь за косяк. Был он страшен, черен, с лиловыми веками, весь зарос сивой щетиной, был еще брит по голове, и шишковатая голова тоже была в грязной, редкой щетине. Глаза у него провалились, лицо при каждом шаге кривилось, и видно было, что ему нелегко перейти открытое пространство, не придерживаясь ни за что. Никита было встал поддержать его, но старик враждебно и твердо сказал:

— Сядь! Я сам... — и со стоном и кряхтеньем продолжал свой путь.

Наконец он уместился за столом, долго молчал, смотрел на лампу, тер щеки, потом спросил:

— Экспедиция?

— Экспедиция... — поторопился сказать Никита. — Геологи.

— Типятку дай! — помолчав, твердо приказал старик.

— Чего? — не понял Никита.

— Типятку! Типятку, я говорю, дай! — сердито повторил старик. — Вон в горке, я говорю, типяток!

— В какой горке? — краснея от напряжения понять, спросил Никита.

Илюша высунулся в окно, шумно курил, дул дымом, будто любовался природой.

— Вода кипяченая там в шкафчике за стеклом у него! — крикнула из кухни расслышавшая старуха.

— А! — облегченно сказал Никита и подал старику банку с желтоватой кипяченой водой.

Старик стал пить. Он сопел, глотал, дышал носом в банку, но не оторвался, пока не допил.

— Мать, а мать! — крикнул он, отдышавшись. — Самовар когда?

— Несу! — отозвалась старуха и действительно внесла шумящий самовар.

— Кружку мою! — приказал старик.

Старуха поставила перед ним большую эмалированную белую кружку.

— Налей! — сказал старик. — Постой! Мать, а иде у меня водка?

— Так ее и нету, днем-то сам всю выдул...

— А ты дай, дай! Водку дай, я говорю! — крикнул старик страдальчески.

Старуха сердито достала ему из горки бутылку.

— Гм... — Старик посмотрел водку на свет. — Гм! Мало. Не стану! Убери. Завтра допью.

И стал пить чай.

— Дедушка, а что у вас с ногами? — спросил, помолчав, Никита.

— Совсем заболел, — грустно, задумчиво сказал старик. — По колени ноги болят. Ступить нельзя. Ляжки ничего, не болят ляжки-то, а ниже колен...

— А что врачи говорят?

Старик ничего не ответил, усиленно и хмуро хлебнул чай.

— Какие врачи, — ласково сказала из другой комнаты старуха. — Врачи ему теперь ничего не поделяют. Восемьдесят ведь первый ему... — Она вышла на свет, села на лавку сбоку старика и весело улыбнулась. — Совсем помирает старый-то мой... Да и то — пожил! Восемьдесят годов.

— Чаю мне еще! — буркнул старик. — Табак-то у меня иде? — спросил он, проследив, как ему наливали чай.

— Какой тебе еще табак! — живо возразила старуха. — И не думай, не дам!

Старик наклонил голову, некоторое время молча смотрел на клеенку, потом взялся за кружку.

— Горе одно с этим табаком, — сказала старуха. — Как закурит, так и почнет кашлять, спать не дает... И так спит плохо. Кричит больно во сне, сны ему снятся... — Старуха усмехнулась. — Влазит в него ночью. Вот он и орет.

Старик допил вторую кружку, посидел, подумал.

— Время сколько? — спросил он, ни на кого не глядя.

— Одиннадцать, — сказал Никита.

— Спать пойдешь,пусти! — сказал старик старухе.

— Дойдешь сам-то?

— Дойду,пусти!

Он мучительно встал, постоял немного, перебирая напряженными пальцами по столу, будто собираясь с духом, потом, вытянув вперед руку, осторожно стал переходить избу. Дошел до притолоки, торопливо оперся, постоял там и начал, держась за печь, двигаться к лежанке. Потом долго взбирался на печь, кряхтел, охал, наконец лег и затих.

Старуха убрала со стола, зевая, ушла к себе, и там у нее долго скрипела кровать. Илюша постлал себе какие-то дождевики и вытертые полушубки на широкой лавке под окном, положил в голову телогрейку. Никита как бы видел и не видел ничего, судорожно зевал, торопливо накуривался перед сном. Он соображал, зачем это Илюша лег возле окна, зачем не закрывает окно, и его такая особенная, хищная какая-то улыбка и нетерпение, и он сам где-то не здесь, в избе, а далеко — но и думать об этом уже не вмоготу было, мысли мешались. Он быстро докурил, сплюнул в окно, посмотрел — все было видно, все избы, и озеро, и туман на берегу, тонкая пелена, а Илюша тем временем уже лег, закрыл глаза, тихо дышал...

Никита пошел к себе за стенку, нащупал в темноте кровать, повалился, сразу услышал, как дурно пахнут подушка и одеяло, успел только подсунуть ладонь под щеку, и сразу поплыло перед ним болото, закачалась топь, потянулась деревянная тропа, а по сторонам грозно и загадочно раздавалось «Уыыыыыыпппп!..» Он еще не понимал, почему болото и куда он идет, а сам уже жадно спал.

Проснулся он от крика.

— А-а-а! О-о-о! — кричал на печке старик.

«Что это? Почему я во тьме? А, старик!» — вспомнил Никита и тут же услышал тихие голоса за перегородкой, скрип лавки, даже в стену избы стучало что-то.

— Да лезь же ты! — напряженно шептал Илюша. — Кому говорят, ну! Скорей... Ух, черт, тя-жел-ая!

— Обожди, обожди... — шептала она. — Руки пусти, слышь! Пусти, больно! Да влезу я, влезу! Там вон старик орет, может, помирает...

— Не помрет... Давай, давай!

— Да больно же! Офонарел ты? Руку пусти — коленку поставлю. А друг твой спит?

— Спит, спит... Давай... Тихо! Вот так...

— А-а-а! О-о-о! Пусти! Пусти — твою мать! — заорал, задыхаясь, на печи старик.

У Никиты стало холодно в животе, сердце колотилось, но и сон душил его, навивался. «Сволочь! — думал Никита, засыпая. — Плевать! Счастливый... Победитель! Не в этом главное». И он стал думать что-то очень хорошее про себя, как он кого-нибудь встретит, и тогда будет не то что здесь, а это так — бодяга, а не любовь, сука этот Илюшка, подонок! И он уже ничего не слышал больше.

И еще раз он проснулся — на стене, на темных бревнах над его кроватью был желтый квадрат света, и ему показалось, что лучи идут по избе мимо печи и упираются в стену над ним. «Солнце встало! — испугался он спросонок. — Проспали!» — посмотрел на часы, но не мог разобрать: одна стрелка стояла на четыре, другая возле часу. Он поднял голову, поморгал — старик зажег лампу на кухне, лампа стояла на столе, а старик, вытянув руку, кряхтя, двигался куда-то. Никита поднялся, затопал босой к лампе, поглядел на часы — было двенадцать минут второго. «А! Спать, спать...» — подумалось ему, и он, качаясь, словно пьяный, цепляясь за печь, добрел до кровати, опять повалился и тут же, как ему показалось, проснулся от грохота.

После грохота была тьма, хриплый стон из тьмы и потом голос старика...

— Мать! А мать... Иди скорее! Ма-а-ать! — вдруг заорал он отчаянно.

— Чего, чего ты... Иде ты? Чего там? — забормотала старуха на своей кровати.

— Иди скорее... твою мать! — злобно, визгливо кричал старик. — Иди, я в тару упал, встать не могу...

«В какую тару? В какую тару? О черт, ну и ночлег достался!» — подумал Никита, окончательно проснувшись.

Старуха уже шла ощупью к печке. Она дошла, все время спрашивая: «Иде ты?» — и старик каждый раз подавал ей голос в ответ. И началось там у них какое-то сопенье, начался громкий старческий говор, когда старикам нет дела, что кто-то спит у них, ни до кого им, до себя только, когда они где-то далеко-далеко, в своих годах.

— Бродило, бродило ты старый, — кричала во тьме старуха. — Чудо ты ночное, и кто тебе велел слезать-то?

— Три кружки... — говорил в ответ старик с усилием, — три кружки чаю выпил... Выпил, это-то меня и смутило...

И закрихтел, застонал, задышал, а старуха, видно, подпихивала его снизу, кричала:

— Ногу-то, ногу куда прешь! Сюды вот на приступку ставь, руками-то цапайся, цапайся, ползи-и! Ползешь?

— Ползу-у!..

А ночь между тем длилась. Никита не мог уже спать, и не старик со старухой растревожили его, а то, что происходило за перегородкой, и как там смеялись, прыскали, и он понимал, что они слушают стариков и им смешно, что старик упал в «тару», но им еще и не потому смешно, а так просто, потому что они не спят, как он, в душной темноте, а лежат вместе в ночном слабом свете. Вот, значит, как. Им весело! Как это у Пушкина? Ах, да как же это? А! Вот как: «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи...» Вот она и пришла к нему, уж он-то знает свое дело, и в клуб поэтому пошел. Пошел бы он в клуб просто так! А он пошел, и все у него вышло, а потом ждал, чай пил и ждал, курил, «спасибочки» говорил. «Никита, — говорил, — милый, грандиозно», и разные слова, а сам знал и ждал, и она, наверно, ждала где-нибудь там, — ну, я не знаю! — где-нибудь на огородах, за баней, когда же погаснет

свет, когда все заснут, чтобы прийти. У, шалашевка! А он потом говорит где-нибудь в компании, ноги свои длинные вытянет и говорит о себе: «Я не умею, — говорит, — я просто теряюсь, я робкий, вот Никите везет!» — ах ты сука, гад!.. Бедная старуха, бедный старик — не дай Бог дожить до такой старости, о-о, не дай, не дай Бог. А они прощаются? Спишете? Хрен он тебе напишет, дура ты третичная! Написал один такой... «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи!» — вот так, дура, это не кто-нибудь сказал — Пушкин сказал... Не дали поспать, черти, уже на пристань идти надо.

Он поднял голову и поглядел под занавеску на пол. Было совсем светло.

— Илюша! — позвал он.

Илюша молчал.

— Слушай, который час?

— А? Никита? Что ты, милый? Ты проснулся?

— Давно уже! — сердито сказал Никита и посопел: — Какой час?

— Без четверти три...

— Надо идти.

— Да, да... — Илюша зевнул. — Ах, сейчас поспать бы! Ну — идти так идти... Чай не будем пить?

Через десять минут они подходили уже к пристани. На катере давно собрался народ — бабы с бидонами, с кошелками, девчата в надвинутых козырьком платках, два-три парня. Все сидели на корме, молча смотрели на озеро. Северо-восток уже горел, уже казалось, что там встают световые дрожащие столбы, деревня была освещена, и стены и крыши были бледны. Вдали по озеру двигались лодки, люди в них там наклонялись и наклонялись, играла рыба... «Уыыыыпппп!» — вздохнуло опять неизвестно где, и все посмотрели на озеро, но в разные стороны, потому что никто не понял, в каком месте раздался этот загадочный звук.

Кого-то ждали, матрос заглянул в рубку, ему что-то сказали там, и он побежал наверх по берегу, скрылся и закричал, а ему тоже отвечали криком издали. Потом матрос показался с парнем — тащили плоские коробки с кинолентами. Скоро загудел дизель, и за бортом зафыркала вода.

Катер тронулся, косо, боком пошел от берега, и ветерок тронул лица холодом. Скоро стал виден весь плоский берег и вся деревня. Илюша — теплый, усталый, ласковый — положил руку на плечо Никите и с широкой улыбкой глядел на деревню, будто надеялся увидеть что-то. И опять улыбка его была не для себя только, но и для всех, будто все вместе с ним тоже глядели на деревню и искали что-то. Но никто не глядел назад, наоборот, смотрели все на озеро, на рассвет, на далеких рыбаков, следили за утками. А утки уже летали всюду, присаживались стайками на воду, а вода была светла, и чем дальше к горизонту, тем светлее и воздушнее, и дальше стайки уток, казалось, плавают по воздуху.

— А? Никита? — сказал Илюша, восхищенно глядя на Никиту. — Грандиозно, а? Я тебя страшно люблю, Никита!

В лице Илюши что-то дрогнуло, он подумал секунду и вдруг поцеловал Никиту, очень нежно, слабо и почему-то за ухо.

Никита освободился из-под руки Илюши, подошел к борту, поглядел на шипящую, вываливающуюся из-под носа волну и хмуро закурил. Он ненавидел Илюшу, но знал, что это потом пройдет, и он опять будет его любить — такой тот был нежный, когда хотел. И он знал еще, что все это ему потом вспомнится — и клуб, и озеро, и эти северные девчата, и как он пил спирт за углом, как ему было хорошо, как все-таки хорошо, — вот старику плохо, бедный, бедный старик, — а ему хорошо.

Плачу и рыдаю...



Их было трое — ни много ни мало, а как раз в меру для недельной жизни в лесу, охоты и разговоров. Старшему было лет сорок, был он косолап, лохмат, черен, но со светлыми длинными глазами, все время восхищался природой и любил поговорить. Звали его Елагин.

Другой — лет тридцати — был коренаст, груб и насмешлив, хотя имя имел тихое, мечтательное: Хмолин. Он служил егерем, охотился с детства, кажется, только и делал всю жизнь, что стрелял, и ко всем городским, которые приезжали к нему на егерский участок, относился с пренебрежением.

Третий был просто Ваня, свеженький мальчик со щечками, веснушками, с постоянной радостной улыбкой — покорный и услужливый. Ване было лет пятнадцать, и приехал он с Елагиным.

Днем они охотились на уток, но почти всегда неудачно — не было у них ни скрадок, ни подсадных, ни лодки, а утки держались всегда далеко от берега и взлетали чуть не за километр.

Зато вечерами была тяга, и тут уж пальба раздавалась на весь лес, и убивать случалось часто. Пришли на тягу они и в этот вечер, тотчас стали каждый на свое любимое место и подняли лица к небу.

До чего же это был прекрасный весенний вечер! Оттаявшая земля резко шибала в нос, хотя из оврагов тянуло еще снежным холодом. По дну ближнего оврага бежал ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожали, сгибались и медленно выпрямлялись в борьбе с течением. И все это происходило бесшумно — только светлая, отражающая небо вода в воронках и струях и черные набухшие лозины над ней. Зато

ниже по течению ручей трепетал в овражной тьме, как струна, и оттуда слышались то будто удары сухого полена о полено, то будто выгаскивал кто-то с чмоканьем ногу из болота.

Приближался, ударял сумеречный час! И как обычно, для Вани, для Елагина и Хмолина время двоилось: казалось вместе и медленным и быстрым. Пока еще было не слышать ни звука, дневная жизнь замерла, ночная еще не начиналась, и не свистал еще дрозд в стеклянной светлоте между черными ветвями, и солнце еще горело где-то за лесом, один ручей только стучал и чмокал, как всегда. Но зато все заметили под ногами на черной земле между жухлыми листьями какие-то красные и ярко-зеленые почки и стручки — напряженные, тугие, и на многих видна была еще не высохшая земля. Значит, они вылезли сегодня... И лес стал вроде не так прозрачен, как вчера, ветви набухли больше прежнего, и почки стали толще, а вчерашняя ольха, которую все эти дни никто не замечал, сегодня будто вышла из лесу, стала шершавой, толстой, все суки ее снизу доверху и самый ствол покрылись бородавками, и она вся стала похожа на мохнатую гусеницу.

Прошло какое-то мгновенно-медленное время — а какое, никто бы не мог сказать, — и вот уже трудно стало разбираться на земле и по сторонам, значит, солнце село, и сумерки надвинулись, только небо над головой и к западу было все так же чисто и светло.

Как и вчера, как тысячу лет назад, чистой блестящей каплей между черными как сажа ветвями дубов засверкала Венера. И как только она показалась — а Ваня никак не мог уловить ее появления, он все глядел туда, ее не было, а потом она уже была, — как только она показалась, сейчас же засвистал дрозд. И это значило, что настала ночь и началась иная жизнь.

Как только появилась Венера и запел дрозд, Хмолин и Елагин тотчас закурили, и Ване хорошо были видны огоньки сигарет и дым, синими слоями сползающий к оврагу. Да, ночь наступила, хоть и было светло и вроде длился и зеленел еще вполнеба закат, но это был обман, а на самом деле пришла ночь, — тогда только появились вальдшнепы.

Они были далеко видны на светлом и летели быстро, хотя казалось, что медленно, и в их круглых крыльях, в их волнистом полете, вздымании и опадании было что-то нездешнее. Они хрипели и свистели на лету, и это опять было не похоже ни на один земной звук.

Первым выстрелил Хмолин, выстрел его был гулок и кругл, и далеко в холмах покатилося такое же круглое эхо, а над местом, где стоял невидимый Хмолин, появилось синее облако дыма. Елагин восторженно крикнул что-то, но тут же раз за разом резко и коротко выстрелил сам — у него был бездымный порох, и выстрелы получались сухие: «Tax! Tax!»

Выстрелил и Ваня, а через минуту еще и еще, но все мал — то брал слишком вперед, то было далеко, то мешала какая-нибудь ветка, которой, конечно, не было, когда он час назад выбирал себе место, оглядываясь и прикидывая, удобно ли стрелять.

То Хмолин, то Елагин наверху бегали куда-то, треща валежником и переключаясь, потом опять возвращались и стояли, а Ване некуда было бегать, он еще ни разу не попал.

Первые вальдшнепы пролетели, стрельба прекратилась, Ваня ощущал кислый запах пороха вокруг себя, сердце у него колотилось, и он сперва ничего не слышал. Но скоро он заметил, что стало гораздо темнее, земля была почти не видна, и дрозд умолк, но зато далеко где-то в разных местах раздавалось то заунывно и постоянно: «У-у!.. У-у!..», то загадочно и коротко: «Тррр... тррр... тррр...»

Опять полетели вальдшнепы, опять первым гулко выстрелил Хмолин, и тут же Ваня увидел, что над оврагом летит что-то темное, с округлыми, как бы перепончатыми крыльями, и стрелять было с руки. Ваня вскинул ружье, повел и ударил, вальдшнеп остановился на месте, будто наткнувшись на что-то, мелко задрожал крыльями и стал падать. И, уже не видя ничего, кроме падающего вальдшнепа, один раз прикинув только место, куда он должен был упасть, Ваня бросился туда напролом, царапая руки и лицо.

Вальдшнеп упал на склон оврага, обращенный к закату, на открытое место, шуршал листвой и, как лягушка, упруго

подскакивал на одном месте, подпираясь крыльями. Были у него огромные глаза на маленькой головке, но он не смотрел на подбегавшего Ваню и, наверное, не видел его, а смотрел вверх, и все — грудь, длинный тонкий клюв, ржавая спина, изгиб шеи, — все было устремлено ввысь в смертной тоске.

Наверху еще стреляли, потом перестали, закурили, сошлись, потом окликнули Ваню, потом стали кричать, огогокать, а Ваня был в овраге, держал и разглядывал теплого вальдшнепа, и голова вальдшнепа уже моталась и щекотала Ванины руки.

Хмолин убил двух, Елагин ничего не убил, а Ваня не удержался и соврал, что тоже убил двух, но одного никак не мог найти, хотя и искал до темноты. Когда покурили, рассмотрели и уложили вальдшнепов Хмолину в рюкзак и пошли домой, в егерскую сторожку, Венера еще ниже сошла к горизонту, блестела сильно и колко, а свет зари глухо, мрачно и зелено виднелся сквозь голый лес. По дороге то и дело встречались ручьи, поющие одну и ту же песню воды. Попадались и лужи — еле угадываемые и таинственные, как миражи, среди черноты земли. Но охотники уже не обращали ни на что внимания, а спешили добраться до сторожки, и мысли у всех были одинаковые: о печке, о вальдшнепиной похлебке, о крепком хорошем чае. Они все были счастливы, замучены весной и как-то даже сонны, но знали, что это пройдет, как только они придут домой.

Когда вышли на вырубку, все одновременно увидели, что низ неба между голыми красными лозинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост, шоколадно просвечивал. На вырубке стояла красноватая тьма, дальние деревья и прутья были видны, а ближние как-то пропадали, все постоянно налетали на них, загораживали лица и даже останавливались, вглядываясь, куда пойти, где посвободнее.

Вырубка незаметно и долго поднималась от оврагов, и когда прошли уже половину ее, Ваня заметил впереди как будто корягу, горелый ствол с торчащим кверху толстым суком, совсем как лось.

— На лося похожа! — сказал Ваня, думая про корягу.

— Да это и есть лось! — узнал, взглядевшись, Хмолин. — Вон и еще пара... А! Это сохач, а с ним лосиха с теленком — смотрите!

Лоси, застигнутые в этой красноватой мгле среди чего-то своего, звериного, вели себя странно — не убегали, только теленок подошел к лосихе и слился с нею, может быть сосал, а сохачатый поднял большие уши и стоял отдельно. Потом сделал несколько шагов навстречу охотникам, еще выше задрал морду и глядел на них поверх лозин.

— А он не кинется? — тихо спросил Ваня.

— Может! — быстро отозвался Хмолин, а Елагин встревоженно кашлянул, и Ваня понял, что и они боятся.

Охотники пошли дальше, забирая влево, далеко обходя лосей, и сохач не шевельнулся больше, только голову поворачивал — до него было каких-нибудь тридцать шагов.

— Эх, вдарить бы! — бормотал Хмолин, нервно посмеиваясь. — Знают свою безопасность...

И стал рассказывать, что в области теперь больше трех тысяч лосей и что был у них случай, когда лось пристал к коровам и кидался на доярок, когда те приходили доить на выпасы.

А Ваню как начало знобить при виде лосей, так уж и не отпускало. Он то думал о них, какие они красновато-коричневые, большие и бесшумные, то опять вспоминал о вальдшнепах, об их странном полете и хорканье и что они точно так же летали когда-то над лесами, миллионы лет назад, и леса те давно упали, погрузились и стали каменным углем, а вальдшнепы и теперь летают. Он шел последним, по сторонам не смотрел, уверенный, что увидит страшное, боялся отстать и крепко держался вспотевшей рукой за шейку ружья, которое незаметно зарядил уже пулями жакан.

Совсем близко от сторожки охотники остановились на берегу ручья, тихо посоветовались, где лучше перейти, и пошли налево. У Вани от их тихих голосов мурашки по спине пошли, хоть он и знал с тайным счастьем, что пугаться некого, попытался идти между Хмолиным и Елагиним, но ему не

удалось, и он теперь, спотыкаясь, шел вплотную за Хмолинным и часто толкал того грудью в рюкзак.

Они дошли до пологого берега, подтянули сапоги и побрели через ручей. Ваня замешкался, шагнул в воду, вода холодно и плотно обхватила его ноги, он покачнулся и чуть не крикнул «Погодите!», но застыдился, а потом был рад, что никто не заметил его испуга.

Перейдя ручей, охотники поднялись наверх, пролезли через гибкие набухшие кусты и увидели темный силуэт избушки и невнятно блистающую округлость «Победы» рядом. Войдя в избушку, зажгли свет — маленькую ослепительную лампочку от аккумулятора, — и каждый тотчас занялся своим делом.

Елагин стал ломать о колено хворост и совать в топку грубой печки. Хмолин вынул из рюкзака взъерошенных вальдшнепов и, скинув только ватник, сел на низкий табурет к печке теревить их, а Ваня с замирающим сердцем спустился к ручью за водой и бегом, расплескивая воду, вернулся назад.

Елагин уже растапливал печь, слабое пока пламя шевелилось где-то в глубине топки. Отлив из ведра в котелок и чайник, Ваня поставил их на плиту, пошел к топчану, разобрал поудобнее набросанные там телогрейки и одеяла, стащил сапоги, лег головой к окну, накрыл лампочку маленьким абажуром и включил транзистор. Приемник стал трещать, музыка и голоса перебивали друг друга, посвистывало и уйкало, и Ваня, покрутив минуты две, выключил его и повалился на спину.

Все долго молчали. Печка разгорелась и начала гудеть, постреливать искрами в раскрытую дверцу. Возле нее становилось жарко сидеть, Елагин отодвинулся, слегка отодвинулся со своими вальдшнепами и Хмолин. Ваня шевелил богами ногами и смотрел на закопченный потолок и стены, которые все были изрезаны ножами, — искусно и грубо были вырезаны даты и имена. И Ваня думал о всех людях, которые здесь побывали, и как они тоже топили печь, выпивали и разговаривали.

В избушке пахло душисто и сложно: от ружей тянуло пороховым дымом, пахло еще сапогами, дымом можжевельника от печки, теплой глиной, дегтем от дымохода, шерстью свитеров и одеял.

Елагин, изогнувшись назад, стащил с топчана телогрейку, бросил на пол и присел, потом один об один стянул сапоги, закурил и стал задумчиво следить, как дым, розовея, уходит в печку.

Лица Хмолина не было видно. Он с усилием, с треском, вырывал маховые перья из крыльев и посапывал.

— Эге! — сказал вдруг он, разглядывая ошипанную тушку. — Вон куда попало, в шею... И вот еще в боку, под крылом, глядите! А ты, Ванька, молодец, здорово саданул, я видал!

Ваня заулыбался и покраснел: это был его первый вальдшнеп. Елагин шевельнулся и серьезно пригляделся к вальдшнепу. Хмолин поскубывал еще, выдергивая последние перышки. Вальдшнеп мертво, бессильно побалтывал шеей в его руках.

— А они чувствуют свою смерть? — спросил Ваня, глядя на вальдшнепа.

— Всякая тварь сознает, — быстро сказал Хмолин, будто ждал этого вопроса и все у него давно было решено.

А Елагин вдруг взволновался, встал в одних носках, в выпущенной рубахе, налил себе водки в кружку, в другую налил воды и стал ходить от стола к печке и говорить. Волосы свалились ему на лоб, ступал он косолапо, горбился и говорил, говорил и забывал, в какой руке у него водка, в какой вода, останавливался, нюхал по очереди, потом вскидывал голову, произносил «Ура!», смотрел на Хмолина и Ваню светлыми длинными глазами, выпивал и опять начинал говорить.

Говорил он о смерти, о том, что придет эта железная сволочь, сядет на грудь и начнет душить, что прощай тогда вся радость и все. Что мучительно это сознание неминуемой смерти и что *аз емь земля и пепел, и паки разсмотрих во гробех и видех кости, кости обнаженны, и рек: убо кто есть царь, или воин, или богат, или убог, или праведник, или грешник? ...Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по об-*

разу Божию созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имущу вида!

Был Елагин филолог, доцент и обо всем — о войне ли, о любви, об истории — говорил длинно, убедительно, и думалось, глядя на него, что все он знает, и спорить с ним не хотелось, а хотелось слушать. Только Хмолин иногда, не выдержав, перебивал его какой-нибудь дикой историей и хохотал, как леший, — москвичей он все-таки презирал.

Поговорив о смерти, ужаснувшись ей, Елагин свесил голову, задумался, потом тряхнул волосами, крикнул «Ура!», еще выпил и, слегка уже опьянев, заблестев глазами, заговорил о любви, о женщине, о ее святости, о том, что все-таки высшее на земле есть доброта и любовь, а этим как раз и сильна женщина. И опять его хорошо, интересно было слушать, опять казалось, что все, что он говорит, — истинная правда, и Ваня с горящими щеками уже как-то особенно нежно думал о знакомых девчонках, только Хмолин что-то все хмыкал, потом не выдержал и перебил:

— Мура все это! Это только у вас там в книжках все написано, а жизнь другое говорит. У меня вот приятель был, — Хмолин оживился и перестал драть вальдшнепа. — Спутался с одной бабенкой по пьянке. Прямо сказать, извиняюсь за выражение, занюханная была бабенка, дура необразованная, тонконогая какая-то, уделанная, одним словом, я ее видал... Так вот, раз он к ней по пьянке завалился, другой, третий, и ни полслова там о любви или об женитьбе, ничего! И она сама знала это, и сама его не любила нисколько, какая там любовь! Только встречаются они однажды, она ему — ррраз! — женись! «Пойдем в загс, а то утоплюсь!» А? Он туда-сюда, а она ему: «Утоплюсь и письмо на тебя напишу в райком». А? А он тогда комсомольцем был. Спасибо, я ему сказал: «Держись, ничего с ней не станет, на том заду и сядет». Он и держался, похудел весь, месяц не в себе ходил, я уж думал, копыта откинёт, так почернел. Ну, да обошлось, помоему вышло. Вот тебе и это — как ты сказал? — святая там доброта, саможертвова... жертванье, одним словом, то да се...

Хмолин, довольный, захохотал и опять занялся вальдшнепом. Елагин нахмурился, махнул рукой.

— Грубый ты какой-то, — досадливо сказал он. — Все у тебя какие-то пошлости, черт тебя знает, право!

Хмолин подвинулся к печке и стал палить вальдшнепов, поворачивая их перед огнем и по очереди отдергивая руки — ему было горячо. Потом он опять приладился на табуретке, вытащил из ножен короткий нож и начал потрошить вальдшнепов. Запахло кровью и лесом. Выпотрошив, он начал мыть тушки в ведре, тер так, что скрипело под пальцами, и все приговаривал:

— Ну, похлебка у нас сегодня будет! Молодцы, охотнички!

Через час, когда похлебка почти была уже готова, Хмолин пошел за водой, а вернувшись, брякнув ведром, сказал запыхавшись: «Гляньте, что делается!» — и сам первый вышел. Тотчас вышли за ним Елагин и Ваня.

Снаружи сторожка облита была жидким лунным светом. Рядом с ней поблескивала «Победа», и на капот ей редко, но крупно и постоянно падала капля из сломанного березового сучка. Дальше в лесу что-то погукивало, постанывало еле слышно, точно так же, как на тяге, все пахло холодом и чистотой, звуки были редки, рассеянны и слабы, только внизу бормотал ручей, откуда брали воду, — будто тихо разговаривали несколько женщин.

Еще дальше за лесными холмами, в пойме, мощно текла широкая река, и на ней после зимы уж выстроились баке-ны, стоявшие тоже широко и смело, потому что был разлив и везде теперь было глубоко.

На той стороне реки затаилась молчаливая спящая деревня, но и в ней слышны были звуки дыхания, или редкого неуверенного лая, или сплошного ночного вскрика пехоты. За деревней, во тьме полей ползал и ползал одинокий трактор, и неизвестно было, работал ли то ударник, или, наоборот, перепыхивал кто-то испорченный им же самим днем клин.

— Плачу и рыдаю! — громко сказал Елагин. — Весна! Все живет, все лезет! Не прав, не прав старик. Нет, не прав! Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь — вот как надо! А? Правильно, старики, а?

— Жрать охота, — сказал по привычке грубо Хмолин, но тут же почему-то смущенно закашлял.

— Ну-ну... Пойдем, пойдем, — забормотал Елагин огорченно и тоже смущенно и сгорбившись пошел в дом.

Но в сторожке он опять оживился, крикнул «Ура!», пронзительно глянул из-под волос на Хмолина и заговорил:

— Выпьем! Ах, черт, давайте выпьем! Хмолин, Ваня, а? Я вас люблю, я все люблю! И эту печку! Неси сюда старку, Хмолин, шевелись!

Хмолин, усмехаясь, ставил на стол тарелки, резал огурцы, хлеб, вышел в сенцы и принес бутылку. Елагин возился с рюкзаком. Ваня нервно шевелился у себя на топчане, засовывая под стол длинные ноги, глядя блестяще на Елагина и Хмолина, как бы спрашивая, что бы и ему такое сделать и чем помочь.

Елагин вынул консервы, стал застегивать рюкзак, но тут же вновь открыл, нагнулся и, посапывая, долго нюхал.

— Как пахнет! — сказал он и посмотрел на Ваню. Ваня тут же вылез из-за стола и понюхал с наслаждением. Пахло дивно: выглаженным бельем, конфетами, печеньем и будто утренним кофе на даче.

— Дорогой пахнет! — сказал Елагин. — Странствиями, встречами... Ну-ну! Давай, Хмолин, наливай! Ване тоже. Ваня, выпьешь? Понемногу, Хмолин, ладно?

Они сели. Елагин налил себе водки и воды в разные кружки, понюхал ту и другую.

— Ну, за весну! Дай Бог, чтобы всегда мир был!

— Чтобы жили мы все счастливо! За прелестных женщин! Слышишь, Хмолин, у, дурак, дурак! Ну, старики, весна, жизнь! Плачу и рыдаю! Ура!

Они выпили, и каждый крякал, отдувался, морщился, тряс головой, торопливо тыкал вилкой, а когда разошлось, у всех сразу заблестели глаза, все посмотрели друг на друга с улыбкой и тут же смутились оттого, что так бессовестно счастливы. Ваня через минуту опьянел так, что даже жевать не мог, бессмысленно тарачился, трогал себя за нос и лоб, стараясь убедиться, что он за столом, а не летит куда-то.

— Э! — сказал Хмолин радостно.— Гляньте на него! Окосел парень! Вань, а Вань! Сколько нас?

Ваня только глупо прыскал и все трогал себя за лоб, тер глаза, но опьянение скоро прошло, все громко заговорили, перебивая, плохо слушая друг друга, и каждый старался сказать что-то умное, даже Ваня; каждому казалось, что они втроем сейчас что-то найдут и решат, как жить дальше людям, и каждый воображал, что только один он все понимает.

Зато ужинали молча, блаженно, хлебали громко и осторожно, боясь обжечься. Все сразу вспотели и начали стаскивать через голову рубахи, выгибаясь, почесываясь тут и там, и труднее всего было чесаться под лопатками.

— Нету дичи лучше вальдшнепа! — все повторял Хмолин. — Я знаю, всех перепробовал!

Пужинав, попили всласть чаю, послушали последние известия, покурили, позевали и стали разбираться на ночь.

Хмолин и Елагин легли на одном топчане — он был пошире, Ваня на другом: с ним никто не хотел спать, уж очень он брыкался во сне. И опять долго молчали. Не было обычных предсонных разговоров. Раза два Елагин вставал и выходил, потом возвращался и все повторял:

— Плачу и рыдаю!..

Ваня хотел тоже выйти с ним, но подумал, что сейчас там холодно, тихо, пустынно — одна луна! Ему вдруг стало жутко-весело, как бывает только в детстве, в деревне, на ночевках, когда ложатся все вместе, начинают тискать друг друга, взвизгивать от восторга, прыскают в подушки. Когда кто-нибудь издаст вдруг долгий задумчивый звук, и все, давясь от смеха, начинают колотить кого попало и кричать: «Кто это? Ты, Витька?» — «Не!» — «Петька?» — «Не!..» — когда страшно неизвестно чего: чертей ли, темноты, тишины ли за стеной, и в то же время не страшно ничего, а счастливо и легко. Когда так успокаивающе действует разговор взрослых за стеной, которого и не слышно, а слышно только «бу-бу-бу». И когда так неистово и беспросветно засыпается посреди шепота приятелей, толкотни, и возни, и сказок — и спится, спится долго, до следующего яркого летнего дня.

Такое точно чувство испытал внезапно Ваня, завозился у себя, дрыгая ногами, укусил подушку, уткнулся в нее, чтобы не загоготать, и засопел, с блаженством думая, что сегодня ели его вальдшнепа, что он научился стрелять влет, что был разговор о любви, о смерти и о времени и что все это ерунда, а главное — подбить бы ему и завтра вальдшнепа или утку.

Припадок безмолвного смеха прошел, Ваня затих, отнял лицо от подушки, и опять в нос ему ударил запах табака, сапог и пороха из ружейных стволов.

И долго так все лежали, и никто не спал, и каждый знал, что никто не спит, потому что все тихо дышали и думали, думали...

Проклятый Север



Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю ослотивший и разбитый.

Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане.

Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной.

В Ялте горы казались красно-лиловыми, море синело и блестело, туманы были редки, а на набережной продавалось кислое крымское вино. Везде из садов, из-за каменных стен, на узких кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло запахом цветов и влажной земли. И вообще пахло югом, древними горами и морем. На камнях, на плитах тротуаров лежали розовые лепестки — деревья осыпали свой цвет, и весь Крым в эту пору розово дымился и пах неясным дурманом. На базаре продавали красную редиску и невиданную иглу-рыбу с черной спиной, белым брюхом и зеленым позвоночником.

Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам под нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. Мигал рубиновым глазом маяк в конце мола, и часто заходили, медленно вдвигались и застывали в порту красивые, освещенные, белые пароходы.

Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривоногого, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке, среди воя и

свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска — на палубах, резко освещенных рабочими лампами.

— А то давай переведемся, а? — предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы.

Друг мой только скалился.

Еще цвело в Ялте иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев — просто мучительно искривленные коряги, черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры.

Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиницы. Мы сидели вечерами на веранде, пили коньяк и кофе — единственный хороший кофе во всей Ялте, — смотрели молча то на море, на огни в порту, то на набережную, на женщин и пижонов в цветных рубашках, то на это дерево. Когда нам надоело смотреть вниз, мы поворачивались и смотрели на горы, которые постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густолиловыми, потом черными...

Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Ореанду, вечером снова бродили по набережной, под фонарями. И днем, и вечером всюду было оживленно, шумно,людно, пахло духами, пудрой, женским телом — все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств.

А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей — неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах. А катера были обязательно с громкоговорителями, и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые, заезженные пластинки.

Отчего нам было скучно, мы не знали.

И этот день плохо начался для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Мы ходили в буфет, но и пить с утра нам не хотелось. Наконец друг мой спросил:

— Слушай, а в доме Чехова ты был?

— Не был. А что?

Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное.

— Давай, старик, поедem! — предложил мой друг. — Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю.

Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от крыш внизу, когда дорога взбегала наверх. В машине было жарко, и машина была расхлябанная, брэнчала и громычала, и воняло бензином, и шофер был почему-то неразговорчивый, мрачный.

Все оказалось совсем не таким, как я думал. Внизу под дорогой стоял дом и флигель, и стены, выходящие на двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома засыпан был гравием. На гравий больно было смотреть, так он был бел под солнцем. Под ногами неприятно шуршало и скрипело, а на верхней дороге жужжали МАЗы, и душный выхлопной дымок сносило вниз к дому.

А когда мы вошли, друг мой стал морщиться, сопеть, играть скулами.

— Ты чего? — спросил я. — Сам приехал, не тянули!

Нам было как-то неловко в этом доме. Я все думал, что вот строил человек себе дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. И вот мы надели шлепанцы, и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа — Чехов надевал. Там марки какие-то лежат, стопочкой связаны, крючки рыболовные, лески... Думаешь, вот марками занимался, радость ему была, небось слюнями мочил или над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через шестьдесят лет мы будем разглядывать все это — ни за что бы не стал собирать.

Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка пахло выпивкой. И были они все красные, распаренные и, видно, не знали сами, как это их сюда занесло. Они шептались, впрочем, достаточно

громко, чтобы слышать их. И было в их шепоте что-то гнусное и жалкое одновременно:

— А она его любила? Зачем он с бородой был, ему не идет. А домик ничего себе! В таком доме и я бы написал чего-нибудь. Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был.

Я скорей перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещицами, фотографии на стенах. Был стенд, заваленный весь фотокарточками — вот красавец Шалапин с коком, с резкими ноздрями вздернутого носа, вот узколикий Бунин с твердыми, серыми, надменными глазами, с пушком по верхней губе. И на всех карточках были надписи — все размашистые, нарочито небрежные, будто каждому и не было вовсе лестно подарить карточку Чехову. Но было в то же время во всех надписях и еще что-то такое — для потомства, для истории, словно каждый хотел сказать своей надписью: вот, мол, хоть и Чехов, а я его знаю, хоть он и знаменит, однако и сам я не хуже, и неизвестно еще, кто кому оказывает честь — он мне, принимая карточку, или я ему — даря.

Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то узкой железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было, да и не хотелось нам, и все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас.

С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли на двор, сели на лавочку под каким-то деревом, закурили. Глаза у моего друга были мокрые, скулы побелели, он шурясь оглядывал двор.

— Кувшины видал какие? — кивнул я на огромные глиняные круглые сосуды под водосточными трубами у флигеля. — Это при нем было?

— При нем, — сказал мой друг. Он все знал о Чехове. — Тогда водопровод плохо работал, дождевую собирали.

Мы помолчали. Как-то нам стало очень грустно в этом доме и жалко чего-то.

— А сад какой! — сказал мой друг. — Это он сажал, знаешь? Очень это хорошо! А знаешь, есть такая фотография: стоит он в кабинете, у стены, возле шкафа...

Сигарета у него погасла, он стал ее раскуривать.

— Ну?

— Я поглядел, шкаф стоит. И все как было. Вот так, старик. Шкаф стоит... Он тогда как раз возле шкафа стоял, даже опирался плечом. Или нет? Забыл... Но он там стоял, без пенсне, очень какой-то весь черный.

Мы еще посидели. Давешняя компания вышла из дому. Мужчины радостно закурили, женщины вынули зеркальца и пудреницы. Потом все пошли к машине, повозились там с какими-то тайными приспособлениями, отомкнули ее и уехали.

— Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг. — Как он жил, как жил, Господи ты Боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастливая была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого. Вот так.

Солнце стояло уже низко над горами, мы посидели еще и пошли домой пешком. Шли мы долго, и я думал, что и в этот вечер у меня снова будет тоска и что хорошо бы куда-нибудь пойти на люди. А когда пришли на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь. На набережной прямо под небом сидели за столиками и пили багровое и светлое сухое вино.

— Выпьем вина? — вяло предложил я.

— Иди, пасись! — сказал мой друг. — Мне три литра надо выпить, чтобы почувствовать. А три литра выпьешь, идешь будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай-ка лучше погребем к коньячку!

Потом мы стали ругать коньяк и водку и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить. Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опу-

скающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло, — хочется чего-то высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это где-то далеко, все это отделено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, то еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, и рубаха так прекрасно пахнет! Надеваешь еще галстук, от которого отвык, и узкие ботинки, которые жмут, и почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины — пусть не твои, — где будет вино и бифштексы, пусть плохие, но все лучше, чем стряпня корабельного кока и тресковая опостылевшая уха.

И в Ялте мы были одни, как будто только что вернулись из долгого рейса, нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью — но что делать, и кто виноват, что нам плохо!

В ресторане было уж порядочно народу, когда мы пришли. Но столик возле оркестра как раз освобождался, и мы поскорей сели. Нам долго пришлось ждать среди грязной посуды и пустых бутылок, пока не пришел официант. Он был старый, раздраженный, ходил медленно, приседая, выворачивая ступни, и лицо у него было пошлое и алчное. Кое-как он убрал стол, пренебрежительно записал, что мы ему наговорили, и ушел, а мы выложили сигареты, закурили, облокотились и стали слушать музыку и глядеть по сторонам.

Музыкантов на эстраде было трое: пианист, скрипач и гитарист. Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на ор-

кестр, на лица музыкантов, как они переговариваются, дышат, как они играют давным-давно знакомые вещи, которые играли, кажется, еще до того, как ты родился, — мне делается жалко музыкантов. Я думаю о том, как некоторые из них учились когда-то, ходили в музыкальную школу или в училище, или даже в консерваторию, слышали из-за дверей классов звуки роялей, виолончелей; как разучивали концерты Моцарта и Бетховена, как им грезились симфонические концерты, мраморные залы, партер и ложи, мощно, дружно звучащий оркестр, и они в этом оркестре, и их соло в каком-то месте симфонии. И как потом у каждого из них что-то не получилось, не удалось, и вот все они мало-помалу превратились в лабухов, усвоили легко тот музыкальный жаргон, который теперь так широко подхватили пижоны, — и человека уже называют «чуваком», о своей игре говорят: «лабать», еда и выпивка для них «бирлянство» и «кирянство», а если играют на похоронах, то это удача, и покойник для них не покойник, а «жмурик»... Лица у них потасканные, судьбы у них нет никакой, спят они до часу дня, дома не занимаются и постепенно забывают все, чему их учили когда-то, играть начинают хуже и если киксуют, то уже не конфузятся, а если фальшивят, то не слышат.

Но эти музыканты как-то сразу понравились нам. У каждого из них было лицо, и играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя бы и старые, вдруг казались как новые, и почему-то все выходило у них грустно.

Пианист был слеп, и у него, как у всех слепых, было неподвижное лицо. А этот, кроме всего, был еще худ, изящен, с бабочкой и в темных французских очках. Локти, плечи, колени — все у него было нервное, острое, пальцы белые и длинные, сухие. Но лучше всего было лицо — аскетически худое, со страдальческими морщинами возле губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, очень трагический профиль, и в тонких бледных губах постоянно тлела сигарета. Когда музыканты кончали номер и отдыхали, он откидывался, поднимал лицо и брал тихонько необыкновенные, сказочные по сложности аккорды и, как птица, слушал себя, и

даже моряки за соседним столиком, уловив что-то необычное, замолкали, прислушивались.

Скрипач был чудовищно толст, пузат и маслянист, с выдуленными, как луковицы, глазами. Он постоянно улыбался, переступал, весь вытягивался к микрофону, закатывал глаза и играл с подъездами, силло и неистово, как румын, и звук его скрипки, усиленный микрофоном, терзал сердце, и хотелось плакать и говорить, и пить, и чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает.

А гитарист, с каменным, медалевидным профилем даже берета не снимал, сидел, вольно выставив ноги, тихо трогал свою гитару, к которой присоединен был динамик, и она у него пела чисто и звучно. И ни на кого не смотрел, а смотрел куда-то в стену, поверх голов, и вид у него был, как у орла в клетке, замороженно глядящего на ослепительный конус горной вершины. Иногда он вставал, если заказывали песню, и, сделав шаг к микрофону, скосив глаза на тетрадку со словами, которая лежала на пульте, пел с бесстрастным лицом, еле шевеля губами, на иностранный манер выговаривая пошлые слова о том, как встретились мы в барересторане. Скрипач в этот момент отступал в глубь эстрады, елозил смычком по баскам, шевелил пухлыми пальцами, пожирал глазами тот столик, который заказал песню, и сладко улыбался.

— А я бы взял в плавание этого — в берете, — сказал вдруг мой приятель и прищурился. — Смотри, какое лицо — с этим можно идти в разведку, а?

— Почему мне грустно, старик, скажи? — спросил я и стряхнул пепел с сигареты. — И зачем мы пошли к Чехову?

За соседним столиком моряки пили коктейль. Как всегда, они преувеличивали свою отрешенность от земли, девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашенные, с загорелыми руками и шеями и требовали себе мороженого и сухого вина. А моряки пили коктейль, который составляли из шампанского, пива и водки. Сперва в фужер наливали водку, потом смешивали с пивом и доливали шампанским. Потом чокались и пили, зажмурившись. Наверное, им было противно, но они держали марку: коктейль все-таки.

— Видал? — спросил я.

Мой друг налил себе и мне коньяку.

— Выпьем за Чехова, — сказал он. — Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше как-то не думал, а теперь понял: несчастный он был. Дом этот и вообще все — бодяга это. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была, он на Шпицберген все собирался съездить. У меня сердце что-то болит, нельзя мне пить. Уехать бы нам куда-нибудь из этой Ялты, а, старик?

За соседним столиком не знали, о чем говорить, но молчать было нельзя, и вот один стал рассказывать анекдоты, другой достал блокнот, листал и с нетерпением ждал своей очереди.

— Вопрос армянскому радио, — говорил первый с акцентом. — Можно ли убить человека газетой? Атвэчаем: можно! Надо в газету завёрнуть утюг!

Девочки хохотали, курили и кашляли.

— А вот статистика любви, — среди хохота начинал другой и тут же кричал: — Слушайте! Тихо! Статистика любви: в одну минуту на всем земном шаре происходит три миллиона поцелуев!

— Брось! Ха-ха-ха! — закатывались девочки.

— Пять тысяч четыреста шестьдесят три женщины рожают! — кричал моряк.

— Сильно, а? — спросил я.

— Ты знаешь, чего я вспомнил, — сказал мой друг. — Мы раз ловили в Норвежском море на РТ-206, тебя тогда с нами не было, а я старпомом плавал. Штормяга был крепкий, декабрь, темно, волна шла с Атлантики невероятная. А у нас в трюмах течь, дрейфуем, все время авралы, но не уходим, все думаем — вот кончится. Да где там — только разыгрывается. Душу выматывает, туман слоями идет, навалит — носа не видно. Десять дней штормовали, а на одиннадцатый у нас матрос один с ума сошел. Молоденький был, салага, вот и чокнулся. Прибегают ко мне ребята, кричат отчаянно: «Гляньте, товарищ старпом!» Я гляжу, а матрос этот по палубе в кальсонах и в тельнике бегают. Волной его заливают, бьет о лебедку, как только за борт не смыло! «Хватайте его», — кричу. Нава-

лились, схватили, а он орет, вырывается... Вечером немного утих, пошел я на полубак. «Что с тобой?» — спрашиваю. «Знаете, — говорит, — товарищ старпом, ребята надо мной издеваются». — «Как же так?» — спрашиваю. «А так, — говорит, — лягу на койку, а они снизу меня шилом колют, я с ними не могу, я лучше за борт кинусь! Велите им меня не трогать!» Ну, я на ребят смотрю, кричу: «Вы это что же, тра-та-та, да вы как это смеете, тра-та-та, да я вас, тра-та-та!» А он радуется, язык им показывает. «Вот, — говорю, — больше они не будут тебя колоть, будь спокоен, у нас на корабле дисциплина!» А сам ребятам тихонько сказал, чтоб глаз с него не спускали.

Еще два дня прошло, стало стихать. Встретился нам один траулер, домой шел, связались мы с Мурманском, откуда приказывают — на берег его. Стали мы его пересаживать, а он не хочет. Ребята на хитрость пошли, говорят ему тихонько: «Давай скорей на тот! Тот новый, а у этого полны трюма воды, вот-вот дуба даст, потонет к чертям собачьим!» — «А! — говорит. — Тогда, ребята, давайте, скорей давайте!» — И покати в Мурманск. А мы остались тресочку ловить...

— А что потом с ним стало, не знаешь?

— Вылечился, опять плавает. Я его встречал, хороший матрос.

— Да, — сказал я и закурил. — Давай выпьем!

В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское, кто-то в углу орал, ругался, его выводили. Музыканты играли себе, и скрипач, выворачивая белки, жадно глядел на столики, и если встречал чей-нибудь взгляд, начинал восторженно улыбаться. А музыка была грустная-грустная, гитарист, далеко растянув пальцы на грифе, глухо брал аккорды, гитара его звучала, как электроорган, а пианист курил и откидывал горькое свое лицо в темных очках.

— Тихо! — кричал за соседним столиком моряк. — Шесть тысяч пятьсот женщин изменяют в минуту своим мужьям!

— Иди ты! — небрежно отвечали девочки. — А про вас там написано? Ну? Давай!

Моряк что-то прочел про себя, фыркнул и показал приятелю. Они загоготали, переглядываясь.

— Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? — спросил внезапно мой друг.

И я тотчас вспомнил Ленинград в декабре, туманно-морозные дни, солнце, красным шаром проступающее сквозь туман, черно-серебряный по утрам Исаакий... И как мой друг на другой день после знакомства приехал ко мне в гостиницу, был выпивши, весел, рассказывал, как прошел с караваном малых сейнеров по Великому Северному пути, как схватил ревмокардит и язву желудка, и как, обманув врачей, опять плавает, и что за баба у них буфетчица на траулере. Потом мы еще выпили тут же у меня, потом он звонил своей подруге, потащил меня к ней, приехали, и он сразу в шинели лег на пол и сказал: «Пой! А я умру! И все». Подруга его любила петь, только голос у нее был сильный, а я смотрел на них и завидовал им. Он тогда веселый был, радостный, все ждал чего-то замечательного, хоть и закрыли ему заграничную визу за какую-то грандиозную драку в Мурманске в ресторане «Арктика». Да и я начинал только плавать, говорил лишь о море, о Севере, имена Норденшельда, Нансена святые были для меня имена. Еще бы не помнить — веселое было время! И этот зимний Ленинград, его улицы, кафе, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, пар над каналами, снег на Медном Всаднике, тихие пасмурные утра в гостинице, когда тело звенит от сил и легкости и спрашиваешь себя: «Что мне сегодня предстоит такое хорошее?» И появления моего друга, уже неистового, с одной мыслью: гулять, гулять, пить, ехать к приятелям, к женщинам. И мы ехали, гуляли, много смеялись, кажется, все время смеялись, я хохотал, а друг мой только скалился, хохотать он и тогда не умел. Да, я тогда окончил мореходку и начинал жить.

— А Наташу ты помнишь? — спросил мой друг, опуская глаза. Это была та его женщина, которая пела когда-то в зимнем Ленинграде.

— Ты это брось, — сказал я. — Брось, старик, а то и так тоска!

— А Мишку помнишь, длинного Мишку? Ты тогда, пьяный, сильно его презирал?

— Ну, помню, — сказал я. — Я потом его встречал, прекрасный парень оказался. Я дурак, а ты брось, не вспоминай ничего!

— Он погиб два года назад, в проливе Вилькицкого. Забыл тебе совсем сказать, я на его могиле был, когда в прошлом году на перегоне работал. Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте коньячок лакаем.

— А! — сказал я.

И затосковал, а музыка наигрывала что-то печальное, и в голову почему-то все лезли три миллиона поцелуев в минуту. Это была такая страшная цифра, что как-то даже и не вообразалось ничего, нельзя было осознать, почувствовать эти поцелуи, которыми в эту минуту занимались где-то у нас на громадном пространстве, и в Африке, и в Австралии, и в Польше... А вспоминались мне почему-то дикие фактории — все, какие я видел на Севере, острова, черные базальтовые скалы и ледяные купола, уходящие в фиолетовое арктическое небо, и изумрудные изломы ледников, синие тени в трещинах, вечные молчаливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в котельных преисподнях, тесные кубрики, каюты, паровое тепло в рубках, сильные низкие ревы паровых гудков в тумане и безымянные по всему Северу могилы, в которых коченеют ребята, и эти ребята никогда никого не поцелуют... Все это проходило, смешивалось, и было радостно, и холодно, и тоскливо одновременно.

— Эй, кореша! — окликнули нас с соседнего столика. — Извиняюсь, вы моряки будете? Будем здоровы!

И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бурдой.

— Будьте счастливы, попутного ветра! — отвечаем мы и тоже поднимаем свои рюмки.

Девочки оттуда во все глаза смотрят на нас, и нам уже нехорошо, что их только две, а не четыре, а то пересесть бы к ним и так же, как их ребята, травить какую-нибудь бодягу.

— Ты мне вот что скажи, — спросил меня друг. — Тебя женщины любят?

— Нет, — сказал я. — Я неинтересный. Все мне скучно. И вообще как-то так...

— А у меня все некрасивые, — сказал друг. — Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, собаки. А красивых у меня как-то, знаешь, не было. Странно это.

— Фиг с ней, — сказал я. — Красивая из тебя душа вынет. А так, видишь, душа на месте.

— А может, мне как раз надо, чтобы вынула? Может, я как раз хочу, чтоб было такое смертельное, что ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом деле к чертям собачьим! А?

— Ничего, ничего, — сказал я. — Спокойно, старик! У тебя хоть некрасивые есть, а у меня ничего. А вот видишь, сижу, коньячок пью, музыку слушаю — и ничего.

— А какие бабы есть несчастные! — сказал мой друг и пригорюнился, подперся. — Мне их всех страшно жалко. Женщины все-таки. Они ведь нежные. У них животы очень нежные, знаешь?

— Брось! — сказал я. — Дай-ка лучше сигарету, посидим, покурим, музыку послушаем. Мы же с тобой в отпуску. Нам надо отдыхать, салага ты скуластая!

В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. Он сошел будто бы только промяться, но я знаю — ждет, когда его кто-нибудь позовет и что-нибудь закажет из песен.

— Маэстро! — говорю я ему. — Вы здорово играете!

Скрипач тотчас подходит к нам.

— Разрешите? — спрашивает он как-то не по-русски и садится. Он разгорячен, потен, резко пахнет, как пахнут запаленные лошади, улыбается одновременно заискивающе и нагло, но в глубине его выпученных глаз дрожит что-то бесконечно смиренное, услужливое, покорное. — О да! — говорит он и кивает на эстраду. — Настоящие музыканты! Разрешите? — смотрит на коньяк.

Друг мой скалится и наливает ему.

— Попутного ветра! — говорит он так же, как и морякам.

Скрипач быстро пьет, причем лицо его ничего не выражает, только глаза влажнеют.

— Спасибо! — говорит он. — Что бы вы хотели послушать?

— Вы не русский? — спрашивает мой друг.

— Да, я итальянец, мы все итальянцы... — говорит скрипач и оглядывается на наших соседей моряков. Те радостно прислушиваются.

— Аллегро пиццикато! — говорит один из них. — Калор... рагацца модерато!

Девочки хохочут, скрипач тоже.

— Как же вы к нам попали? — спрашивает мой друг скрипача.

— О ля-ля! — машинально отвечает скрипач, дрожа белками, косясь, оглядывая весь зал, кивая кому-то. — Длинная история, еще в войну. Разрешите? — Он сам наливает себе и пьет, не закусывая.

— Извиняюсь, — моряк с соседнего столика подходит, покачиваясь, с бокалом своей бурды. — Выпей, папаша! — Он хлопает скрипача по жирной спине. — Виваче, адажио, а? Ха-ха!.. Давай — за здоровье моряков, ну?

— Спасибо! — говорит скрипач радостно и выпивает.

Моряк, довольный, отходит.

— Вы позволите, я угощу нашего пьяниста? — спрашивает скрипач.

— А гитарист? — Друг мой берется за бутылку.

— О, гитарист не пьет. Спасибо! — Скрипач поднимается на эстраду, дает рюмку пианисту и что-то говорит ему. Пианист поворачивается в нашу сторону — теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские темные очки. Пианист поднимает рюмку, как бы приветствуя весь зал, выпивает и тотчас закуривает новую сигарету. — Так что бы вы хотели послушать? — спрашивает опять скрипач, ставя на стол пустую рюмку.

Я сразу вспоминаю один полярный поселок, осень, которую я однажды там провел, и какое все там было деревянное, а кругом камни, мох и темная шумящая река. И как однажды приехали артисты и был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены и крыша, и эстрада, потолка не было, видны были все балки. Электричества тоже не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли возле эстрады, развесили на дощатых стенах. Но все равно в сарае был холодный полумрак. Все сидели в одежде, курили, артисты мерзли, торопливо бормотали что-то, и это забылось, и только один номер был хорош.

Вышел аккордеонист и чечеточник. Чечеточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке с отложным воротником. И зазвучала вдруг французская шансонетка, такой вальсик, и чечеточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь темных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил, и только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали, подобно велосипедным спицам, и подошвы издавали однообразный стрекот «ч-ч-ч-ч-ч», и звучала, звучала, звала куда-то, навевала теплую печаль эта самая французская песенка.

Чечеточника долго вызывали на бис, и он опять повторил тот же номер, потом выступали, кричали и орали, воображая, что поют, другие артисты, а мне стало хорошо, и я ушел, ходил один, напевал этот мотивчик, чтобы не забыть, и думал о любви и вообще о всех людях. И шел снег, а на другое утро все кругом было такого цвета, как гречневая каша с молоком, и только река была черная и дымилась.

И вот я вспомнил ту осень, и опять что-то встрепенулось и зануло у меня на душе, я поглядел в глаза скрипачу и сказал:

— А знаете вы вот такую штуку... Я не знаю, как она называется, но в общем вот так: та-ра-ра-ра-а-там-там... А?

— О! — Скрипач улыбнулся. — Конечно! Хорошо.

— Только подольше поиграйте, ладно? — попросил я.

— Хорошо.

Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту. Гитарист все так же равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда из этой песенки. Он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты. Гитарист стал возиться с динамиком, и тот у него уркал и завывал тихонько, а мы все ждали, ждали, и друг мой хоть и не знал этой песенки, но по лицу моему понимал, что в ней для меня что-то необыкновенное, курил, пил коньяк мелкими глотками и опускал глаза.

Наконец заиграли, и вновь ударило меня по сердцу, и завертелось, закружилось, понеслось мимо — и та осень, и зима в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть.

Я вспомнил о своей работе, о бессонных вахтах, о разговорах с друзьями, об опостылевшем море, куда нас опять почему-то тянет — стоит пожить на берегу недели две...

Я глядел кругом, будто проснувшись, и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад, на Север — там скоро весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым Севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно.

И, думая обо всем этом, я поежился от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить.

— Ты что? — спросил у меня друг.

— Слушай, ты, морской волкодав, — сказал я ему, — я тебе расскажу кое-что, как я сидел на приколе в одном поселке на Кольском, хочешь?

— Валяй! — сказал друг и поерзал, устраиваясь поудобнее. И я рассказал ему о своей тогдашней жизни, как странно мне было напевать там вот эту песенку, — и рассказывать мне было приятно.

Моряки за соседним столиком расплатились, взяли своих девочек и пошли к выходу, мы посмотрели им вслед.

Музыка кончилась, и как-то кончилось для нас одно настроение и началось другое. Нам захотелось домой. Мы допили коньяк и вышли. Маяк на молу мигал. Стоял и светился, как обычно, большой белый пароход, и на нем играла музыка, но совсем другая, чем мы только что слышали, — что-то маршеобразное и громкое.

Мы потолкались по набережной, посмотрели на женщин и пошли в магазин пить вино. Мы взяли сперва по стакану сладкого, оно было клейко и пахло горелым. После него захотелось чего-нибудь кисленького, и мы выпили еще сухого вина.

Друг мой заметно опьянел, настроение у него стало хорошее, он шел, выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, сейчас бы поехали куда-нибудь, оттуда опять бы поехали, и было бы все хорошо.

Мы остановились и поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах, дьявольски смелое и большое.

— Слушай, — старательно выговаривая, сказал мне друг. — Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен делать?

— Работать, наверно, — неуверенно предположил я.

— Это грандиозно! — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать... Слушай, сколько нам еще осталось?

— Чего осталось?

— Быть в Ялте.

— Долго еще. Недели две.

— Так... Пошли спать, а завтра поедem в этот... как его?

— Куда?

— Как его?.. А! Да черт с ним, куда-нибудь!

Свечечка



Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться — хоть вешайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами давно уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...

Дождя не было.

Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять.

Но сначала я хочу сказать тебе о твоей страсти. А страсть тогда была у тебя одна: автомашины! Ты ни о чем не мог думать в те дни, кроме как об автомашинах. Было их у тебя дюжины две — от самого большого деревянного самосвала, в который ты любил садиться, подобрав ноги, и я возил тебя в нем по комнатам, — до крошечной пластмассовой машинки, величиной со спичечный коробок. Ты и спать ложился с машиной и долго катал ее по одеялу и подушке, пока не засыпал...

Так вот, когда вышли мы в аспидную черноту ноябрьского вечера, ты, конечно, крепко держал в руке маленький пластмассовый автомобильчик.

Медленно, еле угадывая во тьме дорожку, пошли мы к воротам. Кусты с обеих сторон, сильно наклонившиеся под тяжестью недавнего снега, который потом растаял, касались наших лиц и рук, и прикосновения эти напоминали уже навсегда невозвратное для нас с тобой время, когда они цвели и были мокры по утрам от росы.

Поравнявшись с другим нашим домом, в котором был гараж, ты вдруг побежал к гаражу и взялся за замок.

— Хочешь кататься на настоящей машине! — сказал ты.

— Что ты, милый! — возразил я. — Теперь поздно, скоро спать... А потом — куда же мы поедем?

— Поедем... поедем... — ты запылся, перебирая в уме места, куда бы мы могли поехать. — В Москву!

— Ну — в Москву! — сказал я. — Зачем нам Москва? Там шумно, сыро, а потом это ведь так далеко!

— Хочешь далеко! — упрямо возразил ты.

— Ладно, — согласился я, — поедем, но только через три дня. Зато я тебе обещаю: завтра мы поедем с тобой в магазин, а теперь ведь мы вышли просто погулять? Давай руку...

Ты покорно вздохнул и вложил в мою руку свою маленькую теплую ладошку.

Выйдя за ворота и подумавши несколько, пошли мы с тобой направо. Ты шел впереди, весь сосредоточась на своем автомобильчике, и по твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что ты его катаешь то по одному, то по другому рукаву. Иногда, не выдержав, ты присаживался на корточки и катал свой автомобильчик уже по дороге.

Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении? Я останавливался в ожидании, пока далекая твоя, неведомая мне дорога кончится, когда приедешь ты куда-нибудь и мы пойдем с тобой дальше.

— Слушай, любишь ты позднюю осень? — спросил я у тебя.

— Любишь! — машинально отвечал ты.

— А я не люблю! — сказал я. — Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних светов и серых дней! *Вся увядоша, яко трава, вся потребишася...* Понимаешь ты, о чем я говорю?

— Понимаешь! — тотчас откликнулся ты.

Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь... Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть не в три часа утра? И лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, убывало... Оно прошло, как мгновение, как один удар сердца. Впрочем, мгновенным оно было только для меня. Ведь чем ты старше, тем

короче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, то лето было как целая жизнь?

Но и ранняя осень хорошо: тихо светит солнце, по утрам туманы, стекла в доме запотевают — а как горели клены возле нашего дома, какие громадные багряные листья собирали мы с тобой!

А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому! Понимаешь!

Ты молчал, мчась куда-то на своей машине, удаляясь от меня, как звезда. Ты так далеко уехал, что когда нам пришлось свернуть с тобой вбок по дороге и я свернул, то ты не свернул. Я догнал тебя, взял за плечо, повернул, и ты послушно пошел за мной: тебе все равно было, куда идти, ведь ты не шел, ты ехал!

— Впрочем, — продолжал я, — не обращай внимания, это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно — и ноябрь тоже! Ноябрь — как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво — это просто кажется, а на самом деле все живет.

Вот когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в сапогах, поздней осенью, как тогда пахнет, и какие мокрые стволы у деревьев, и как хлопотливо перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас зимовать. Погоди, сделаем мы кормушку у тебя под окном, и станут к тебе прилетать разные синички, поползни, дятлы...

Ну, а то, что деревья сегодня кажутся мертвыми, то это просто от моей тоски, а на самом деле они живы, они спят.

И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре? Почему так жадно ездим мы на концерты, в гости друг к другу, почему так любим огни, лампы? Может быть, миллион лет назад люди тоже засыпали на зиму, как засыпают теперь медведи, барсуки и ежи, а теперь вот мы не спим?

А в общем, не беда, что темно! Ведь у нас с тобой есть теплый дом и свет, и, вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть в огонь...

Вдруг словно мышь пробежала у меня по рукаву, потом по спине, потом по другому рукаву — это ты ехал уже по моей дубленке и, проехав какое-то воображаемое расстояние, опять побегал впереди.

— Ничего, — заговорил я снова, — скоро ляжет зазимок, станет светлее от снега, и тогда мы с тобой славно покатаемся на санках с горки. Тут рядом с нами есть деревушка Глебово, вот туда мы и будем ходить, там такие хорошие горки — как раз для тебя! И станешь ты надевать шубку и валенки, и без варежек уже нельзя будет выходить на двор, а возвращаться ты будешь весь в снегу и входить в дом румяным с мороза...

Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме. С соседних дач все давно съехали, и они сиротливо и мертво отражали иногда своими стеклами свет редких неярких фонарей.

— Счастливый ты человек, Алеша, что есть у тебя дом! — вдруг неожиданно для самого себя сказал я. — Это, малыш, понимаешь, хорошо, когда есть у тебя дом, в котором ты вырос. Это уж на всю жизнь... Недаром есть такое выражение: отчий дом! Хотя не знаю, почему, например, не «материнский дом»? Как ты думаешь? Может, потому, что дома испокон веку строили или покупали мужики, мужчины, отцы?

Так вот, милый, у тебя-то есть дом, а у меня... Не было никогда у меня отчего дома, малыш! А где я только не жил! В каких домах только не проходили мои дни — и в сторожках бакенщиков, и на лесных кордонах, и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топились по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, и рояли, и каминны, и даже — представь себе! — даже в замке пришлось пожить, в самом настоящем замке — средневековом, далеко, во Франции, возле Сан-Рафаэля!

А там, братец ты мой, по углам и на лестницах стояли рыцарские доспехи, по стенам висели мечи и копья, с которыми еще крестоносцы ходили в свои походы, и вместо деревянных полов были каменные плиты, а камин в зале был

такой, что быка целого можно в нем зажарить, а рвы кругом какие были, а подъемный мост на цепях, а башни по углам!..

И отовсюду приходилось мне уезжать, чтобы больше уж никогда туда не вернуться... Горько это, сынок, горько, когда нету у тебя отчего дома!

Вот, знаешь, ехали мы в один прекрасный день на пароходе с приятелем по чудесной реке Оке (погоди, милый, подрастешь ты, и повезу я тебя на Оку, и тогда ты сам увидишь, что это за река!). Так вот, ехали мы с товарищем к нему домой, а не был он дома больше года. До дома его было еще километров пятнадцать, а приятель уж стоял на носу, волновался и все показывал мне, все говорил: вот тут мы с отцом рыбу ловили, а вон там такая-то горка, а вон, видишь, речка впадает, а вон такой-то овраг...

А была весна, разлив, дебаркадеров еще не поставили, и поэтому, когда мы приехали, пароход наш просто ткнулся в берег. И сходни перебросили, и сошли мы на берег, а на берегу уж ждал отец моего приятеля, и тут же лошадь стояла, запряженная в телегу...

Вот ты все мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной или полевой дороге — смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, все это и есть твоя родина!

И взвалили мы все свои чемоданы и рюкзаки на телегу, а сами пошли на изволок, вверх по скату, по весеннему прозрачному лесу, и чем ближе подходили к дому, тем сильнее волновался мой приятель.

Еще бы! Ведь дом этот, малыш, строил дед моего товарища, и отец и мать прожили здесь всю жизнь, и товарищ мой тут родился и вырос.

И как только взошли мы в этот дом, так и пропал мгновенно мой товарищ, побежал по комнатам, побежал здороваться с домом. А и было же с чем здороваться! Ведь дом тот был не чета нашему с тобой и недаром назывался: «Музей-усадьба».

Столько там было милых старых вещей, столько всех этих диванов с погнутыми ножками, резных стульев, столь-

ко прекрасных картин висело по стенам, такие заунывные и радостные пейзажи открывались из окон! А какие разные были там комнаты: светлые, с громадными окнами, узкие, длинные, затененные деревьями и совсем крохотные, с низкими потолками! А какие окна там были — большие, маленькие, с внезапными витражами в верхних фрамугах, с внезапными формами, напоминающими вдруг то фигурные замковые окна, то бойницы... А между комнатами, коридорами, закоулками, площадками — какие шли скрипучие антресоли, лестницы с темными перилами, истертыми ступеньками. И какими, наконец, старыми, приятными запахами пропитана была там каждая вещь, и не понять было — не то пахло чабрецом, сорванным когда-то какой-нибудь романтической мечтательницей, не то старыми книгами, целый век простоявшими в шкафах, пожелтевшими, с сухой кожей и бумагой, не то пахли все эти лестницы, перила, мебель, дубовые балки, истончившийся паркет...

Ты не думай, малыш, что дома и вещи, сделанные человеком, ничего не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не играют в восторге или не плачут от горя. Как все-таки мало знаем мы о них и как порою равнодушны к ним и даже насмешливы: подумаешь, старье!

Так и ты уедешь когда-нибудь из отчего дома, и долго будешь в отлучке, и так много увидишь, в таких землях побываешь, станешь совсем другим человеком, много добра и зла узнаешь...

Но вот настанет время, ты вернешься в старый свой дом, вот поднимешься ты на крыльцо, и сердце твое забьется, в горле ты почувствуешь комок, и глаза у тебя защиплет, и услышишь ты трепетные шаги старой уже твоей матери, — а меня тогда, скорей всего, уж и не будет на этом свете, — и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми со младенчества запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя к себе, в буфете звякнет любимая тобою прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг, и дом откроется перед тобою: «Вот мой чердак, вот мои комнаты, вот коридор, где любил ты прятаться... А помнишь ты эти обои, а видишь ты вбитый когда-то тобой в сте-

ну гвоздь? Ах, я рад, что ты опять здесь, ничего, что ты теперь такой большой, прости меня, я рос давно, когда строился, а теперь я просто живу, но я помню тебя, я люблю тебя, поживи во мне, возвратись в свое детство!» — вот что скажет тебе твой дом.

Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или в радости, как птица возвращается в свое гнездо.

И поверь, малыш, совсем не смешно мне было, когда один мой друг, рассказывая о войне, о том, как он соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку, — а был он десантником, — и кругом все кричали: «За Родину!», и он вместе со всеми тоже кричал: «За Родину!», а сам видел в эти, может быть, последние свои секунды на земле не Родину вообще, а отцовский дом, и сарай, и сеновал, и огород, и поветь в деревне Лопшеньга на берегу Белого моря!

Так, разговаривая о том, о сем, свернули мы с тобой на едва светлевшую аллею в лесу, который полого спускался к крохотной речке Яснушке. Тут стало так темно, что я тебя почти не видел и поймал опять твою нежную руку.

Дойдя до речки, дальше мы не пошли, чтобы не переходить во тьме скользких узеньких мостков.

Внизу едва внятно бежала по камешкам вода. Ветер иногда касался вершин берез и елей, и они начинали отдаленно шуметь. Вдохнув несколько раз горький, сиротский запах мокрой земли и облетевших листьев, я решил закурить — и выпустил твою руку.

Пламя спички показалось мне ослепительным, пока я прикуривал, и несколько секунд после этого плавали перед глазами оранжевые пятна.

Когда же я опустил руку, чтобы тронуть тебя за плечо, снова взялся за твою нежную ладонь и повернуть назад, к дому — тебя не было возле меня!

— Алеша! — позвал я.

Ты не отозвался.

И мгновенно вспомнил я, как часто, заигравшись, ты не откликался, когда тебя звали!

Мгновенно представилась мне солнечная поляна в августе, по которой я чуть не час ползал, срезая рыжики и опять и оглядываясь временами на тебя: где ты? А ты за этот час ни разу не подумал обо мне, не подбежал ко мне — ты ходил по опушке, выискивая самые большие пни, и катал по ним свою машину.

Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый своим автомобильчиком, все дальше уходишь в лес. И ведь мертвые дачи во всей округе, даже днем души не увидишь нигде!

И что с тобой станет, когда, очнувшись наконец от своей игры где-нибудь далеко в лесу, ты станешь звать меня, исходить в захлебывающемся крике, а я тебя уже не услышу!

Как бросался ты со всех ног к настоящему автомобилю, когда я выезжал из гаража, собираясь ехать в магазин. Как торопливо обрывался ты, не попадая коленками на порог кабины, когда я открывал тебе дверцу. И как потом счастливо стоял всю дорогу на цыпочках, уцепившись побелевшими пальчиками за панель, потому что был ты еще таким маленьким, что, когда садился на сиденье, тебе не было видно дороги впереди. И как упоенно шептал ты изобретенное тобой словечко, когда мы переезжали какую-нибудь трещину в асфальте и слышался сдвоенный мягкий толчок колес:

— Ждаль-ждаль!..

И я подумал с ужасом, что, катая сейчас свою машину по стволам деревьев или по своим рукам и уходя все дальше от меня, ты в воображении своем, может быть, едешь на настоящей автомашине, слышишь звук мотора, и фары ярко освещают дорогу перед тобой, и светится в кабине панель, и дрожат красные стрелки на ней, и зеленый глазок загадочно горит — до того ли тебе, что тьма вокруг, а я не знаю даже, в какую сторону ты едешь!

Я присел, надеясь снизу увидеть бледное пятно твоего лица, если ты недалеко ушел. Потом зажег спичку, и, загордив ее ладонью от себя, сделал несколько шагов в одну сторону, потом зажег еще, пошел в другую... После неверного, колеблющегося света спички, хватавшего едва ли на два шага, стало как бы еще темнее.

— Алешка! Иди сейчас же ко мне! — звал я тебя то ласково, то строго.

Шумел поверху лес...

— Алеша, пошли домой, мы там свет будем включать и свечки зажжем... — жалко добавил я, вспомнив, как ты любишь зажигать и гасить бесчисленные лампочки в доме, как любишь горящие свечи.

«Папа, поднеси меня, пожалуйста, к выключателю!» — бывало, просил ты, подходя, обнимая мои колени, и, закинув вверх голову, счастливо заглядывал мне в лицо.

Я брал тебя на руки, ты упирался пальчиком в кнопку выключателя, щелкал, тут же мгновенно оборачивался, взглядывал на лампу и упоенно выпевал: «Лампочка го-ли-ит!»

Но и выключатели и свечки не действовали — ты не откликался.

Тогда мне счастливо пришло в голову последнее средство, и я оживленно-фальшивым голосом громко воскликнул:

— А ну-ка, иди скорей сюда! У меня в кармане есть такая автомашинка! Скорей!

И тотчас зашуршали по листве твои торопливые шаги, и ты подбежал ко мне. Острое же зрение было у тебя!

— Хочешь такую машинку! — с торопливой готовностью к новому счастью сказал ты, хватая меня сначала за одну, потом за другую руку.

— Никаких тебе машин! — страдальчески, даже злобно закричал я в ответ и только теперь почувствовал, как обдало меня холодным потом и как колотится мое сердце. — Мерзкий ты мальчишка! Как смеешь ты не откликаться, когда папа тебя зовет!

Но ты еще не верил, что тебя обманули и что новую машинку ты не получишь, ты полез мне в карманы...

Ты потрясен был обманом, и как долго потом пришлось мне, присев на корточки, успокаивать тебя, обнимать, поглаживать по спине и вытирать ладонью твои слезы.

Велико же и младенческое горе!

Домой пришли мы обиженные друг на друга.

— И никакого камина я тебе не растоплю, и никаких свечек тебе не будет, никаких выключателей, и гулять мы с тобой больше никогда не пойдем! — выговаривал я тебе дорогой. — И вообще не будь ты такой маленький, я бы тут же поставил тебя в угол на целый час! И все бы машины отобрал и запер!

Ты молча бежал впереди меня, не желая со мной разговаривать. Придя домой, я сердито включил телевизор, а ты ходил по столовой и играл сам с собой. (До сих пор простить себе не могу, что, сердясь на тебя, так долго смотрел какую-то скучную передачу!) Ты мог часами играть один, не обращая ни на кого внимания, но в тот вечер ты томился.

Тебе не хотелось быть одному, и ты иногда подходил к телевизору, как бы приобщаясь ко мне, соединяясь со мной, заранее виновато, но в то же время шаловливо улыбался, пытался нажать какую-нибудь кнопку и тут же укоризненно восклицал, обращаясь сам к себе, заранее зная, что я скажу:

— Алеша, ну зачем ты это делаешь?

Я досадливо отводил тебя рукой, говорил: «Не мешай!» — и ты вздыхал, покорно отходил, катал свою машину по столу и шептал, подражая звуку передних и задних ее колес, когда она переезжала какое-нибудь препятствие:

— Ждаль-ждаль!

Я иногда оглядывался на тебя рассеянно, проверяя, не делаешь ли ты чего-нибудь такого, чего тебе нельзя делать — ведь жизнь твоя состояла из сплошных ограничений: нельзя было стаскивать скатерть со стола, брать спички, рисовать в книгах, да мало ли что еще, всего не перечтешь!

Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то особенный, ожидающий взгляд и увидел твое томление и как бы мечту о чем-то. Звук, ток укоризны и вопрошения исходил от тебя, и сердце мое забилося.

— Ну-ну, милый, ладно! — сказал я. — Иди ко мне...

А когда ты подошел, потупившись, с несмело-выжидательной полуулыбкой, я обнял тебя и почему-то тихо сказал тебе на ухо, одновременно с замиранием вдыхая запах твоих волос:

— Хочешь, поиграем вместе?

— Хочешь! — тотчас звонко сказал ты.

— Гм... А во что же мы станем играть? Знаешь что? Иди-ка ты садись у той стены, и мы будем друг к другу катать машину. Ладно?

Как мгновенно преобразился ты, какое счастье переполнило тебя сразу, как кинулся ты опрометью от меня, наклоняясь вперед, будто летя, и, еще не добегая до стены, уже приседая, полуоборачиваясь одновременно, с разбегу упал на четвереньки, потом сел, повернулся ко мне лицом и, — уже придвигаясь задом, прижимаясь к стене спиной, расставляя ноги, чтобы удобнее было ловить машину, с выражением восторга, ожидания, но в то же время и робко еще — не раздумал ли я? — взглянул своими потемневшими, расширившимися от волнения глазами на меня!

Дождавшись, пока ты окончательно устроился и укрепился, я пустил к тебе инерционную машину, и, нежно жужжа, она покатила к тебе через всю столовую. Ты же, пригнувшись до полу, стараясь заглянуть ей под колеса, упиваясь их непостижимым, таинственным вращением, жадно ждал ее, поймал, крепко сжал ее своими короткими пальчиками и уже доверчиво, сообщнически глядя на меня, засмеялся своим непрерывно льющимся, закатывающимся смехом, который бывает только у таких маленьких, как ты, детей, когда смех журчит и горлышко трепещет не только при выдохе, но и при вдохе...

Отодвинув кресло, к совершенному твоему восторгу, я сел на пол и, так же как ты, широко расставил ноги. И теперь уже одинаково принадлежащая нам ярко-красная пожарная машина с тонким своим жужжанием бегала от тебя ко мне и от меня к тебе.

Потом я лежал на полу перед тобой — но ты сидел! — и уже не пускал автомобильчик, а медленно катал его, выделявая самые прихотливые повороты, подражая звуку мотора и сигнала, а ты, весь напрягшись, вытянув шейку, следя за малейшим движением машины, за всеми ее поворотами и разворотами, будто одной своей волей, одним взглядом управляя ею, — только нежно и обожающе произносил иногда сво-

им свирельным голоском, когда автомобильчик переезжал с половицы на половицу:

— Ждаль-ждаль!

И еще одно счастье в этот вечер ожидало тебя, и ты знал об этом!

Когда пришла пора тебе спать, я раздел тебя, уложил в кровать, укрыл одеялом, погасил свет и вышел. Из детской твоей не доносилось ни звука, но я знал, что ты не спишь, дожидаясь последнего за этот день наслаждения. Я знал, что, зарывшись с головой в подушку, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, ты ждешь меня, ждешь той захватывающей минуты, когда я приду к тебе со свечкой.

Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник — мне подарили его в Германии. А представлял он из себя фарфорового добродушного человечка, столбиком стоявшего на медной подставке, — с круглым животом, в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках, с пухлыми щечками и с шандалом на треугольной шляпе.

И вот зажег я свечу в этом подсвечнике, подождал некоторое время, пока она получше разгорится, а потом медленно, шагами командора, подошел к твоей комнате и остановился перед дверью.

Ну, несомненно же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошел к твоей двери, видел свет свечи в щелочке между дверью и косяком, но терпеливо, весь напрягшись, ждал.

Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза: «Тук! Тук! Тук!» — тотчас услышал стремительный шорох, — ты вскочил, как пружинка, открыл дверь (кровать твоя стояла рядом с дверью) и выговорил нараспев:

— Све-е-ечечка!

Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой.

«Да ты сам свечечка!» — подумал я и сказал:

— Ну! Давай!

— Это... это... — заторопился ты, трогая пальцем подставку, — подсвечничек!

— Так. Дальше?

— Это животик...

— Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку!

— Знаешь, знаешь! — заспешил ты, торопясь поскорее добраться до главного. — Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки и уже животик... Потом головка... шапочка...

— Опять пропустил! — напомнил я.

— Щечки, носик... — спохватился ты. — Потом шапочка, а это... это... — запнулся ты, не зная, как назвать шандал, укрепленный на треуголке, — это — такая штучка...

И вот наконец главное!

— Све-е-ечечка го-ли-и-ит! — с упоением протянул ты.

— Ну вот, — весело сказал я. — Вот и все. Теперь спать. Гаси свечку и — бай, бай, — хорошо?

Еще несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными лучистыми глазами, и на лице твоём промелькнула некая таинственная тень, будто хотел ты остановить мгновенье, потом лицо твоё опять просияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и, восторженно взбрыкнув ногами, бросился головой в подушку.

Перекрестив тебя и укрыв одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел и стал ходить по столовой.

Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на Севере и одинокие мои скитания. Однажды я возвращался с охоты вечером, и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок еще дождь моросил, и я заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и рюкзак казались мне до того тяжелыми, что готов был бросить их.

Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало, — хоть кругом на сотни километров были глухие леса! — а угнетало то, что все было мокро, под ногами чавкало и не было никакой возможности развести костер, отдохнуть и обсушиться.

Свечечка

И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во тьме желтый огонек. Я пошел на него. Еще не зная, что это — костер ли охотников, окошко ли лесного кордона, — я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...

И вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, как мне стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить.

Гагра, декабрь 1973 г.

Во сне ты горько плакал...



Был один из тех летних теплых дней...

Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого...

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы...

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное... Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, замораживает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради Бога, патронов! — попросил он однажды. — У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам, — ходит кто-то по дому! А везде — тихо, как в гробу... Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.

А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему — и, если летом зайдешь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!

— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки:

— Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью,

как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хандрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты все сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый — о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь...

Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

— Когда я был такой, как твой Алеша, — заговорил он, несколько успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно — так предаваться одному месту? Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клен!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя, в Гагре — будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, да-

леко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей...

...Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на темном берегу, возле невидимого во тьме прибора, слушали его гул, слушали влажный щелкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осеннюю елями, с полыхающими окнами.

Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу...

«Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?» — «Еще бы! — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет!»

До сих пор мучит меня мысль — что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьем со взведенным курком, с разутой ногой? Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, отставит ружье, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне — или наоборот, с ненавистью взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли — и не может, отступает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы...

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок или, по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И — зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость — великая жизненная сила и твердость нужна для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? — ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...

Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, — Митя пошел к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам — чуть не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда отчасти уже знакомом тебе, исхоженном не раз, но разве одно время похоже на другое время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порывкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки лаково блестели, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели, то бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко — ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева — ничего!

На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, без той пронзительной синевы, которая рекою льется нам в глаза ранней весной или бьет нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе в тот день были коричневые сандалии, желтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели...

Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней калитке, по тропе, испещренной солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния, нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку.

Потупившись от радости, что я угадал твое желание, ты взял ее и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, и высокие, со скрипичными завитками на верхушках, еще мокрые в тени папоротники.

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня, но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окружавший нас, не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснущка, теплый запах разогретых на солнце лугов.

— Але-ши-ны но-жки... — нараспев, машинально сказал я.

— Бегут по до'ожке... — тотчас послушно откликнулся ты, и по дрогнувшим твоим прозрачным ушкам я понял, что ты улыбнулся.

Да, и я так же бежал когда-то, во тьме времен, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок...

Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей.

В одной кучке, стоявшей на опушке жиденького березового леса, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли буро-красные теплушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий черный дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастерках.

И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слезы, шурилась и все спрашивала: «Ты видишь папу, сынок, видишь? Где он, покажи хоть, с какого края он?» — «Вижу!» — отвечал я и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдет к нам или мы к нему.

Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток, несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: «Беги, сыночек, к папе, отдай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждем!» — и я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал...

Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмет на руки, поцелует и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака — ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нем подернулась как бы пеплом и обернулась жалостью уже к себе, за то что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбежал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...

Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо, в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил, и теперь она дико серела своим бетонным

куполом и колоннами среди зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу, с восхищением рассматривать.

Слева от нас катила по камешкам свои струи крошечная речка Яснущка. Мы ее пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом темном омутке.

Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы, кровавыми каплями вспыхивала там и сям земляника, невесомыми табунками толклась мошकारа, невидимые в густоте листвы, перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась, мир благоухал...

— Смотри, Алеша, белка! Видишь? Вон она, смотрит на тебя...

Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда ее ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал ее и снова пустился в путь.

Навстречу нам, по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил Чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими, длинными, как у газели, глазами, спрашивая: бежать ли ему все вперед, не собираемся ли мы повернуть назад или в сторону? Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли, он понял и опрометью бросился дальше.

Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашел и звал нас поскорее прийти.

— Слышишь? — сказал я тебе. — Наш Чиф что-то нашел и зовет нас!

Чтобы тебе не исколоться об елки и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и желтой моховой полянке,

мы увидели Чифа и услышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вдохов.

Он нашел ежика. Береза стояла метрах в тридцати от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ежика был вытоптан. Завидев нас, Чиф принялся брехать еще пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил Чифа за ошейник, и мы присели перед ежиком на корточки.

— Это ежик, — сказал я, — повтори: ежик.

— Ежик... — сказал ты и тронул его палкой.

Ежик фукнул и слегка подскочил. Ты отдернул палку, потерял равновесие и сел на мох.

— Ты не бойся, — сказал я, — только его не надо трогать. Вот теперь он свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдем, он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты... Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне. Я еще не донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка — теплое и живое, хоть лицо твое было прикрыто и дыхания твоего я не ощущал.

Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорожденных, — но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределенного серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, и только одно портило твой вид — пластырная наклейка на пупке.

Скоро ты был снова спеленат, накормлен и уложен спать, а мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался

для женщин упоительный: о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твое лицо. И вот когда я пришел к тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне и лицо твое трепещет...

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка — лицо твое приобрело выражение возвышенного, вещего знания, какие-то облачка пробежали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования, — плакал ли ты или смеялся, или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроваткой, — не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит. «Когда младенцы так улыбаются, — сказала потом моя мать, — это, значит, их ангелы забавляют».

Вот и теперь, сидя над ежиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам выпадал снег, а днем так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые от инея березы... Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку, — несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую, — мы вывозили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Чертя палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и все тебя слушало и понимало, одни мы не понимали, потому что говорить ты еще не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои ва-ва-ва, и ля-ля-ля, и ю-ю-ю, и уип-тип-уип означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чернеет на дороге далеко позади, а ты, растопырив руки, спишь, и румянец всюду горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты все спал — спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстегивали и развязывали и укладывали в кровать, — ты не просыпался...

Наглядевшись на ежика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел ее, остановился и, как всегда, с наслаждением выговорил:

— Кака-ая бо'ша-ая, к'аси-ивая башня!

Некоторое время ты смотрел на нее издали, повторяя изумленным тоном, будто видел ее впервые: «Кака-ая ба-ашня!», потом мы подошли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой ее колонны. Затем ты перевел взгляд вниз, на маленькое лоно прозрачного омутка, и я тотчас подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был пережат, и вода там звенела, омуток же казался неподвижен, и течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к пережатию. Я сел на поваленную ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придется до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошел к очень удобному для тебя корню у самой воды, лег на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколупнутый тобою от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчел, мух, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же бесконечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда ты, лежа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разгля-

дывал это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зеленый пух покрывал крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывавших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

— П'авают 'ыбки...— сообщил ты мне через минуту.

— А-а, — сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, — значит, не ушли еще в большую речку? Это такие маленькие рыбки, мальки...

— Майки... — радостно согласился ты.

Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и верхушки деревьев, отраженные в ней, делали ее видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немного, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения деревьев заколебались, и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своем занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошел к самой воде и бросил его на середину омутка. Взлетели брызги, окруженный волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока все успокоится, и взял еще камень и, как в первый раз, оглядев его, опять бросил...

Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен — не доносилось шума электрички, не пролетел ни один самолет, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, опять исчезал.

На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошел ко мне.

— Комаик кусил... — сказал ты, морщась.

Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.

— Ну? Что будем теперь делать? Еще побросаемь или пойдём дальше?

— Пойдем дайше, — решил ты.

Я взял тебя на руки, перешел через Яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень таволги. Белые шапки ее, казалось, плавись на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчел.

Тропинка начала подниматься — сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берез, пока не вывела нас на большой луг, окаймленный справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались, уже по лугу, все выше, пока не взошли на его вершину, и нам стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными черточками антенн вдали, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался сенокос, и хоть сено было еще в валках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землей вянувший запах. Мы с тобой сели в еще не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушел в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял его обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель — земля радонежская, тихое удельное княжество Московской земли. Над краем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменялась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними, бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлеченные красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но

тут же взмывали, и ты провожал взглядом их восхитительный полет. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему и глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишасших паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям. Лились и теперь детские слезы, лились, но совсем, совсем по другому поводу... Это ли не блаженство, это ли не счастье!

Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой, эта лесная речка внизу и камушки на дне ее, брошенные твоей рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подернутого голубовато-серебристой изморозью, и как всегда, красивая издали деревенька, дрожащий горизонт за нею, — этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда.

Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли, что прожитых лет как бы и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя и меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня?

Куда же это все канет, по какому странному закону отсечется, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрел характер, привычки, научился гово-

рять, а еще лучше понимать речь, у тебя уже есть любимое и нелюбимое...

Но кого ни спросишь — все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? Или все-таки не все забывается и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как увидев что-то, вовсе даже неяркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразишься вдруг напряженной мыслью: это было уже со мной, это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновенье в прошлом — и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всем, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошел к себе. По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты... Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким — не таким, каким ты был тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пустились мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что Царствие Божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и прошел к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав коленки. Слезы твои текли так обильно, что подушка быстро намокла. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задышался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны — всего лишь сумбурное отображение действительности? Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звезд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, глядя твои волосы.

— Сынок, проснись, милый, — говорил я, слегка тормоша тебя за руку. — Вставай, вставай, Алеша! Алеша! Вставай...

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и, нарочито бодрым голосом приговаривая: «Ну, что ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!» — стал раздвигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты все плакал, уткнувши лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздуху и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало.

— Сейчас обедать будем... Смотри, какая птица полетела... А где наш беленький пушистый Васька? Алеша! Ну, Алешка, милый, не бойся ничего, все прошло... Кто это там

идет, не мама ли? — я говорил что попало, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой еще страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобою, висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговаривал, наслаждаясь одним только этим словом:

— Куинчи-ик...

Ты не потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку, — нет, ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ложкой по столу, не смеялся, не говорил «скорей!» — ты смотрел на меня серьезно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, — теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не мое продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдешь навсегда. В твоём глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, что я отстаю, что моя жизнь несет меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошел своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым голоском звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать...

А было тебе в то лето полтора года.

Комментарии



Голубое и зелёное — Рассказ впервые опубликован в журнале «Москва», 1962, № 8.

На полустанке — Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия», 1956, № 3.

Некрасивая — Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия», 1956, № 3.

Странник — Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия», 1956, № 3.

Дом под кручей — Впервые опубликован в журнале «Знамя», 1957, № 4.

Поморка — Впервые опубликован в журнале «Крестьянка», 1958, № 1.

Манька — Впервые опубликован в журнале «Крестьянка», 1958, № 8.

На острове — Впервые опубликован в журнале «Знамя», 1963, № 3.

На охоте — Впервые опубликован в «Журнале молодых», 1957, № 1 (под названием «Дым»).

В тумане — Впервые опубликован в журнале «Огонёк», 1960, № 3 (под названием «Вечерний звон»).

Арктур — гончий пёс — Впервые опубликован в журнале «Москва», 1957, № 8.

Старики — Впервые опубликован в журнале «Октябрь», 1959, № 7.

Трали-вали — Впервые опубликован в журнале «Октябрь», 1959, № 7 (под названием «Отщепенец»).

По дороге — Впервые опубликован в газете «Комсомольская правда», 1960, 15 мая.

Лёгкая жизнь — Впервые опубликован в газете «Правда», 1962, 28 декабря.

Ни стуку, ни грюку — Впервые опубликован в книге «Тарусские страницы». Калуга, 1961.

В город – Впервые опубликован в книге «Тарусские страницы». Калуга, 1961.

Запах хлеба – Впервые опубликован в книге «Тарусские страницы». Калуга, 1961.

Кабиасы – Впервые опубликован в журнале «Знамя», 1961, № 9.

«Вон бежит собака!» – Впервые опубликован в журнале «Знамя», 1961, № 9.

Осень в дубовых лесах – Впервые опубликован в книге «Рассказы 1961 г.». М., 1962. Сокращенный вариант публиковался в журнале «Знамя», 1961, № 9.

Адам и Ева – Впервые опубликован в журнале «Москва», 1962, № 8.

Двое в декабре – Впервые опубликован в журнале «Огонёк», 1962, № 32.

Ночлег – Впервые опубликован в журнале «Москва», 1964, № 6.

Плачу и рыдаю... – Впервые опубликован в журнале «Огонёк», 1963, № 2. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть...» – слова из «Последования погребения мирских человек», составленного преподобным Иоанном Дамаскином.

Проклятый Север – Впервые опубликован в журнале «Москва», 1964, № 6.

Свечечка – Впервые опубликован в журнале «Наш современник», 1974, № 6.

Во сне ты горько плакал... – Впервые опубликован в журнале «Наш современник», 1977, № 7. Название рассказа навеяно романсом Р. Шумана «Во сне я горько плакал...» (ор. 48, № 13) на стихи Г. Гейне (из «Книги песен»).

Содержание



Лев Аннинский. Казаковский зов V

РАССКАЗЫ

Голубое и зелёное	2
На полустанке	29
Некрасивая	34
Странник	44
Дом под кручей	59
Поморка	73
Манька	80
На острове	94
На охоте	108
В тумане	118
Арктур – гончий пёс	123
Старики	142
Трали-вали	159
По дороге	172
Лёгкая жизнь	177
Ни стуку, ни грюку	189
В город	202
Запах хлеба	213
Кабиясы	218
«Вон бежит собака!»	228
Осень в дубовых лесах	238
Адам и Ева	255
Двое в декабре	281
Ночлег	291
Плачу и рыдаю... ..	305
Проклятый Север	317

Свечечка	334
Во сне ты горько плакал... ..	348
Комментарии	366

Русский мир классики

Казаков Юрий Павлович

СТРАННИК

Собрание сочинений в трех томах
Том первый

Генеральный директор *В. Е. Волков*
Редактор *А. Т. Волобуев*
Художник *С. Ю. Губин*
Технический редактор *Т. В. Покатов*
Компьютерный набор *Е. Ю. Чугина*
Верстка *Е. П. Полякова*
Корректор *Т. В. Фесюн*

Сдано в набор 14.03.2008. Подписано в печать 29.09.2008.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная. Гарнитура «NewBaskerville».
Печать офсетная. Печ. л. 12. Тираж 3000 экз. Заказ № 5660.

ЛР № 071422 от 07.04.1997
Издательство «Русский мир»
125252, Москва, ул. Зорге, 9А, стр. 2

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати – ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 978-5-89577-118-1



9 785895 771181



В предлагаемое издательством
«Русский миръ»
трёхтомное Собрание сочинений
талантливого русского писателя
второй половины XX века,
продолжателя творческих традиций
И.Бунина, М.Пришвина, К.Паустовского

ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
КАЗАКОВА
(1927-1982)

войдут следующие произведения:

«Голубое и зелёное»,
«Во сне ты горько плакал...»,
«Странник»,
«На острове»,
«Запах хлеба»,
«Плачу и рыдаю...»,
цикл «Северный дневник»,
детские рассказы,
«Литературные заметки»,
«Дневниковые записи»,
«Путевые заметки»,
избранные письма автора,
воспоминания и др.

